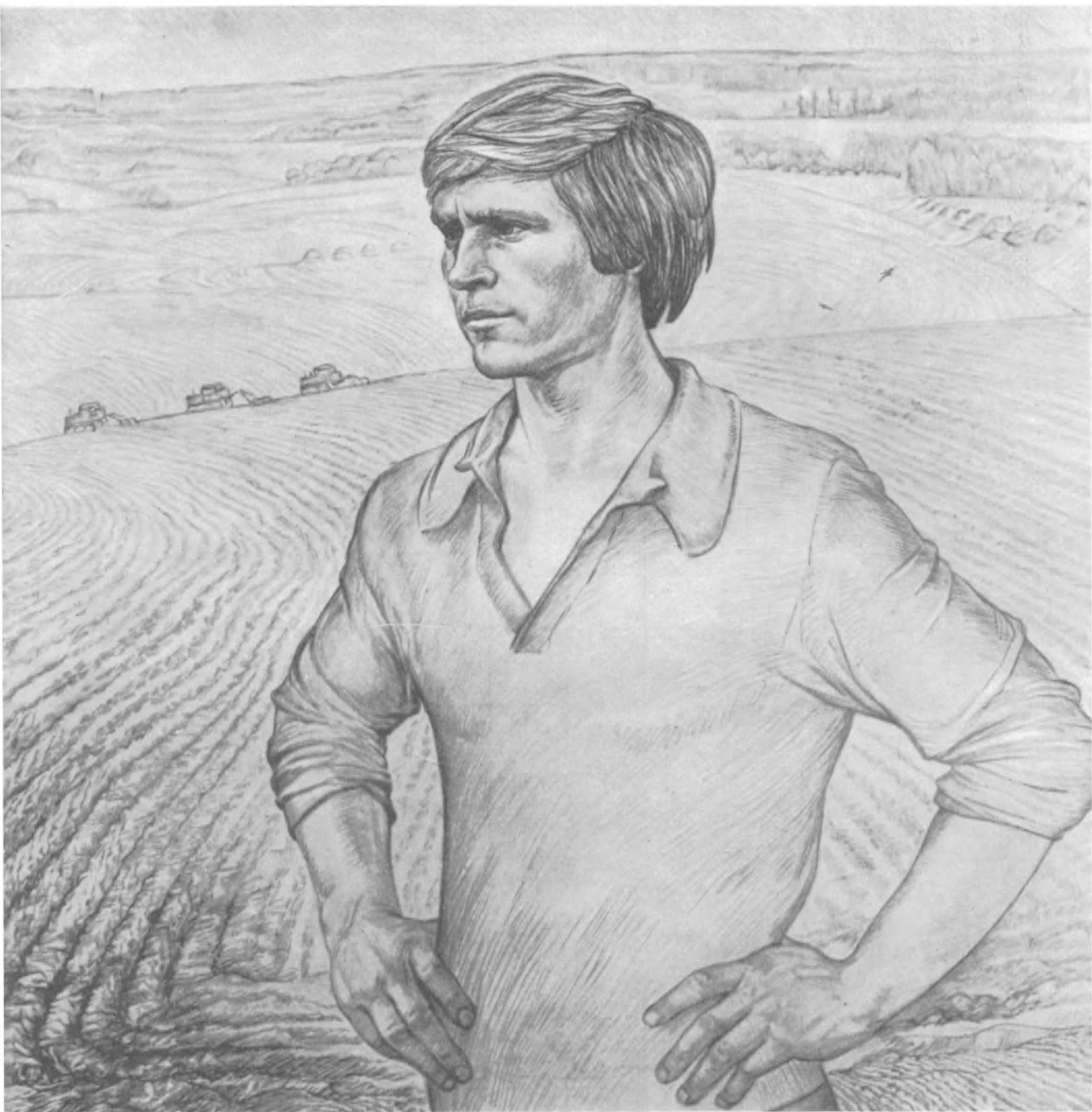


A vibrant, stylized illustration of autumn harvest. The background is a bright yellow field under a blue sky. In the upper left, a small green car is visible. In the upper right, a red combine harvester is shown. The central focus is a large, ripe orange and a green apple, both with small green leaves. Below them, a large, golden ear of wheat with red and yellow stripes on its awns is prominently displayed. To the right of the wheat is a green cucumber. In the bottom left, there is a white, heart-shaped object, possibly a piece of fruit or a decorative element. The overall style is graphic and colorful, typical of Soviet-era magazine covers.

ЮНОСТЬ

9

1978



В. ТУТЕВОЛЬ. Тракторист.

По залам выставки произведений молодых художников Москвы. 1978.



ЛИТЕРАТУРНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНИК
СОЮЗА
ПИСАТЕЛЕЙ
СССР

ЖУРНАЛ
ОСНОВАН
В 1955
ГОДУ

ЮНОСТЬ

9 / 1978

ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ПРАВДА"
МОСКВА

сентябрь (280)

Главный редактор

Б. Н. ПОЛЕВОЙ

Редакционная коллегия:

А. Г. АЛЕКСИН

В. И. АМЛИНСКИЙ

Б. Л. ВАСИЛЬЕВ

В. Н. ГОРЯЕВ

А. Д. ДЕМЕНТЬЕВ
(зам. главного редактора)

Л. А. ЖЕЛЕЗНОВ

К. В. КОВАЛЬДЖИ

К. Ш. КУЛИЕВ

Г. А. МЕДЫНСКИЙ

С. Н. ПРЕОБРАЖЕНСКИЙ

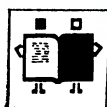
А. С. ПЬЯНОВ
(ответственный секретарь)

В. А. ТИТОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
101524, ГСП,
МОСКВА,
К-6,
УЛИЦА ГОРЬКОГО,
№ 32/1

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:
251-32 63

В НОМЕРЕ



ПРОЗА

Ф. НАСЕДКИН. Озарение. Роман	11
Станислав ДОЛЕЦКИЙ. Записки акселерата. Рассказ	44
Леонид САПОЖНИКОВ, Георгий СТЕПАНИДИН. Цепь. Приключенческая повесть. Окончание	57



ПОЭЗИЯ

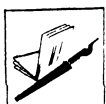
Илья ФОНЯКОВ	9
Флор ВАСИЛЬЕВ	10
Владимир ИЛЮШЕНКО	41
Александр ГЕВЕЛИНГ	41
Михаил ЛЬВОВ	42
Барот БАЙКАБУЛОВ	43
Халима ХУДАЙБЕРДИЕВА	43
Станислав КУНЯЕВ	51
Игорь КРОХИН	52
Феликс ЧУЕВ	71
Юрий ПАШКОВ	83
Евгений РЕЙН	95
Владимир СЕРГЕЕВ	103



ПУБЛИЦИСТИКА

Михаил ДОВЖИК. Целина	3
Галина НИКУЛИНА. На далеком-близком острове	88
Виктор ПИМЕНОВ. «Мечты сменяются делами»	94
Геннадий БУРАВКИН. Журнал «Маладосць»	96
Николай НЕВЕРКО. Монолог ровесника завода	97
Борис ГЕРСТЕН. «Хорошки»	100

На 1—4 стр. обложки
рисунок
С. Барахтянского.



КРИТИКА

В. ЛАКШИН. «К духовному солнцу»	72
Виктор ЛИПАТОВ. Зов Икара	80
Круг чтения (рецензии Ел. Беловой, В. Коркия, А. Киреевой, И. Жданова)	84

Главный художник
Ю. А. Цишевский

Художественный редактор
О. С. Кокин

Технический редактор
Л. К. Зябкина

Рукописи не возвращаются



ПОЧТА «ЮНОСТИ»

Григорий МЕДЫНСКИЙ. О нашей переписке	86
---	----

Сдано в набор 19.07.78.
Подп. к печ. 10.08.78
А 09433
Формат 84×108¹/₁₆.
Высокая печать.
Усл. печ. л. 12,18.
Учетно-изд. л. 17,62
Тираж 2 650 000 экз.
Изд. № 2029
Заказ № 2574



СПОРТ

Николай ПОЗДНЯКОВ. В тот день при южном ветре... .	104
Владимир МАСЛАЧЕНКО. Играй мы в Аргентине... .	108



ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ

Арк. АРКАНОВ. Алеша — друг детства	111
Михаил КАРАМУШКО. Виктор ЖИГУНОВ. Пародии	112

Ордена Ленина
и ордена Октябрьской
Революции
типография газеты «Правда»
имени В. И. Ленина
125865, Москва, А-47. ГСП,
ул. «Правды», 24.

ЦЕЛИНА



**МИХАИЛ
ДОВЖИК,**

Герой
Социалистического
Труда

Целина... Впервые я услышал это слово ранней весной тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года, когда познакомился с материалами февральско-мартовского Пленума ЦК КПСС. В то время я работал помощником бригадира тракторно-полеводческой бригады в селе Шелюга Запорожской области. Было мне двадцать пять, однако стаж работы на тракторе я имел солидный — почти одиннадцать лет!

В тысяча девятьсот сорок четвертом году — тогда мне было пятнадцать лет — я начал работать прицепщиком в тракторно-полеводческой бригаде. Первым моим бригадиром был Трофим Михайлович Сытник, первыми напарниками — девушки-трактористки Шура Плисова и Люба Мордасова. Условия работы тогда были особые. Запчастей никаких. А хоть кровь из носу, но трактор должен быть на ходу. Иначе как землю вспашешь, как хлеб посеешь, чем люди питаться будут? Мы понимали свою ответственность. «Мы здесь, как солдаты, — часто говорил Трофим Михайлович. — Поле — вот наш фронт, трактора — вот наша боевая техника. А самая главная наша награда — хороший урожай!»

Мы относились к своим машинам с исключительным вниманием. Каждый вечер после работы проверяли все узлы. А девушки еще и мыли и чистили свои трактора. «Как приятно, — говорили они, — садиться утром в чистый трактор. Совсем другое настроение!»

Наверное, это было для меня уроком — как надо относиться к технике. Содержать трактор в порядке вошло в привычку. Впоследствии на целине эта привычка мне очень пригодилась. Ежедневная профилактика позволяла подолгу обходиться без капитального ремонта. Но это было



Фото Б. ЗАДВИЛЯ.

потом, а пока я окончил курсы трактористов в Ефремовской МТС и стал работать самостоятельно.

Казахстан... Что я знал тогда, в тысяча девятьсот пятьдесят четвертом, о Казахстане? Знал, что там дикие степи, юрты на ветру качаются, пастухи с места на место перегоняют огромные отары овец... Я ведь, несмотря на свои двадцать пять лет, практически никуда из Запорожской области не уезжал. Как-то некогда было. Только когда в армии служил, тогда немного поездил по стране. А так, как родился, так и жил и работал в селе Шедюга. Даже в отпуск и то не каждый год ходил. Копились у меня отпуски...

Всего несколько дней прошло со времени опубликования материалов февральско-мартовского Пленума, а слово «целина» уже знала вся страна. Оно звучало не только со страниц газет и по радио. Оно проносилось в каждой семье, где были взрослые, вступающие в самостоятельную жизнь дети. Это слово всколыхнуло самые разные социальные слои советской молодежи. Живое дело, новые необъятные просторы, где можно проверить свой характер, узнать, на что ты способен, принести пользу обществу, — вот что в первую очередь привлекало молодежь. Целина... Это слово, словно магнит, притягивало к себе.

Я решил ехать на целину...

Однако директор Ефремовской МТС Кондрат Михайлович Супрун поначалу огорчил меня. «Разрядка пришла только на двух человек, — сказал он, — а желающих ехать знаешь сколько! И потом надо на целину молодежь посылать, а тебе все-таки двадцать пять!»

«Наоборот, это хорошо, у меня ведь большой стаж работы на тракторе, — возразил я. — На целине, особенно поначалу, нужны именно квалифицированные, опытные трактористы. Ведь в каких тяжелых условиях придется работать!»

Кондрат Михайлович подумал и согласился. Ска-

зал, правда, что не хочется ему со мной расставаться, но раз уж я так рвусь на целину...

Короче говоря, на следующий день я получил заветную путевку и вскоре выехал в Запорожье, а оттуда в Москву, где формировался первый состав с целинными добровольцами. В Москве я еще раз убедился, какое это массовое движение — целина. Как быстро охватило оно всю страну! В вагоне вместе со мной ехали ребята из Москвы, Ленинграда, Винницы, Житомира, Красноярска.

Весело мы ехали из Москвы, с песнями. Пели новую, целинную:

Едем мы, друзья, в дальние края,
Станем новоселами и ты и я!

Мой земляк Дашенко вез с собой в клетке петуха: «Нехай на новых землях солнце встречает!»

В Казахстане, километрах в восьмидесяти от Атбасара, поезд остановился. Вокруг была степь без конца и края. Тишина казалась какой-то оглушающей. Только ветер тихо завывал. Даже меня, украинца из знаменитых запорожских степей, охватило оцепенение перед этими невероятными безлюдными пространствами. «Значит, здесь будем жить...» — тихо сказал кто-то. Ему не ответили. Все напряженно всматривались вдаль. Но взгляду не за что было зацепиться. Крутом одна заснеженная степь. Наверное, в этот момент каждый из нас решал свою судьбу. Проводы с оркестрами остались позади.

Мы приехали на целину.

Двадцать первого апреля тысяча девятьсот пятьдесят четвертого года наша только что сформированная тракторно-полеводческая целинная бригада (я — бригадир) стояла посреди степи, а трактор «С-80», чихая и спотыкаясь на каждом метре, с трудом тянул за собой плуг. Трактористы ленинградец Женья



Михаил Егорович Довжик — бригадир тракторной бригады имени 50-летия ВЛКСМ совхоза «Шуйский» Целиноградской области — Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина и Октябрьской Революции, лауреат Государственной премии Казахской ССР в области производства. Выступая на торжественном заседании в Алма-Ате, посвященном 20-летию освоения целины, товарищ Л. И.

Петышкин и украинец Коля Ремнев облегчили плуг — сжали один корпус, потому что земля была неровной — камни, солончаки, и у трактора не хватало мощности. Первый раз плуг коснулся целинной земли! Тогда, однако, помню, мы как-то не думали, что переживаем исторический момент. Тогда нас волновало другое — что это за земля, будет ли она родить, не зря ли мы сюда приехали? Мы шли за трактором, мяли в руках комья каштановой земли, придирчиво их рассматривали, разве только на вкус не пробова-ли. Потом единодушно решили — будет! С поля воз-вращались обнявшись. Весь наш полевой стан состо-ял из двух палаток да двух тракторов. Думали ли мы тогда, что наша первая целинная палатка попадет со временем в музей Революции в Москву, там же под стеклом будут лежать наши комсомольские путевки, а трактор «С-80», тот самый, на котором Женя Пе-тышкин и Коля Ремнев пропахали первую борозду, тоже попадет в музей — в Целиноградский...

Нет, не думали. Тогда брезентовая палатка рвалась от ветра, и ее все время приходилось чинить, а трак-тор стоял по ночам под открытым небом, и утром был весь белый от инея. Каждый раз надо было ото-гревать его, зажигать факел.

Жилось трудно. Не хватало продуктов. Откуда они в дикой степи? Питались в основном сушеной кар-тошкой и сушеной капустой. Остальные продукты нам привозили, словно на Северный полюс, изда-лека.

Летом нас донимали комары и мошкара, зимой — морозы до пятидесяти градусов. Жили на полевых станах, практически под открытым небом. Бригады приходилось постоянно разделять. Часть людей ра-ботала на целине, другая строила постоянные жили-ща в совхозах. Иначе нельзя. По себе знали, каково зимовать в палатках.

В тот первый целинный год мы жили ожиданием. Своими руками превращали дикую степь в пашню,

где должен был расти хлеб. Целинная земля уже не казалась нам чужой — столько сил мы в нее вложи-ли, столько успели из-за нее пережить! Каким же будет урожай?

Казалось, не будет конца и краю площади, кото-рую надо распахать. Освоение целины шло «вширь». На целину приезжали группами, семьями, а из ар-мии — целыми подразделениями. Например, демоби-лизированные солдаты Кантемировской дивизии осно-вали в Казахстане совхоз «Кантемировец».

Сотни «именных» хозяйств возникали тогда на це-лине. В их названиях хорошо прослеживается гео-графия нашей Родины: «Московский», «Ленинград-ский», «Киевский», «Минский», «Севастопольский»... Свой совхоз мы назвали «Ярославский»...

В первый год мы распахали и засеяли двести семь-десят гектаров. Это была, так сказать, «пристрелка». И земля нас не подвела. Урожай был хорошим. Это был наш первый праздник на целине. Первый колы-шек нового поселка, первая борозда и вот, наконец, первый хлеб...

В одном из своих целинных очерков писатель Петр Проскурин рассказал о таком факте.

В самый разгар сева прицепщик тракторно-поле-водческой бригады не захотел выйти в поле. Товари-щи по работе — первоцелинники — прямо сказали ему: «Земля ждать не может. Отсеемся, валяя куда хочешь, держать не будем». Прицепщик в ответ по-мянул землю недобрым словом. И тогда ему прика-зали: «Целуй землю!»

Реакция товарищей прицепщика на такой поступок кажется мне вполне естественной. Дело в том, что мы помнили трудности первых лет, знали, каким тру-дом дается целинный хлеб, понимали, что нам еще долго пахать эту землю и жить на ней.

В оскорблении земли настоящие целинники увиде-ли и оскорбление своего труда, своих лучших чувств, своих надежд.

Брежнев говорил о нем, как о замечатель-ном человеке героиче-ского склада, который одним из первых при-ехал на целину.

Много пережито Ми-хаилом Довжиком за это время. Он прова-ливался под лед на тракторе, тонул, вы-плывал, спасал трак-тор. Обледенелый, шел по степи...

Спустя почти чет-верть века дают о себе знать и ледяная ку-пель и нешише перехо-ды по тридцатиградус-

ному морозу. Но Ми-хаил Егорович по-прежнему отлично ра-ботает, его бригада дер-жит первое место по совхозу. В 1972 году коллектив бригады об-ратился ко всем зем-ледельцам Казахстана с призывом начать кампанию за увеличе-ние выхода продукции с каждого гектара зем-ли. Этот патриотиче-ский почин вошел в историю целины под названием «Умножим силу гектара».

И сейчас, в третьем

году десятой пятилет-ки, бригада снова взя-ла повышенные социа-листические обяза-тельства.

Это — сегодняшний день Михаила Довжи-ка. А в канун 60-летия ВЛКСМ на страницах «Юности» он расска-зывает о своем ста-новлении, о первых го-дах освоения цели-ны — о том, что ему близко и дорого.

На снимке — Михаил Егорович Довжик поздравля-ет молодых победителей со-циалистического соревнова-ния в канун XVII съезда ВЛКСМ

Фото Ю. КАЗАКОВА.

Мы приехали на целину не гостями, а хозяевами земли и старались заботиться о земле, понимая, что отныне наш дом здесь. И мы делали все, чтобы он стал краше.

Я вспоминаю, как через пару лет после приезда решили мы посадить в степи деревья. Лесополоса в степи — вещь необходимая для успешного земледелия. Но мы решили посадить деревья и в поселке и на полевом стане.

Саженцы пришли неожиданно. Кто-то прибежал и сообщил, что на железнодорожную станцию Джаксы (это в тридцати километрах от совхоза) прибыл вагон с деревьями. Их нужно срочно перевезти в бригаду.

Весть эта и обрадовала нас и опечалила. Занятые другими, тоже очень важными работами, мы могли не успеть вырыть ямки для будущих деревьев.

Сколько выдумки проявили ребята, чтобы спасти саженцы, выкроить время (а ведь шла подготовка к севу!) и посадить деревья. Посадочной машины у нас, конечно, не было. Решили вести посадку с помощью трактора «С-80» и переоборудованного пятикорпусного плуга. Специальных культиваторов для проводки лесополос у нас тоже не было. Кто-то предложил прокультивировать землю плугом с одновременным прикатыванием кольчатым катком. А на стане мы сажали деревца «под лопату» в свободное от работы время.

Мы посадили саженцы акации, дикой сибирской яблони, груши, золотистой смородины...

Сейчас, спустя много лет, я проезжаю мимо того места и слушаю, как шумит на ветру лес. Встречаю ребятшек — они ходят в лес за смородиной. Я смотрю на высокий ухоженный лес и думаю, что без любви к земле, без заботы о ней нельзя было бы его вырастить. И мне радостно, что часть деревьев я посадила своими руками...

Такое вот отношение к земле, к труду было свойственно большинству коллективов целинников. Тогда, в первые годы освоения, мы соревновались по двум показателям — кто лучше работает и кто лучше организует свой быт, то есть обустривает целинную землю.

...По итогам социалистического соревнования первых целинных лет наша тракторно-полеводческая бригада оказалась лучшей в совхозе. А вскоре стала первой в Казахстане бригадой коммунистического труда...

«...Нельзя забыть, как давались нам первые гектары целинных земель и первые тонны целинного хлеба. Нельзя забыть то, во что вложил душу». Это слова Леонида Ильича Брежнева. Тогда, поднимая первые пласты вековой целины, убирая первый урожай, мы на практике постигали науку хозяйствования. Мы были пионерами, первопроходцами. А там, где все впервые, — там часто случается так, что надо рисковать, идти на лишения, а то и жертвовать собственной жизнью...

«...Нельзя забыть, как давались нам первые гектары целинных земель...»

Но вместе с нами была вся страна. Мы получали могучую технику, эффективные удобрения. Вся страна смотрела на нас, и мы были горды ее вниманием, старались оправдать доверие...

Тысяча девятьсот пятьдесят пятый год хорошо помнит каждый целинник. Страшная засуха стояла на целине. Земля, так щедро одарившая нас накануне, потрескалась от зноя. Каждый вечер мы ловили по радио сводки погоды. Хлеб погибал...

Кое-кто собрался уезжать...

В тот год в Целинограде, тогда он назывался Ак-

молинском, состоялся пленум обкома партии, на котором присутствовал и выступил с речью Леонид Ильич Брежнев. К акмолинским целинникам он приехал не впервые. Можно сказать, что с первого момента нашей «высадки» на целинную землю он был вместе с нами. Первый секретарь ЦК Компартии Казахстана знал в лицо и по фамилии многих директоров, секретарей парторганизаций, рабочих совхозов, новаторов производства. «Что же мы за большевики, — говорил тогда Л. И. Брежнев, — если не захотим заглянуть в будущий год, если наша ответственность кончается сегодняшним днем».

...Мы пережили тяжелую зиму и вышли на весенний сев. Урожай тысяча девятьсот пятьдесят шестого года оказался рекордным. Страна была обеспечена хлебом! Мы собрали по восемнадцать центнеров с гектара, с площади свыше пяти тысяч гектаров.

В моей бригаде в совхозе «Ярославский» народ подобрался хороший. Многие парни и девушки испытали тяготы войны, знали, почему фунт лиха, умели работать расчетливо, с выгодой. Это в немалой степени и помогло нам пережить тяжелый год. Потерь в «личном составе» мы практически не имели. Многие из нас, в том числе и я, подали в тот год заявления в партию.

Думаю, что именно в такие моменты формировался в людях знаменитый «целинный» характер. Основными его качествами я бы назвал трудолюбие, целеустремленность, мужество. А еще сердечная теплота, душевная щедрость, бескорыстие.

Вспоминается такой случай. Кажется, в 1957 году за успешное проведение весенней посевной кампании наша бригада получила денежную премию. Как всегда бывает в таких случаях, собрались вместе, стали думать — куда истратить деньги? Кто-то вдруг предложил послать деньги в детский дом, где воспитывались дети, у которых не было родителей. Идея пришлась всем по душе. Дело в том, что некоторые наши трактористы — Леонид Панфилов, Леонид Третьяков, Николай Хижняк — тоже когда-то воспитывались в детском доме. Сели писать письмо: «Здравствуйте, милые детишки! — так начали. — Пишут вам рабочие-механизаторы 3-й бригады Ярославского совхоза. Очень хотим завязать с вами переписку. Мы все любим детишек, хотим помочь им немного и поэтому просим разрешить нам взять шефство над вами...»

В Первомайском детском доме, о котором идет речь, воспитывались девочки. В одном из писем они сообщили, что мечтают построить свою швейную мастерскую, так как все хотят научиться шить. Мы провели несколько воскресников, а заработанные деньги послали в детдом — специально на строительство мастерской.

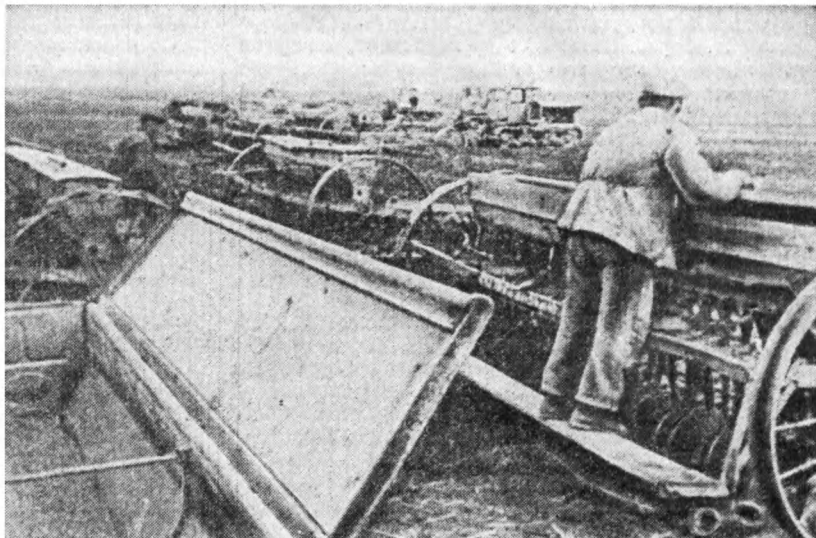
Работали всей бригадой...

Мы строили поселки, преображали города, под нашими руками бесплодная степь становилась цветущим краем. Все это — итог самоотверженного труда тысяч и тысяч людей, но первоцелинники по праву занимают среди них особое место.

Хочу рассказать о трактористе Викторе Васильченко. В моих глазах он олицетворяет механизатора первых лет освоения целины. Окончил курсы трактористов здесь, на целине. Придя в бригаду, зарекомендовал себя умелым механизатором. Однажды в жару Васильченко, не задумываясь, вышел в радиатор последнее ведро воды и, изнывая от пота и пыли, продолжал работать. Он позволил себе умыться и выпить, только когда пришел водовоз.

— Неужели столько времени терпел? — спросили его ребята.

Первая целинная посевная. Тогда никто еще не знал, как уродит эта веками непаханная земля.



— Да так вышло,— улыбнулся Виктор.— Водовоз где-то задержался...

— Так ведь вода была в ведре. Мог бы и напиться и умыться.

— А потом загорать? — удивился Виктор.— Трактор-то может перегреться.

— А ты?

— А я что? Я могу и потерпеть...

У него даже и мысли не возникло, что можно израсходовать оставшуюся воду на себя и, заглушив двигатель, дожидаться водовоза...

Трактористы совхоза «Щербаковский» Николай Грибов и Владимир Котешков, спасая общественный хлеб от пожара, пожертвовали своими жизнями. Героически погиб и помощник бригадира совхоза «Дальний» Даниил Потапович Нестеренко, добровольно вызвавшийся переправить через речку Жаныспайку срочный груз.

Он взялся за рискованное дело в силу крайней необходимости, но взялся спокойно, рассудительно, как и за все, что ему приходилось делать. И лишь после его смерти мы узнали, что этот неприметный с виду человек был Героем Советского Союза.

До глубины души потрясло нас письмо прораба совхоза «Киевский» Василия Яковлевича Рагузова, достигнутого в степи бураном. Замерзая, он обращался к сыновьям Владимиру и Александру: «Я поехал на целину, чтобы наш народ жил богаче и краше. Я хотел бы, чтобы вы продолжили мое дело. Самое главное — нужно быть в жизни человеком».

Я часто вспоминаю и других своих друзей первоцелинников, трагически погибших в годы освоения: Владимира Пересыпкина, Тимофея Турунцева, Николая Томилова...

«...Нельзя забыть, как давались нам первые гектары целинных земель и первые тонны целинного хлеба...»

«Мы поднимали целину, а целина поднимала нас». Такие слова мог бы сказать любой целинник. Целина многим дала путевку в жизнь. Сотни механизаторов, полеводов стали руководителями хозяйств, специалистами, партийными и советскими работниками. И где бы они ни работали, их отличают хозяйская хватка, рачительное отношение к делу. Это тоже закладывалось целиной.

Я помню, какое широкое распространение принял на целине почин прядильщицы из Вышнего Волочка Валентины Гагановой — переходить из передовых бригад в отстающие и налаживать там работу. В 1959 году я перешел из своей бригады коммунистического труда в бригаду № 1 совхоза «Ярославский», которая традиционно считалась неудачной. Двадцать два трактора у них было, а на ходу только два. За короткий отрезок времени здесь сменилось четырнадцать бригадиров. Товарищи меня предупреждали: «Смотри, Миша, у тебя ведь семья, сын растет, а первая бригада на отшибе, придется тебе опять на полевом стане жить, как в первые годы...»

Но я уже решил...

Встретили неласково: «Что, на нашем горбу пришел славу себе зарабатывать?»

Обидно было слушать такие речи. «Я сюда не славу зарабатывать пришел,— ответил.— Мне своей славы достаточно. Я учить вас работать пришел, раз уж вы работать не умеете...»

Наверное, я тогда был излишне резок, но знал, что уважение словами не завоеуешь. Уважение можно завоевать только делом.

Постепенно я понял, что корень зла не в самой бригаде, а в каком-то, я бы сказал, пренебрежительном к ней отношении. В любом хозяйстве есть передовики и отстающие. Так вот, об отстающих и думать начинают в последнюю очередь. Пришли запчасти к технике, их в передовые бригады — отстающие как-нибудь переберутся. Выгонят, скажем, из передовой бригады повариху за нечестность, куда ее? В отстающую бригаду, им, мол, все равно, кто еду будет готовить... Так что работать мне пришлось на два фронта — внутри бригады и «сражаться» с руководством совхоза — «выбивать» запчасти, требовать наладить снабжение. А как только люди в бригаде почувствовали, что о них заботятся, к их бедам и успехам не относятся равнодушно, работать стали лучше.

В общем, в 1966 году моя отстающая стала бригадой коммунистического труда. А в период уборки мы даже ездили на полевой стан моей прежней бригады — помогли им.

В этом же году меня направили в Целиноград — учиться в школе руководителей кадров совхозов. После окончания школы некоторое время работал управляющим отделением в совхозе «Ярославский», но

потом понял, что не по мне это дело. Я все-таки по профессии и по духу хлебороб. А еще точнее — целинный хлебороб. Бывало, сижу в конторе, смотрю в окно. Мимо тракторы едут. Так мне прямо не по себе становится. Хочется встать и бежать за ними. Стал я у начальства проситься обратно в бригаду. Мне сказали: «Хитрый какой! Мы тебя на руководителя учили, а ты опять в поле сбегать хочешь!.. Ну да ладно, раз уж хочешь, беги, только дадим мы тебе в наказание самую слабую бригаду, на этот раз в совхозе «Шуйский».

Так я попал в бригаду, где работаю и по сей день. Отношения тоже поначалу были сложные. Я стал требовать ухода за техникой, чистоты и порядка на полевом стане, соблюдения норм агротехники. Мои требования встречали в штыки.

Перелом в отношении людей к земле, к труду не сразу, но произошел. В 1968 году мы собрали самый богатый урожай в районе. В этом же году нам было присвоено звание бригады «Имени 50-летия ВЛКСМ». Так она до сих пор и называется.

Все это говорит о том, что одновременно с целиной Казахстана поднималась и другая целина — целина человеческих характеров. Люди учились жить, работать, отдавать свои силы на благо общества, и успехи, достигнутые в коммунистическом воспитании, видятся мне не менее важными, чем богатые урожаи, которые сейчас каждый год приносит целина. На целине труд перестал быть для меня чисто экономическим понятием. С понятием «труд» в первую очередь мы, целинники, связывали и связываем свое представление о моральном облике человека...

Нельзя не сказать и о том, что целина была для нас школой новаторства, широким полем для применения теоретических и практических знаний. Например, в совхозе «Шуйский» мы впервые применили переоборудованные сеялки. В отличие от серийных, эта модель одновременно срезала сорняки, заделывала семена и уплотняла почву. Помимо трехкратного выигрыша во времени, при этом полностью сохранялась накопленная за зиму влага.

Издавна хлеборобы проводили отвальную вспашку. С нее, собственно, и началось освоение целины. Однако вскоре выяснилось, что здесь, среди степей, она не дает ожидаемых результатов. Почему? По мнению многих, ежегодная вспашка с оборотом пласта приводила к разрушению структуры и снижению плодородия почвы.

Группа ученых Всесоюзного научно-исследовательского института зернового хозяйства во главе с академиком ВАСХНИЛ лауреатом Ленинской премии А. И. Бараевым разработала новую, безотвальную систему вспашки. Она применяется при осенней глубокой и мелкой обработке почвы, при обработке паров и весенней предпосевной подготовке полей, проводится новыми агрегатами. Они меньше распыляют почву, сохраняют на ее поверхности стерню и другие растительные остатки, которые защищают землю от ветровой эрозии и способствуют лучшему задержанию снега.

Это была революция в целинном земледелии... Я не случайно поставил рядом, казалось бы, две несовместимые вещи — переоборудованную механизаторами совхоза «Шуйский» сеялку и противозероизную систему земледелия, разработанную научно-исследовательским институтом. В этом видится мне всенародная забота о целине, продолжение освоения ее «вглубь», переход ко все более продуманным современным формам и методам хозяйствования. Когда-то мы в буквальном смысле поднимали целину. Теперь пришло время бережно «держат» ее.

Целина — моя жизнь. В марте 1979 года будет праздноваться двадцатипятилетие целины. Четверть

века я жил в Казахстане, работал бригадиром тракторно-полевых бригад.

Со своей женой я познакомился на целине. Здесь же родились мои дети. Старший сын Владимир — в 1955 году в апреле, в палатке на полевом стане. Сейчас он тоже тракторист совхоза «Шуйский», работает на тракторе «Казахстанец», женат, растит дочь Валю — третье поколение Довжиков на целине. Старшая дочь Людмила учится в сельскохозяйственном техникуме на агрономическом факультете. Вторая дочка Наталья — в десятом классе. Самому маленькому сыну Игорюку пять лет.

Целина — частица истории нашей страны, и я считал, что каким-то образом причастен к этому. Каждый раз, бывая в Москве, я захожу в музей Революции и смотрю на нашу старую целинную палатку. В том же зале находится макет космического корабля Юрия Гагарина. Это счастливое совпадение. Мне приходилось встречаться с Юрием Алексеевичем, и я помню, как живо расспрашивал он меня о целине. На всю жизнь я запомню встречи с ним и с другими космонавтами — Германом Титовым, Валентиной Терешковой... С Десятого всемирного фестиваля молодежи, который проходил в Берлине, мне посчастливилось ехать в одном купе с Алексеем Маресьевым. Я рассказывал ему о наших целинных героях — одессите Николае Чеповском, ленинградцах Иване Иванове и Леониде Картаузове. Эти люди вызывают у меня восхищение своим мужеством, простотой и скромностью.

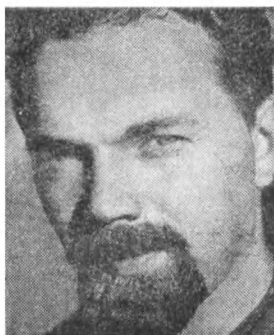
Сейчас, пролетая на самолете над целинными просторами, я поражаюсь происшедшим изменениям. Там, где раньше была дикая степь, встали города, поселки, лежат аккуратно распаханное поля. Я думаю, что такое преобразование края было бы невозможным без участия всего советского народа.

Но главный результат освоения целины все же видится мне в том, что сейчас эти некогда безлюдные пространства считают своей родиной наши дети — целое поколение целинников, родившихся и выросших здесь. Им «держат» целину дальше.

Бескрайние просторы целины — это поле площадью в сорок два миллиона гектаров. За двадцать лет оно дало народу 30 миллиардов пудов зерна. Иными словами, целинный караван — каждая третья буханка хлеба на вашем столе...

Я вспоминаю слова Леонида Ильича Брежнева: «В русский язык, в языки других народов Советской страны прочно вошло новое слово — «целинник». А это значит, дорогие товарищи целинники, что ваш труд увековечен в памяти народной. Более высокой награды нет и, пожалуй, не может быть!»

Да, так оно и есть!



**ИЛЬЯ
ФОНЯКОВ**



☆☆☆

С палочкой старик из Балаклавы —
Серая, седая борода.
У него на куртке орден Славы —
Плоская солдатская звезда.
Будто наспех вырезан из жести
Этот знак, на вид недорогой.
Быть бы вот такой достойным чести —
И уже не надобно другой.
В тех геройских поименных списках
Ты имен случайных не найдешь.
И на звезды скромных обелисков
Этот орден больше всех похож.

☆☆☆

Там безлюдные степи синеют мертво,
Там почти ничего не растет.
Там стоит пограничник, и мимо него
Ветер облачко пыли несет.
Сумасшедшее солнце палит с высоты,
Миражи затевают игру.
Начинается с этой далекой черты
Та земля, где живу и умру.

Бескорыстье

Объявлялся весенний субботник
В нашем послевоенном дворе.
Врач, художник, музейный работник,
Выходя, становились в каре.

Лом звенел по оплывшим торосам,
Начинали лопаты греметь,
И никто не терзался вопросом:
«Что я с этого буду иметь!»

Бескорыстье... Что морщишься хмуро,
Скептик милый годков двадцати!
Без него невозможна культура,
Хоть все книги на свете прочти.

☆☆☆

Живет — несовременная душа.
Представьте, уцелела, слава богу!
Учительница. Плащиком шурша,
Пересекает с книжками дорогу.
Вздыхает над стихами. Под окно
Разбрасывает голубям кормежку.
И все не понимает, как в кино
Целуются артисты понарошку.
Во все иное верит, как дитя,
С глазами, от волнения большими:
Как мчат сквозь пламя, саблями свистя,
Как в пропасть низвергаются в машине.
Но без любви поцеловаться вдруг!
Нет, невозможно! Нет, не понимает!
«Должно быть, здесь какой-то хитрый трюк!
Должно быть, здесь их куклы заменяют!»

☆☆☆

«Умней коня нет никого на свете», —
В горах меня алтаец уверял.
Он мудр, как мудрый старец. Он, как дети,
Сердечной чистоты не утерял.
Как он ступает, царственно кивая,
Терпенье и достоинство храня!
«Поверишь ли, когда я пьян бываю,
Стыжусь людей, но более — коня».

☆☆☆

Имя повторять. Бродить, сутулясь,
По местам еще недавних встреч.
«Камень, о который вы споткнулись»,
По примеру Пушкина беречь.

За плащом знакомым, за беретом,
Невзначай обманываясь, бресть, —
Уж давно доказано, что в этом
Счастья нет. Но что-то все же есть.

Что-то есть... Под солнцем и ненастьем,
На ветру и в комнатном тепле,
Разве люди живы только счастьем
На своей единственной земле!

☆☆☆

Бывает, фальшь звучит со сцены, —
И все утрачивает вес,
Как призрачны и странны цены
На этой ярмарке словес!
Гремит, как жест, пустое слово,
Поддельным золотом блестит,
И на душе не гнев, не злоба,
Один остался только стыд.
Здесь не моя драматургия,
Я, слава богу, в стороне,
Здесь поработали другие...
Но стыдно почему-то мне.



ФЛОР ВАСИЛЬЕВ

☆☆☆

Молчал я, но во мне все пело.
И вдруг береза под окном
Вся радостно зашелестела,
Вся заходила ходуном.
Я на нее глядел, счастливый,
И радость узнавал свою.
Тот шелест услышала ива
И рассказала соловью.
А соловей всю ночь бесечно
Про это песни распевал.
О радости моей сердечной
Наутро знал и стар и мал.
Из дома в дом ходили смело
Веселье, солнце, торжество,
И вся деревня наша пела
О счастье сына своего.

☆☆☆

Когда, влетая в белые ворота,
На зов мой кони счастья отзовутся,
Трепещет стих, кипит моя работа,
Горячие слова из сердца рвутся.
Но жизнь идет. И есть другие кони.
Черны, как ночь, несут они другое.
Проскачет конь — и, словно грязи комья,
Тоска летит из-под копыт и горе.
И снова радость гулкая несется
И гривы светлые волнует ветер.
Светлеют лица, будто всходит солнце,
Щебечут птицы, хорошо на свете.
И ходят кони белые лугами.
Я их пасу, я их пасу все лето.
А черные — они умчались сами.
Попрятались они, должно быть, где-то.

☆☆☆

«Доброе слово три года трепет» —
Мы, удмурты, так говорим.
Если теплом от слов твоих веет,
В краю чужом не будешь чужим.

Эти стихи Флор Иванович Васильев прислал в редакцию «Юности» незадолго до своей безвременной смерти.

Другом, гостем желанным будешь.
Сам поймешь наконец:
Всюду на свете живы люди
Взаимным светом сердец.

☆☆☆

Полыхает на небе солнце,
Словно желтый цветок италмас.
Песни нашей лучами коснется —
Звонче станет она у нас!
Светлоглазый родник, улыбаясь,
Предлагает ему воды.
И, на цыпочки подымаясь,
Угощают его сады.
И плывет оно выше, выше,
Чтобы всех разглядеть, приласкать.
На зеленую землю дышит —
Не насытится, словно мать.
А в траве разогретой, пряной
Полыхают цветы италмас,
Словно сделали все поляны
Золотого света запас.
Небеса — голубая ваза.
Долгий-долгий ласковый день!
Солнце желтое столько сразу
Обняло городов, деревень!
Властью светлых прикосновений
Очищает сердца от туч,
Разгоняет остатки сомнений
И надежды нижет на луч!

☆☆☆

Сидела женщина седая
На берегу крутом одна.
И пела не таясь она,
Всю душу в звуках изливая.

Ни сыновей своих, ни мужа
Она с войны не дождалась.
Тоска взяла над нею власть.
День ото дня ей было хуже.

В печальной песне той впервые
Наружу горе прорвалось,
И сердце бедное зашло.
В нем все любимые — живые.

И слезы покатились сами,
Легко, безудержно лились.
И горькая, большая жизнь
Вставала вся перед глазами.

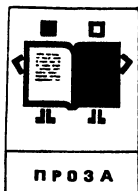
Те слезы с облегченьем вместе
Впитались в землю, вглубь ушли.
...Взгляни-ка, бьет из-под земли
Родник теперь на этом месте.

Рождает, сердце веселя,
Прозрачные, простые звуки.
Все горе матери, все муки
В себе оставила земля.

Поет родник. От родника
Бежит ручей на дно оврага.
Трепещет и сияет влага,
Пришедшая изглубока.

А выпьешь той воды земной —
Внезапно сердце просветлеет,
Покоем, радостью повеет,
Присутствием души родной.

Перевела с удмуртского
З. ПАЛВАНОВА



Ф. НАСЕДКИН



РОМАН

ОЗАРЕНИЕ

В

ремени оставалось много, и Аня не торопилась. Она медленно укладывала в чемодан вещи. Да и укладывать-то особенно нечего было. Рубашки, трусы и майки, носки и носовые платки. Обычные дорожные принадлежности. Она всегда делала это сама. Почему-то считала, что я обязательно что-нибудь забуду.

А я сидел на диване и просматривал газеты. Они пестрели заголовками, призывавшими к трудовым подвигам. И веяло от них не только свежей краской, а и умиротворением. Но меня не покидала досада. Я один уезжал в Кисловодск. Аня не решилась оставить ребят на старую мать. И я согласился ехать без нее. Надо лечиться.

Стрелки часов сошлись на двенадцати. Сейчас будут последние известия. Я включил приемник и услышал взволнованный голос. Передавалось правительственное сообщение. Фашистская Германия напала на Советский Союз. Ее самолеты на рассвете бомбили наши города. А танки и моторизованная пехота пересекли западные границы и вторглись на нашу территорию. Красная Армия ведет тяжелые бои и на отдельных участках отступает на более выгодные позиции. Заканчивалось сообщение словами, что наше дело правое, враг будет разбит и победа будет за нами. Приемник надолго замолчал, словно в радиокомитете не знали, что передавать. Молчали и мы, растерянно уставившись на отпиранный ящик. Но вот зазвучала музыка, и я включил его.

Аня опустилась на стул и заплакала. А я стоял рядом и не успокаивал ее. Меня будто охватила лихорадка.

Наконец, Аня вытерла глаза и принялась выкладывать из чемодана вещи. А я переоделся в полувоенный, защитного цвета костюм и сказал:

— Поеду в ЦК. Оттуда позвоню.

☆☆☆

Мы заняли места за длинным столом. Николай Михайлов, первый секретарь ЦК комсомола, рассказал о положении на фронтах. Знал он немногим больше нас. Да и слово «фронты» звучало неопределенно. Они представляли собой разрозненные участки, где наши войска вели ожесточенные оборонительные бои.

Печатается
с сокращениями.

Рисунки
Маринь
ПИНКИСЕВИЧ.

Некоторое время мы молчали. Разум все еще отказывался верить тому, что случилось. И невозможно было примириться, что враг марширует по нашей земле.

Молчание прервал Михайлов. Выпрямившись, он решительно сказал:

— Предлагаю обратиться в ЦК партии с коллективной просьбой отправить нас на фронт. Кто «за»? — И, когда мы дружно проголосовали, торжественно объявил: — Единогласно! — И спросил: — Кому поручим доложить нашу просьбу?

Григорий Громов, самый старший из нас по возрасту, сказал:

— Иди сам и проси послать на передовые. Обещаем драться, не жалея жизни.

Я и Николай Романов присоединились к словам Громова. Михайлов позвонил Андрееву, секретарю ЦК партии, и попросил принять его. Тот предложил ему явиться сейчас же. И заседание секретариата Цекмола (так называли мы ЦК ВЛКСМ) было презвано.



Время тянулось медленно. Будто вот-вот и совсем остановится. А хотелось, чтобы оно расправило свои крылья и чтобы во много раз быстрее делались дела, необходимые для победы.

Пришел Григорий Розанцев, первый заместитель заведующего отделом кадров. Плотный, коренастый, он всегда выглядел невозмутимым. Таким невозмутимым показался он и теперь, словно война, бушевавшая на нашей земле, была всего лишь очередным мероприятием. Он в любое время и везде ходил с кипой папок под мышкой.

Вот и теперь пожаловал с ними. Я усмехнулся и спросил:

— А вы и сегодня не расстаетесь со своими папками? Думается, война заставит нас работать по-другому.

— Без папок этих и во время войны не обойдемся, — самоуверенно ответил Розанцев. — И вы сейчас же убедитесь, что это так. — Он положил передо мной список. — Это инструкторы отделов. Они уже призваны на фронт. А в этих папках личные дела комсомольских работников, которые освобождены от мобилизации. Посмотрите и скажите: можно вести с ними разговор о работе в Цекмоле?

— Обязанности призванных распределить между оставшимися, — сказал я. — Сейчас многим придется выполнять двойную, а то и тройную нагрузку. И мы, комсомол, должны показать в этом пример. А после этого будем брать других. Если же забегать вперед, то нужно в первую очередь иметь в виду девушек...

Разговор прервал Муталиб Бабаев, первый секретарь ЦК комсомола Азербайджана, смуглый, с большими темными глазами, с густой шапкой черных волос. Глядя мне в лицо, он до боли сжал мою руку.

— Извиняюсь, что помешал, — произнес он мягко, почти без акцента. — Спешу на аэродром. Улетаю в Баку. Забегал проститься.

Розанцев встал, хмуро глянул на меня и сказал:

— Меня ждут люди.

Я молча кивнул. Он простился с Бабаевым и вышел. А мы присели на диван.

— Много наших уйдет на войну, — сказал Бабаев. — Как быть? Что делать?

Я и ему посоветовал смелее выдвигать девушек. Бабаев покачал головой и ответил:

— Э, у нас это нелегко. Мало в комсомоле девчат. Да и те стесняются. Даже хорошо грамотные не решаются выступать перед молодежью. А комсомольский работник должен часто выступать. Особен-

но теперь, когда все силы придется отдавать на защиту Родины. — И тут же добавил: — Но будем делать и так. Сейчас, когда идет война, думаю, девушки посмелеют. Обязательно посмелеют. И пойдут вместо ребят даже туда, куда раньше силой не затащить бы. — Он взглянул на часы и встал. — Мне пора. Спасибо за критику! Правильно! Плохо работали, много недостатков. Будем стараться. Ведь теперь по-другому надо работать...

Мы пожали друг другу руки, и он ушел. А я вспомнил его доклад на бюро ЦК. Он рассказал тогда о работе комсомола, о добыче нефти, говорил обо всем просто и обстоятельно. Но о недостатках умолчал. О них доложили наши инструкторы, проверявшие республиканскую организацию. Бабаев слушал содокладчиков молча, с видимым спокойствием. Ни разу не возразил, ни о чем не спросил. Зато в заключительном слове опровергал чуть ли не все. Это насторожило членов бюро. Некоторые из них упрекнули Бабаева в неправильном отношении к критике. Но он и после этого не сдался. И ушел обиженным, как школьник, которому незаслуженно поставили плохую оценку. Теперь же он благодарил за критику. Война меняла все...



В ЦК партии одобрили наш порыв. Но попросили оставаться на своих местах. И немедленно переорганизовать работу комсомола с учетом требований войны.

А мне было предложено отправиться в Кисловодск и провести предписанный врачами курс лечения. Это удивило и взволновало меня. Я никак не мог согласиться с таким решением и ломал голову, как избежать поездки на курорт. Притвориться, что зрение улучшилось? Окулист легко уличит во лжи.

Отменить указание мог только Андреев. Надо было звонить ему и просить его. Сделать это я должен сам. Он поймет мое состояние.

«Да, да, надо звонить, — подбадривал я себя. — И настойчиво просить. Не время для курортных поездок. И ничего у меня страшного не случилось, чтобы отсиживаться в санатории. Сейчас, во время войны, врачи не приняли бы такого решения. А стало быть, рекомендацию консилиума следует считать недействительной...»

Я набрал номер вертушки и услышал в трубке мягкий, чуть приглушенный голос.

— Мне передали, — сказал я. — Вы предложили ехать в Кисловодск?

— Да, — подтвердил Андреев. — Вам надо лечиться.

— Какое может быть сейчас лечение? — возразил я. — А кроме того, я же здоровый человек. И могу работать с полной нагрузкой.

— У нас имеется заключение врачей, — сказал Андреев. — Они настаивали, чтобы вы провели лечение в Кисловодске. И надо выполнить их указание.

— Не время для этого, Андрей Андреевич! — взмолился я. — Об этом даже неловко говорить.

— Почему же неловко?

— Война же! — горячо сказал я. — Людей убивают. Какие уж там курорты?!

— На войне не только убивают, — не уступал Андреев. — Бывают и раненые. Их лечат, чтобы снова вернулись в строй. — И, помолчав, добавил: — Я понимаю вас. Народ встает на борьбу. А тут — санаторий. Понимаю. Но и вы поймите. Месяц в ЦК комсомола обойдется и без вас. Для вас же он может оказаться решающим. Даже в военное время надо жить не только сегодняшним днем. И не под-

вергать себя опасности там, где нет в этом необходимости...

Пожелав мне скорого выздоровления, он простился. А я, положив трубку, долго сидел неподвижно. Итак — Кисловодск. Война — и курорт. Или так и надо? Всего какой-то месяц. Конечно, обойдутся тут и без меня. Не только месяц, а и всю войну. Не велика фигура. А своевременное лечение может избавить меня от страшной опасности.

☆☆☆

На следующий вечер в Москве была объявлена воздушная тревога. Раскатисто гремели зенитные орудия. От грома дребезжали стекла в окнах, казалось, сотрясалась земля. Огромный город притаился.

Мы стояли на балконе и напряженно вглядывались в небо.

После отбоя я позвонил домой и услышал срывающийся голос Ани:

— Это ты? А я звонила тебе несколько раз. Телефон не отвечал.

— Мы были на балконе, — сказал я. — Наблюдали за стрельбой.

— Я очень волновалась, — продолжала Аня. — Что это? Налет?

— Учебная тревога, — объяснил я. — Никакого налета не было. Не беспокойся.

Аня облегченно вздохнула.

— А мы тут места себе не находим. Нет, не ребята. Они спят. Даже не проснулись. Мы с мамой. — И невесело рассмеялась. — Она заперлась в ванной и вот только что вышла...

Перед рассветом мы разъехались по домам. Аня еще не спала. Мне обрадовалась, точно мы не виделись вечность.

— Неужели теперь все ночи будут такими тревожными?

Я повторил, что это была проверка готовности противовоздушной обороны, и выразил уверенность, что наши зенитки не подпустят фашистские самолеты к столице. Аня совсем успокоилась и сказала:

— Я все думала о Кисловодске... Ты напрасно переживаешь. Если требуется лечение, надо лечиться. Успеешь поработать и на войну. Она, как видно, не так-то скоро кончится. — И доверчиво глянула на меня. — Я тоже поеду с тобой. Заберу ребят и поеду. Перебуду войну у Поли. До Кавказа-то немцы уж не доберутся.

— До какого там Кавказа, — сказал я. — Еще немного, и мы остановим их. И погоним назад. Да так, что пятки будут подмазывать. И все же я посоветовал бы тебе пока оставаться в Москве.

Но Аню трудно было убедить. Кавказ — ее родина. Она родилась и выросла в Минеральных Водах. Там у нее жила родная сестра Полина. Жили там и другие родственники. И я уступил. Может, и правда так лучше? Вместе доедем без особых трудностей. А она будет в полной безопасности. В самом деле, не прорвутся же немцы так глубоко. Что угодно, а такого не может быть.

☆☆☆

Утром во время завтрака я сказал и матери, что еду в Кисловодск лечиться.

— Очень не хочется, но приказано. И я не могу ослушаться.

— Слава богу! — обрадовалась мать. — А я уж расстроилась: помешала война лечению, и ты ослепнешь.

— Ну что вы, мама?! — нахмурилась Аня. — Не так уж безнадежно у него с глазами. — И, не дав матери возразить, сказала: — Я тоже еду туда с ребятами. Пережду войну у сестры. Правда, порознь с Федей будет нелегко. Но что же делать?

Мать одобрительно кивнула.

— Поезжайте вместе. Так будет лучше. — И попросила: — А меня отправь домой, сынок! Билет купи и на станцию проводи...

Она заметно изменилась за это время. Раньше держалась прямо, голову несла горделиво. И на строгом, почти без морщинок лице не было ни тревог, ни волнений. Ей было под семьдесят, но, глядя на нее, в это не верилось. А сегодня можно было дать больше. Она как-то осунулась, сгорбилась. Под глазами вздулись и потемнели подушечки. Даже каштановые виски засеребрились.

— Разве ты не останешься здесь, мама?

Она замахала на меня рукой.

— Да ни за что на свете! — произнесла она, вся содрогнувшись. — За одну ночь так натерпелась, что до сих пор не приду в себя.

— Это же была учебная тревога.

— И слава богу, что учебная. А только будут и неучебные. Не зря же учились тревожиться. — И решительно повторила: — Нет, поеду домой. Да и что мне тут делать? Вы уезжаете. А в пустой квартире и без тревог страшно.

— Пустой квартира будет месяц, — возразила Аня. — А там Федя вернется. И вы бы жили вместе.

— До меня ли ему в такое время? — вздохнула мать. — Сейчас и то днями и ночами на работе. А тогда и подавно будет пропадать там. И стану я тут одна тосковать. — Она помолчала, покачала головой. — Нет, спасибо за доброту и ласку. Но я поеду к себе в деревню. В такую глухомань немцы не полезут. Да и Нюрке одной трудно. Гаврюху-то, небось, тоже забрали.

В передней продребезжал звонок. Аня открыла дверь и приветливо воскликнула:

— А, Валерий! Здравствуйте! Пожалуйста, заходите!

В ответ послышался знакомый голос. Это был Валерий Шумов, заведующий отделением «Комсомольской правды» в Киеве. Недавно он приехал в Москву на совещание. Мы виделись с ним в Цекамоле. Теперь он без предупреждения пожаловал на квартиру. Значит, что-то неотложное и важное привело.

Я тоже вышел в переднюю. Шумов сказал:

— Сегодня уезжаю в Киев. Зашел проститься. А позвонить не смог. У приятеля, где ночевал, нет телефона. Вот и нагрязнул незваным.

Выбежали ребята. Они любили Шумова и теперь обрадовались ему. Он, как взрослому, пожал руку Володе. А Валерия потрепал за светлый вихор:

— Здорово, тезка!

Валерий шмыгнул носом и обиженно ответил:

— Я не тезка, а Валелий.

— Я тоже Валерий, — напомнил Шумов. — А тезками называются люди, у которых одинаковые имена. Потому-то мы с тобой тезки.

Лицо Валерия расцвело в улыбке.

— Если так, то холошо, — сказал он. — Тогда я согласен.

Мы посмеялись. Потом зашли в комнату. Шумов посмотрел на меня и опустил глаза.

— Прости, Федя! — Он называл меня так же, как Аня. — Я к тебе по важному делу. Вчера редакция намечала военных корреспондентов. Я тоже записался, но меня вычеркнули. Просил, чуть ли не умолял, отказали.

— Почему?

Шумов передернул плечами и болезненно поморщился.

— Говорят, в отделении некому работать. А я очень хочу на фронт. И потому заехал к тебе. Они будут представлять список в ЦК на утверждение. Вот я и прошу тебя: включи меня в этот список. А в отделении найду замену. Можешь не сомневаться.

Он выглядел усталым, словно не спал ночь. В глазах металась тревога. Но внешне был, как всегда, аккуратным, в безукоризненном костюме.

Вспомнилось... Впервые мы встретились на киевском заводе «Арсенал». Там Шумов редактировал заводскую многотиражку. Это было вскоре после того, как я переехал из Алма-Аты, где работал корреспондентом «Комсомольской правды», в столицу Украины, заведовать отделением этой газеты. Шумов сразу пришелся мне по душе.

Работали дружно. Откровенно делились мыслями. Беспощадно критиковали друг друга.

Удивляло лишь одно — его медлительность. Он никуда никогда не торопился. И ничто не в силах было заставить его ускорить шаг.

Однажды я не вытерпел и сказал:

— Послушай, Валерий! Тебе двадцать семь каких-то, а ты, как старик. Неужели не можешь топтать быстрее?

Он расстегнул пиджак и подставил мне грудь.

— Послушай!

Я приложился ухом к его груди и услышал внутри какое-то тарыхтение. Казалось, там кто-то беспорядочно выбивал чечетку. Я слушал долго, чувствуя на спине холод. Потом, отстранившись и со страхом взглянув на него, спросил:

— Что это?

Он застегнул пиджак и с грустью посмотрел мимо меня.

— Сердце.

— Почему же оно так тарыхтит?

— Врожденный порок.

В душе защемила жалость.

— А что говорят врачи?

Шумов вздохнул и снова болезненно улыбнулся.

— Врачи ничего не говорят. Они только удивляются, как я живу. И советуют мне не бегать, а ходить. И как можно медленней...

Но он не только жил с таким сердцем, а и работал.

И теперь вот просился туда, где и со здоровым сердцем нелегко.

— Ну, так как, Федя? — спросил Шумов, прервав мое молчание. — Могу надеяться?

Я отрицательно покачал головой.

— Нет! Я не включаю тебя в этот список. А если ты добьешься, что редакция представит и тебя, вычеркну.

Глаза Шумова широко раскрылись.

— Почему?

— Потому, что для такой работы ты не годишься, — безжалостно ответил я. — Или ты забыл, какое у тебя сердце? Тебе нелегко и в нормальных условиях. А на фронте ты сразу угробишь себя. Там не то что быстро ходить, бегать придется. А то и ползать под пулями и осколками.

Шумов слушал, опустив голову. А когда я закончил, сказал:

— А если я дам слово, что не угробию себя?

Он сказал это серьезно, и я серьезно ответил:

— Валерий, ты должен понимать. Война не игра. Она диктует свои условия. И ты вынужден будешь делать, что тебе не под силу. Не забывай, что ты инвалид.

Последнее слово я выпалил сгоряча. Лицо его

побледнело, словно от него отхлынула кровь. Он весь выпрямился и сказал дрогнувшим голосом:

— Пенсию по инвалидности не получаю. А работаю не меньше, чем неинвалиды. И на фронте могу выполнять обязанности не хуже других.

Он встал и отошел к окну, выходящему во двор. Я тоже поднялся, стал рядом с ним. А во дворе в скверике ворковала ребятня. Среди других малышей я заметил Володю и Валерию. Мать накормила их, и они вместе со сверстниками носились между молодыми деревцами. Я положил руку на плечо Шумова и сказал:

— Прости! Не хотел тебя обидеть. Но ты не имеешь права рисковать собой. Мне вот тоже не хочется ехать в Кисловодск, а я подчинился.

— Я прошу не в санаторий, а на фронт, — ответил Шумов. — И даю слово работать там в полную силу.

— Но и отделение в Киеве — это ведь тоже боевой участок. И, оставаясь там, ты будешь участвовать в общей борьбе.

Он повернулся, глянул на меня гневными глазами.

— Оставь проповедь. Скажи лучше: поможешь поехать на фронт?

— Нет! — решительно повторил я. — Если даже представят, задержу. Не обижайся, но на фронт ты не поедешь. Будешь, как прежде, руководить отделением в Киеве. И, повторяю, это будет твоя боевая работа.

Шумов снова опустил глаза, помолчал. Потом вскинул на меня насмешливый взгляд.

— Ну, что ж! Спасибо и на этом! А я-то думал... Эх! — Он сунул мне руку. — Прощай! Мне пора. Иначе опоздаю...

Мы вышли на лестничную площадку. С минуту молча смотрели друг на друга. Потом Шумов обнял меня, щекой прижался к щеке. И непривычно быстро побежал по ступенькам вниз. Когда там глухо стукнула дверь, я вернулся домой.



В Минеральные Воды мы прибыли утром. Приехали скорым поездом Москва — Кисловодск. Он продолжал ходить по расписанию. Но курортников в нем уже было мало. Ехали все больше эвакуированные. Были в поезде и раненые. Их направляли на лечение в санатории, которые срочно пероборудовались в госпитали. Солдаты и офицеры ехали в специальных вагонах, превращенных в санитарные. Их сопровождали медицинские сестры в белых халатах с красными крестами на рукавах. Среди них были и те, которые по путевкам комсомола находились в армии.

Демины жили недалеко от вокзала. Поля, старшая сестра Ани, обрадовалась нам. Приветливым выглядел и ее муж Илья. А их четырнадцатилетняя дочь Женья сразу же завладела ребятами.

— Вот хорошо-то, что приехали, — говорила Поля, глядя на Аню блестящими глазами. — А мы тут только о вас и думали. Москва-то, она ж недалеко от войны. Ну как фашисты начнут бомбить? Страсть господняя!

— А и правда, мы рады, — добавил Илья. — Все равно ж поставили бы эвакуированных. Так лучше уж свои. Со своими-то легче, чем с чужими...

Жили Демины скромно. Небольшой дом, обставленный простой мебелью. Двор с хозяйственными постройками, обнесенный плетневым забором. В саду — яблоки, груши, абрикосы, вишни. Обещал хо-

роший урожай виноград, густо заплетавший провололочную сетку над двором. Росли на участке картошка, помидоры, огурцы и прочие овощи. Работал Илья в железнодорожном депо. У него была отсрочка от призыва в армию. Освобожден он был и от трудовой повинности. И война пока что не причиняла его семье неудобств. Все же он сказал, покрывав в жесткую, покрытую застарелыми мозолями ладонь:

— Так-то оно так. А все ж таки... Три лишних рта. По нынешним временам — это не так-то мало.

— Аня будет покупать продукты, — сказал я. — Ей положено то же, что и другим. А если чего не будет в магазинах, на рынке подкупит. Деньги у нее имеются...

А Поля сказала Ане, когда они оказались в доме вдвоем:

— Живи и не беспокойся. Есть у нас запасы. Правда, небольшие, но есть. Мука, крупы разные, сало, масло подсолнечное и еще кое-что. Илюша, он же, ты знаешь, запасливый. Одним днем никогда не жил...

Поля была старше Ани на пятнадцать лет. Кроме них, в семье отца было много детей. И Аня с детства воспитывалась у старшей сестры, жившей отдельно с мужем. Это сроднило их так, что они не переносили долгой разлуки.

☆☆☆

На другой день я прибыл в Кисловодск. В санатории предъявил путевку. Дежурный врач посмотрел на меня с удивлением.

— С начала войны к нам никто не поступал, — сказал он. — А те, кого она застала в поездках, явились с просьбой помочь тут же отправиться обратно. Так что вы первый...

Все же он принял меня заботливо. И поместил в отдельную палату со всеми удобствами.

— Располагайтесь и отдыхайте, — сказал он. — Коль уж приехали, так тому и быть...

Отдыхающих в санатории и правда было мало. Многие выехали сразу, как только стало известно о войне. Оставались старики и женщины. Им не надо было туда, где лилась кровь. И они с безраздастным настроением доживали сроки.

Три дня я аккуратно ходил в столовую. Завтракал, обедал, ужинал. А в промежутках между едой бесцельно слонялся по знаменитому и почти опустевшему парку. Врачи не обращали на меня внимания. Они бродили по корпусам, как зачумленные, и, казалось, сами нуждались в срочном лечении. Да их и мало оставалось в санатории. Большую часть забрали в госпитали, которые развертывались и в Кисловодске. Оставшимся же нечего было делать. Нарзанные ванны бездействовали, аптеки пустовали, из-за недостатка продуктов не было и диетического питания.

Все же глазной врач осмотрела меня. Это была средних лет женщина приятной наружности. Она подолгу вглядывалась в мои глаза через стекло. А под конец вдруг спросила:

— Вы, конечно, сняты с военного учета?

— Никак нет! — по-военному ответил я. — Политработник запаса.

Она с минуту думала, словно ответ мой озадачил ее.

— У вас атрофия зрительных нервов. А с такой болезнью снимают с военного учета...

И не назначила никакого лечения. А рекомендацию московских врачей отложила с таким видом, как будто это была пустая бумажка. И я прямо из глазного кабинета отправился выписываться.

☆☆☆

Аня не скрыла огорчения, увидев меня. Она надеялась на это лечение и никак не думала, что его не будет. Но скоро смирилась, поняв, что врачам, и правда, сейчас не до меня.

А я решил срочно связаться с Москвой и сообщить, что первым же самолетом вылетаю в столицу. В горкоме комсомола застал множество молодых людей. Они обсуждали военные дела.

— Помогите связаться с Москвой, — сказал я.

Секретарь горкома снял трубку телефона, попросил междугородную и начал дружеским тоном:

— Тамара!.. Это я... Привет! Как жизнь?.. А работы много? Москва... Очень срочно. Товарищ у нас тут из ЦК комсомола... Да... Постарайся, Тамарочка! — Он положил трубку и с улыбкой глянул на меня. — Сейчас дадут. Там у нас почти все комсомолки. И наши заказы пропускают вне очереди...

Все же дали Москву не сразу. И почему-то соединили с Грозовым. Выслушав меня, он созвонился с другими секретарями и сказал, что надо выезжать в Москву.

☆☆☆

По случаю моего отъезда Демины устроили обед. Стол был скромным. Пили и ели мало. Говорили о войне. Она разгоралась с каждым днем. Немцы, разрушая города и села, двигались в глубь страны. Уже приходили «похоронки» и уведомления о пропавших без вести. И росло тревожное недоумение: почему же славная Красная Армия не остановит фашистского нашествия?

Этот же вопрос метался и в глазах родственников, сидевших за столом. Впрочем, они не обращались с ним ко мне. И вскоре, словно почувствовав, как нелегко мне молчать, заговорили о прошлом. Да, оно совсем недавно было, это прошлое. Но теперь представлялось чуть ли не сказочным. Люди жили мирно. И продуктов питания было вдоволь. Правда, с промтоварами случались перебои. Все же молодежь одевалась прилично, даже модно. И работали люди с душой. А зарабатывали столько, что не приходилось думать над тем, как свести концы с концами.

Я смотрел на Аню. Она не участвовала в разговоре и казалась грустной.

Вспомнилось наше прошлое. Это было здесь, на Кавказе. Шел тридцать третий год. Трудный, тяжелый год. Колхозы не успели окрепнуть. А колхозники все еще чувствовали себя одиночками. Они ревностно оберегали свое и чурались общего.

Вот осенью этого-то года я и приехал сюда из Кабардино-Балкарии. Нас, русских заместителей и помощников начальников политотделов МТС, заменили местными, и я все тем же помполитом по комсомолу угодил в Ольгинскую МТС, что недалеко от Минвод. И там встретил ее, Анну Асанову, прибывшую туда двумя месяцами раньше. Встретил и, что называется, с первого взгляда влюбился. Да так, что потерял голову.

А случилось это шестого ноября, в канун Октябрьского праздника. Я приехал в село, называвшееся татарским словом Яман, что значило «плохо», с докладом о Великой Октябрьской революции и, как полагалось, зашел в партачейку. В комнате застал высокого, средних лет, худощавого мужчину и молоденькую девушку. Мужчина ходил взад и вперед и что-то диктовал, а девушка сидела за столом и под диктовку писала.

Смуглая, она была похожа на кабардинку или

балкарку. Заходящее солнце через окно озаряло ее красивое лицо, блестящими отражалось в больших черных глазах. Что-то дрогнуло в моей душе, чаще забилось сердце, и я решил, что это была она, которая наконец-то мне встретилась.

Мы познакомились. Мужчину звали Митрофановым. Он был секретарем партячейки. А девушка Анна Асанова оказалась заведующей начальной школой. Они делали праздничную стенгазету и торопились, чтобы вывесить ее перед торжественным собранием в клубе.

Остановившись позади Анны, я наблюдал, как вводила она круглые буквы, переписывая заметки, и вдруг обнаружил в одном слове ошибку. Не очень грубую, но непростительную для учительницы. И сказал, почему-то обрадовавшись:

— Что ж это вы, товарищ Асанова, детей учите, а сама допускаете ошибки? — И ткнул пальцем в заметку. — Слово-то это пишется через «е», а не через «о».

Лицо Анны сделалось пунцовым, алые, точно вычерченные губы дрогнули. Будто сейчас она заплачет. Но она не расплакалась. И, не ответив, исправила ошибку. А Митрофанов, глянув в заметку, потом в свой листок, сказал:

— Моя вина. Я так продиктовал. Неправильное ударение сделал...

На заседании мы с Анной оказались рядом в президиуме. Но она держалась так, будто никогда меня не видела. И за все время, пока я делал доклад, ни разу не взглянула на меня. А на лице не отражалось никаких чувств, словно она ничего не слышала. Даже рассказ мой о бесновавшихся в Германии фашистах, вызвавший общий смех, не заставил ее и улыбнуться.

«Твердокаменная, что ли? — с досадой думал я. — Ничто на нее не действует. Или чересчур злопамятная? Не может простить безобидного замечания?..»

После торжественной части начались танцы. Скамейки одна на другую сгрудили у стен, чубатого гармониста усадили на сцену, и в лихом вальсе на деревянном полу закружились пары. Анна с какой-то сероглазой девушкой стояла в стороне. Я подошел к ним и пригласил ее на танец. Она покраснела и положила руку мне на плечо.

Танцевали молча. Мне хотелось заговорить с ней. Но я не знал, как и о чем. К тому же танцевал плохо и чувствовал себя скованно. Видимо, не дождавшись, когда я раскрою рот, она спросила:

— Как вас зовут? — И тут же поправилась: — Фамилию слышала, а имя не знаю.

Я назвался Федором. Имя мое Филипп самому не нравилось. Да я и не считал его своим. По просьбе крестного жадный поп во время крещения за целковый заменил этим именем полагавшегося мне Федора. А крестный попросил об этом, чтобы мать моя поскорей забыла своего, безвремено погибшего первенца Филиппа. И я никак не мог привыкнуть к такому имени. А теперь даже испугался, что оно не понравится и Анне.

— Хорошо, — сказала Анна после некоторого раздумия. — А меня звать Анна. Но ты можешь называть Аней.

То, что она сразу перешла со мной на «ты», приободрило. Захотелось назвать и ее так. Но не просто назвать, а употребить ее имя в какой-то умной фразе. Я напряженным придумывал такую фразу и, занятый этим, наступил ей на ногу. Она опустила руки, и мы отошли в сторону. Оборвал нежный разговор гармошки и чубатый гармонист, будто играл только для нас. Я предложил Ане прогуляться. Поколебавшись, она согласилась.

Ночь стояла лунная. Легкий морозец пощипывал уши. Но снега еще не было. И дорога, лежавшая вдоль улицы, чудилась недобеленным холстом.

Аня была в черном пальто. Голову покрывал шерстяной платок. Она шла мелкими шажками и, казалось, готова была по-детски пуститься вскачь. Я же в распахнутой шинели, с кожаной сумкой на плече шагал широко, словно был тут хозяином. Но в душе не было уверенности. Чем кончится это знакомство, с которым я уже связывал свою жизнь?

Аня охотно рассказала о себе. Ей шел девятнадцатый год. Родилась и выросла в Минводах. Там окончила среднюю школу, потом учительские курсы и теперь работала в Ямале. Отец ее всю жизнь трудился на железной дороге. Проводником в пассажирских поездах колесил между Москвой и Кироводском. А мать хозяйничала дома. У нее было большое сердце. Да и большая семья требовала немало забот.

Потом я рассказывал о себе. Рассказывал тоже без прикрас, только правду. И раньше чем мы дошли до ее дома, она узнала, что я вырос в черноземной Знаменке, что родной отец мой погиб в мировую войну, что воспитывались мы, два брата и сестра, у отчима, который был для нас родным отцом, и что с юных лет я всего себя посвятил делу партии, которое считал великим и справедливым.

Остановились перед домом, в котором Аня с подругой, тоже учительницей, занимала комнату. Не хотелось так скоро расставаться, и она, словно угадав это, пригласила меня.

— Посидим, пока Шурка придет. Она, наверно, вот-вот явится...

В маленькой уютной комнате Анна сняла пальто, сбросила платок и показалась девчонкой. Я так откровенно рассматривал ее, что она смутилась и сказала:

— Что ж не разденешься? Повесь шинель вон там. А сумку положи на стол.

Я водворил шинель и фуражку на гвоздь в стене, расправил гимнастерку под поясом. Собрался было подтянуть галифе, да вовремя спохватился. Это наверняка уронило бы меня в ее глазах.

Когда я вернулся к ней, она глянула на меня и сказала:

— А знаешь, как я тебя в партячейке возненавидела? Прямо всей душой, всем сердцем.

— А сейчас? — спросил я, чувствуя, как тускнеет мечта. — Продолжаешь ненавидеть?

— Нет, — покачала она головой. — Сейчас не продолжаю. Да и тогда возненавидела как-то так... Ненавидела, а все думала о тебе. А когда пригласил танцевать, другое почувствовала. И теперь так сильно это чувствую, что даже боюсь.

— И что ж ты чувствуешь теперь?

Аня отвела глаза, и щеки ее порозовели.

— Со мной творится что-то такое... Ничего подобного раньше не было... Мне кажется... нет, я уверена... я полюбила тебя.

Я смотрел на нее, раскрыв глаза, и сам понимал, что выглядел растерянным. А она все так же доверчиво продолжала:

— А разве может быть так? Разве может ненависть превратиться в любовь? Да еще так быстро, за какой-то вечер?

Я притянул ее к себе, поцеловал в губы. Она мягко высвободилась и серьезно сказала:

— Нет, это совсем не так. Никакой ненависти не было. Я только обиделась. И обиду приняла за ненависть. А обижаться не за что было. Митрофанов взял вину на себя. Но это была моя вина. Я не думала, что писала, и ошиблась.

Я снова поцеловал ее. И, с трудом подавляя волнение, проговорил:

— Все хорошо. И пусть это была ненависть. Если она обратилась в любовь, я рад и ненависти...

Пришла Шура. Это оказалась сероглазка, которая в клубе стояла с Аней. Она крепко пожала мне руку и широко улыбнулась.

— Будем знакомы...

Поговорили о вечере, и я собрался уходить. Шура снова дружески пожала мне руку.

— Заглядывай. Будем рады...

Аня вышла со мной на улицу. Она была в одном платье. Я укрыл ее шинелью.

— Хочешь быть моей женой?

Она заглянула мне в глаза, словно пръвсрля, не шучу ли.

— Так быстро?

— А чего тянуть?

Она подумала и покачала головой.

— Нет!

— Почему? Ты же полюбила.

— Полюбила. А женой не хочу. Да и куда спешишь? Успеется, если не разлюбится.

— Разве так бывает?

— Не знаю. Может, бывает. Быстро приходит, быстро и проходит...

Илья снова наполнил стаканы. Все выпили. А я отказался. Не нравилось вино. Кислое. Да и не хотелось пить перед дорогой.



В аэропорт приехали за час до полета. Пассажиров было мало, и билет купили без труда. Илья отправился к знакомому дежурному уточнить время вылета, а мы присели на диван в зале ожидания.

Заглянув мне в лицо, Аня спросила:

— За столом ты был сегодня задумчивым, Федя! Вспомнилось что-нибудь?

— Да,— подтвердил я.— Яман. Помнишь, как мы там познакомились?

Глаза Ани потеплели, мягкая улыбка согнала с лица грусть.

— И я думала о том же,— сказала она.— Удивительно, как все получилось. Даже самой теперь не верится. В один день влюбились. Даже в один вечер.

— Зато потом целый месяц, помнишь, как я атаковал тебя? И с каким упорством ты оборонялась? Думал: никогда не возьму крепость.

— И вдруг крепость пала,— улыбнулась Аня.— Без всякой атаки...

И мне отчетливо вспомнился тот вечер. Было это шестого декабря, ровно через месяц, как мы познакомились. Без малейшей надежды я в который раз приехал в злополучный Яман. Вошел в чистенькую комнату и увидел подружек. Они показались какими-то необычными. Аня была одета в сиреневое платье, на плечах лежала дымчатая косынка. Принаряженной выглядела и Шура. Клетчатая кофточка убрана в черную юбку со складками. Лакированный пояс стягивал тонкую талию. Но настроены подружки были по-разному. Аня почему-то смущалась, опускала глаза. А Шура не переставала загадочно улыбаться. Так с улыбкой и встала. И с нарочитым вздохом произнесла:

— Простите и прощайте! Покидаю вас. Удаляюсь на всю ночь. Но не гулять, а еще одну учительку выручать. Тужиться над тетрадками ее питомцев.

И ушла. А Аня, потупившись, сказала:

— Сегодня я послала письмо маме.

Я с недоумением глянул на нее. Но все же одобчительно заметил:

— Очень хорошо. Родителей положено помнить и чтить. Они от этого не так быстро стареют.

— И написала, что вышла замуж.

Теперь я уже с удивлением выпучил на нее глаза.

— За кого?

Аня потеревала косынку на груди.

— За тебя.

После этого я и совсем обалдел.

— Как — за меня? Вчера ты отказалась. Даже запретила говорить об этом.

— Вчера отказалась, а сегодня написала, что вышла.— И подняла на меня лучистые глаза.— Ясно или нет?

Только теперь до меня дошло. Я поцеловал ее и с нежностью, какой никогда еще не испытывал, произнес:

— Жена!

Аня тоже поцеловала меня и застенчиво сказала: — Милый!..

Потом мы долго лежали и мечтали о жизни. И вот тогда я сказал, точно это было самым главным:

— Попомни мои слова. Пройдет год, два, пять, а мы будем жить в Москве. Обязательно будем!..

И мы действительно оказались в Москве. Это случилось в тридцать девятом году, через шесть лет после того, как мы поженились. Тогда меня избрали секретарем ЦК ВЛКСМ. А до этого мы жили в Киеве. Нравилось там все: и добрые украинцы, и красочная природа, и мягкий, певучий язык, и ласковые протяжные песни. Но Москва...

Так сбылось, что задумалось в брачную ночь. Теперь Москва была родным городом, и вне ее мы не мыслили своей жизни. Со страхом думали об угрозе, которая нависала над ней. Пусть же сбудется надежда всего нашего народа и любимая столица не попадет в руки врага. А фашистов пусть постигнет участь, которую испытали иноземные завоеватели, не раз тянувшиеся к сердцу России.

Вскоре объявили посадку. У самолета я простился с Ильей. Он отошел в сторону, оставив нас вдвоем. Поцеловав меня, Аня проникновенно сказала:

— Если придется воевать, будь храбрым. А я буду молиться, чтобы война не лишила меня мужа, а детей моих — отца. И еще сильней буду любить тебя, чтобы любовь моя отводила от тебя смерти!

Я тоже поцеловал ее и взволнованно сказал:

— Будь здорова, дорогая! Береги детей. А обо мне не беспокойся.

Я поднялся в самолет. Место оказалось у окна. Через него я увидел Аню и Илью. Они стояли рядом. У обоих был грустный вид. Грустно стало и мне. Что-то ожидало нас?

Но вот взревели моторы, и самолет покатился по бетонной полосе. С каждой секундой убыстряя бег, он вдруг оторвался от земли и поплыл над домами городка, поднимаясь выше и выше. А набрав высоту, развернулся у горы Кинжал и взял курс на запад.



А в Москве ждала горячая работа. Надо было заниматься комсомольским подпольем и участием комсомола в партизанском движении. Преодолевая упорное сопротивление наших войск, фашисты заняли прибалтийские республики, Белоруссию и почти всю правобережную Украину. Широко развертыва-

лась борьба против захватчиков в оккупированных районах.

В короткий срок мы создали в ЦК ВЛКСМ специальный отдел. Заведующей отделом утвердили Ольгу Сысоеву, секретаря обкома комсомола Белоруссии, заместителем заведующего—Анатолия Торичина, молодого, но опытного работника госбезопасности. Сысоева была энергичной, напористой. Она не отступала, пока не добивалась своего. Торичин же отличался выдержкой, рассудительностью. Он продумывал все до мелочей и только после этого действовал. Так они дополняли один другого, словно бы составляя единое целое, и спецотдел сразу же заработал по-боевому.

В первую очередь подбирали секретарей подпольных комитетов и помощников командиров отрядов по комсомольской работе. Каждого добровольца представляли мне. А после этого отправляли в учебный центр под Москвой. Там ребят знакомили с правилами конспирации и партизанской тактикой, учили шифровальному делу и стрельбе из разного оружия. Обучались они и многому другому, что необходимо для успешной работы в тылу врага.

Подбирая кадры, спецотдел организовал и сбор оружия для партизан. Оно изготовлялось комсомольцами на военных заводах в неурочное время. Началась кампания и по сбору разнообразных вещей, продолжавшаяся чуть ли не всю войну. Занимались этим больше пионеры и школьники. А девчата охотно тратили приспешенную для приданого материю на носовые платки, вязали шерстяные носки и варежки, вышивали кисеты.

Когда работа спецотдела была налажена, я попросил секретариат командировать меня в прифронтовые области для организации того же на местах. Мне предложено было выехать в районы средней части России, уже считавшиеся прифронтовыми. Оттуда мы почти не имели сведений от наших организаций, и предстояло в первую очередь установить связь с ними.

В машине у меня был новый шофер: мой уже воевал. Нового звали Сергеем Федосовым. Лет ему было около тридцати. Его сняли с военного учета из-за сильного плоскостопия. Ходил он как-то неуверенно, словно в подошвах туфель торчали гвозди.

Но водителем Федосов был отменным. Машиной управлял виртуозно, в моторе разбирался не хуже механика.

С ним-то мы и отправились в путешествие. У нас была совсем еще новая «эмка». Все же Федосов придирчиво проверил ее. Кроме запасного колеса, прихватил две новые камеры. В багажник поставил «канистру» с бензином. Раздобыл где-то лопату, топор, стальной трос и множество всякого инструмента.

Запаслись мы и едой. Это были по большей части консервы—мясные, рыбные, овощные. Буфетчицы насушили чуть ли не целый рюкзак сухарей. Нашелся у них и литровый термос. Мало было сахара: будем пить чай вприкуску.

Конечно, не забыли и об оружии. Достали маузер в деревянной кобуре, пистолет «вальтер», немало патронов к ним. Маузером сразу же завладел Федосов. Повесив его через плечо, он никогда уже не расставался с ним. А я надел на ремень кожаную кобурку с «вальтером». Стреляя я неплохо. Всю прошлую зиму мы, секретари ЦК комсомола, один раз в неделю вечерами ездили в тир одной военной академии, где под руководством опытных командиров упражнялись в стрельбе из разнообразного стрелкового оружия.

Дорога была перегружена. На фронт чуть ли не беспрерывно двигались грузовики с красноармей-

цами, вооружением и боеприпасами. Часто мы тащились за ними черепашным шагом и глотали пыль.

Но временами Федосов вырывался и выжимал из машины все, на что она способна. В тех случаях, когда стрелка спидометра переваливала за сто, я бросал тревожный взгляд на шофера. Он же, глядя через ветровое стекло на бетонку, только снисходительно усмехался.

— Война же! — однажды сказал он, когда дикая скорость особенно встревожила меня. — А на войне время дорого. Выиграть его, значит, выиграть и сражение...



Линия фронта проходила за Брянском. Там сражалась пятидесятая армия. Она прочно удерживала свои позиции и мешала гитлеровцам развивать наступление в обход Москвы.

Мне не терпелось пробраться туда, где шли бои. Но дела вынудили задержаться в Орле. Надо было скорее отбирать и отправлять в тыл врага комсомольцев.

Обком не жалел на это ни сил, ни времени и все же запаздывал. И мне пришлось подключиться к этому делу.

...Она была последней в этот день, Лина Соболева. Приехала в Орел из небольшого городка, где работала инструктором горкома комсомола. Делом этим занималась с осени прошлого года. А до этого окончила педучилище. В тыл врага попросилась сама.

Очень хотела работать в подполье, выполнять трудные задания.

Обо всем этом говорилось в характеристике, которая лежала в деле. А потом появилась и она сама. Поздоровалась и остановилась перед столом. Я невольно подался вперед. Она была необыкновенно красивой. Фигура словно точеная, лицо — смуглое, шелковистое, глаза — большие, синие, а над ними — черные разлетающиеся брови. И в довершение всего — золотистые волосы. Густые, переливающиеся, они крупными волнами спускались на плечи.

— Фамилия? — машинально спросил я, не в силах оторвать от нее глаз. — Имя, отчество?

— По фамилии Соболева, — мягким и чистым голосом ответила она. — Звать Лина. А по отчеству Петровна. Соболева Лина Петровна.

— Вот что, Лина! — сказал я, когда она опустилась на стул. — Тебя посылать туда нельзя. Ни под каким видом!

Она метнула на меня удивленный взгляд.

— Почему?

— Слишком красивая, — сказал я. — Красота твоя подведет тебя. Может, сразу же окажешься жертвой какого-нибудь фашиста. Неужели ты сама не подумала об этом?

Лина усмехнулась, но уже задорно, словно решив, что опасность миновала.

— Подумала, — ответила она. — Только жертвами фашистов становятся не одни красивые девушки. Враги никого не щадят. И я ничего не боюсь. А уж если такое не минует меня, дорого заплатят за это фашисты!

Ее слова смутили меня.

— Может, это и так. Но мы все же не советуем бороться с врагом такими средствами.

— Я тоже постараюсь не прибегать к таким средствам, — сказала Лина. — Но если ничего другого не останется... Там ведь, может, и жизнью придется жертвовать.



Она произнесла эти слова просто, но они прозвучали клятвой. Да, это была страшная борьба. Люди жертвовали всем ради победы, не останавливались даже перед смертью. Так почему же она стала бы дорожить своей красотой в борьбе против ненавистного врага?



Перед отправкой в оккупированные районы подпольщиков собирали в школе на окраине города. Школа, конечно, не работала, учащиеся были эвакуированы и классы превращены в общежития. Это была временная гостиница для приезжих. На самом деле здесь втайне проходили спецподготовку будущие подпольщики.

Был уже вечер. Город погружался в зыбкие сумерки. Окна квартир, в которых еще оставались жители, затягивались маскировочными шторами.

Замаскированными были окна и аудитории, куда привели нас. Но в комнате было светло. Под потолком горела электрическая лампочка. Она освещала десятка два ребят, сидевших за партами. Среди них были три девушки. Они держались особняком.

Я сразу узнал Лину Соболеву. Она тоже узнала меня, улыбнулась и снова обратила взор на преподавателя, вотившего указкой по карте на стене. Шел урок топографии. Пожилой преподаватель говорил без запинки, отчетливо выговаривал слова, видимо, стараясь, чтобы каждое поглубже запало в память слушателей. Он учил ребят ориентироваться на местности, умело маскироваться с помощью природы. Ничего не записывая, они слушали внимательно, тоже, очевидно, боясь пропустить хотя бы слово.

Мы с секретарем обкома сидели на задней парте. Он казался безучастным. Должно быть, не раз бывал на таких уроках и помнил все, что говорилось здесь. А я с увлечением слушал преподавателя. Кроме стрельбы, мы не проходили никакой военной подготовки. Правда, я служил в армии. Но это было спецподразделение, и там, кроме спецпредметов, мы почти ничего не изучали. И поэтому многое из того, что говорил этот пожилой, с морщинками под глазами, лысый преподаватель, было для меня откровением. Оказывается, и деревья, и кусты, даже травы могли рассказать разведчику много полезного. Опытные из них могли читать небо, как книгу. Ценную помощь оказывали и приметы, которых в народе хранится множество. И я был рад, что попал на этот урок.

Через час преподаватель объявил перерыв. Ребята высыпали в коридор и задымили папиросами. Мы тоже вышли. Секретарь обкома сразу же оказался в окружении комсомольцев, знавших его. А я зашагал по длинному коридору. Я думал об этих юных бойцах. Их обучали бороться с врагом, побеждать его, рискуя своей жизнью. А они слушали так, как будто это было обычное дело. И, кажется, даже не осознавали, что там, куда посылали их, на каждом шагу им угрожает смерть.

Оставив подружек, Лина подошла ко мне и пристроила шаг. Мы медленно направлялись в дальний конец коридора. Когда отошли далеко, Лина сказала:

— Я так тебе благодарна, что не забраковал меня.

— А я не уверен, что заслужил благодарность,— ответил я вполне искренне.— Может, даже наоборот, достоин осуждения.

— Нет, нет! — горячо возразила Лина.— Мне хочется работать, где трудней всего, и я была бы очень огорчена. Так что спасибо от всего сердца. А что это не пустые слова, хочу подтвердить при-

знанием... Только хочу, чтобы заранее сказал, что не осудишь.

— Нет, конечно! — сказал я.— Можешь не беспокоиться. Не сомневаюсь, что не позволишь ничего, достойного осуждения.

Лина подумала и сказала:

— Я в этом не уверена. Разные люди по-разному думают.

— Если не уверена, не рассказывай. Есть такие вещи, о которых и правда не следует делиться с другими. Тем более с теми, которых не знаешь.

— Это так,— согласилась Лина.— Мы не знаем друг друга. Но ты чуткий... И я уверена, что ты добрый. А в благодарность за доброту мне хочется быть с тобой откровенной. К тому же это касается того, о чем говорили в обкоме.

Мы дошли до конца коридора и повернули обратно. Лина помолчала. Потом, показав рукой, спросила:

— Видишь того парня? Курчавого и высокого, в коричневом костюме?

— Да, вижу,— кивнул я.— Разговаривает с белобрысым пареньком.

— Тот самый,— подтвердила Лина.— И как он тебе сдается?

Я еще раз посмотрел на курчавого. Он показался сильным. Наверное, занимался спортом. Или выполнял какую-то физическую работу. На открытом обветренном лице светилась улыбка. А черные глаза временами вспыхивали, точно горящие угольки.

— Ничего парень. Красивый. И, видать, крепкий. Лина потеревала оборку на платье. И, глядя на парня, сказала:

— Мы поженились.

Я посмотрел на нее так, как смотрят на человека, совершившего невероятное.

— Поздравляю! — И, не отдавая себе отчета, спросил: — Только когда же это вы успели? Вчера, когда мы беседовали, ты не была замужем.

— Вчера не была. А сегодня замужем.— Лина говорила без смущения.— Между вчера и сегодня была целая ночь. Она и решила все.

Я был ошеломлен ее откровенностью и не знал, как продолжать разговор. Лина тоже молчала. Видно, ждала, что буду спрашивать, как это случилось. И, верно, не дождавшись, продолжала:

— Мы учились в городе в одно время. Я — в педучилище, он — в электротехникуме. Вот тогда мы и познакомились. Изредка встречались. Просто так, без серьезных чувств. Он на год раньше меня окончил учебу и уехал в свой район работать. И мы больше не виделись. А позавчера тут встретились. И прошлой ночью стали мужем и женой...

— Вы что же, полюбили друг друга?

— Полюбили,— призналась Лина.— Я как увидела его тут, сразу почувствовала. И он так же... — И загадочно улыбнулась.— А свадьбу сыграем после победы. И тебя, как дорогого гостя, пригласим.

— Спасибо! — сказал я.— Но думаю: не заслужил такой чести.

— Заслужил,— серьезно возразила Лина.— Если бы не завел такой разговор в обкоме, не было бы и нашей женитьбы. И мы от души считаем тебя нашим дорогим человеком.

Позвали в класс. Мы простились, пожелав друг другу удач. Секретарь обкома представил меня комсомольцам. Я встал, взглядом окинул смотревших на меня ребят и, не скрывая волнения, сказал:

— Дорогие товарищи! Вам предстоит важная и трудная работа. Комсомол возлагает на вас большие надежды. А Родина ждет от вас подвигов. Так будьте же стойкими, мужественными, бесстрашными. Боритесь с врагом всеми силами. Всеми силами помогайте нашей общей, окончательной победе...

Полковой комиссар Жаворонков сам разбудил нас. Войдя в избу, он прокричал что-то и, когда я продрал глаза, произнес:

— Доброе утро! Пора вставать. И за дело браться...

Но утра еще не было. За окнами лишь чуть брезжил рассвет.

— Как спалось?— спросил Жаворонков и рассмеялся.— Вижу, не выпались. Ну да ничего. В следующую ночь наверстаете.— И посмотрел в окно:— А день сегодня будет жаркий...

Федосов уже хлопотал около машины. Он выглядел свежим и бодрым. Мне улыбнулся и спросил:

— Хотите умыться? Сонливость как рукой снимет.

Возле машины стояло ведро с водой. Черпая кружкой, Федосов лил мне на ладони. Вода была холодной, обжигала лицо и в то же время освежала, пробуждала бодрость. Умывшись, я вытерся полотенцем, сухой конец которого Федосов бросил мне на руки, и почувствовал себя окончательно проснувшимся.

— Спасибо!— поблагодарил я шофера.— И правда, полегчало.

— Водичка целебная,— сказал Федосов.— Родничок у них тут недалеко. Оттуда принес.

Жаворонков отвел меня в сторону.

— Я докладывал о вас командарму и члену Военного совета,— сказал он.— Они предлагают встретиться после начала наступления. А вам разрешили наблюдать за наступлением из укрытия. И просили не отвлекать командиров. Они будут заняты делом, от которого зависит успех операции.— И от себя добавил:— С вами будет сержант. Он проводит вас на передовую, покажет место.

Жаворонков сказал что-то сержанту, который ночевал со мной, и удалился. Федосов уже сидел за рулем. Сержант, как хозяин, открыл передо мной заднюю дверцу, а сам сел рядом с шофером. И коротко приказал:

— Поехали!

Машина вырुлила на улицу и медленно поползла по деревне. Она еле виднелась в густом сумраке. Редкие избы казались печальными. Маленькие окна, как незрячие глаза, не отражали занимающегося рассвета. Видимо, толстый слой пыли, покрывавший стекла, делал их невосприимчивыми к свету.

Скоро крайняя изба очутилась позади, и дорога заплеталась между деревьями. Здесь предрассветный полумрак был еще гуще. Но небо на востоке, проступавшее между стволами сосен, уже заметно розовело. В лесу тишина казалась еще более глухой и плотной. Даже птицы не щебетали. Может, тоже запаздывали с пробуждением? Или война их, как и людей, выдворила из родных мест?

Высовываться из машины теперь не надо было, и Федосов сидел за рулем прямо, глядя на дорогу через стекло. Но взгляд его был еще более настороженным. Мы находились во фронтовой полосе, и это требовало особого внимания.

Сержант тоже сидел прямо, держа на коленях автомат. Вид у него был угрюмый, похоже, он тяготился возложенным на него поручением. И будто ничто не интересовало его. В то же время угадывалась в нем внутренняя напряженность, которая, как пружина, держала его на боевом взводе.

Я озирался по сторонам. Не терпелось видеть этот загадочный передний край с окопами, брустверами, блиндажами. И, конечно, с бойцами, которые, наверное, уже готовились к наступлению. Хорошо бы взглянуть и на немцев, на тех самых арийцев, кото-

рые нагло вторглись в нашу страну, и понять или хотя бы почувствовать, что это за люди, которые затеяли кровавую бойню.

После нескольких поворотов, когда дорога уткнулась в лесистый тупик, сержант приказал остановиться.

— Водителю не отлучаться,— бросил он, вылезая из машины.— А вас прошу за мной.

И повел меня по тропинке, петлявшей между кустами. Я послушно шел за ним, ничего не видя за его широкой спиной. А может, в глухом лесу ничего и не было? Может, сержант уводил меня от фронта?

Но вот в стороне проступил свежий курган. Под него вел узкий проход. Из-под кургана вырывались приглушенные голоса, будто сама земля спорила с кем-то. Здесь уже не царствовала тишина. И время тут, как видно, не стояло на месте.

Приказав мне дожидаться в траншее, сержант юркнул в какую-то дыру, должно быть, служившую входом в землянку. Следом за ним туда же нырнул молоденький лейтенант, внезапно появившийся из боковой траншеи. В ту же минуту из землянки выбежали двое автоматчиков. Скользя по мне безразличным взглядом, они прошмыгнули куда-то.

Прислушиваясь к неясным голосам, я испытывал волнение. Да, здесь проходил передний край войны. И скоро здесь разыграется сражение, которое многим будет стоить жизни. Как это чудовищно!

Вернулся сержант. Махнул мне рукой и направился в боковую траншею. Мы вошли в окоп, заперженный вооруженными бойцами. Они выглядели суровыми. Многие лежали на скате, держа в руках автоматы. Время от времени то в одном, то в другом месте вспыхивала какая-нибудь команда, вдруг раздавался звонкий голос, звавший кого-то, и снова все замирало в напряженном ожидании.

Сержант остановил меня посреди окопа и ткнул кулаком в бруствер.

— Тут лежите. Да не высовывайтесь. А то снайпер мигом продырявит лоб...

Это «мигом» врезалось в мозг не хуже снайперской пули. Я лежал на земляном скате и напрягал зрение. Впереди стлалась ложбина, заросшая травой. В траве разноцветными огоньками сверкали цветы. А дальше снова начинался лес. У самой кромки его то и дело возникали и исчезали какие-то люди. Должно быть, это и были немцы. Они тоже уже не спали. Иногда с той стороны доносился выстрел. Может, это стрелял снайпер? Я невольно втягивал голову в плечи. Может, это меня поймал он в свой окуляр и пытается продырявить мой лоб? На выстрелы с той стороны наши отвечали выстрелами. И перестрелка казалась похожей на страшное состязание, в котором выигрывал тот, кто оставался живым.

По правую сторону от меня лежал рослый красноармеец. Он весь был устремлен вперед. Кажется, даже не заметил незнакомого и необычного соседа. А слева татарин или башкир косил в мою сторону черным глазом. Да, я был белой вороной среди них. На воротнике моей гимнастерки не отсвечивали петлицы. И на голове с зачесанными назад волосами не было ни каски, ни даже фуражки. Все это могло вызвать любопытство. Но у башкира или татарина моя персона вызывала какой-то особый интерес. Не выдержав, я спросил его:

— Из Казани или Уфы?

Он покачал головой с надвинутой на лоб каской.

— Алма-Ата, казах.

В душе у меня потеплело. И я не без гордости похвалился:

— Апма-Ату знаю. Работал там.
— Это мы знаем,— ответил боец.— Два раза видел

Его слова и совсем обрадовали меня. Я даже подался в его сторону.

— Где и когда?

— Потом скажу,— уклонился казах.— Теперь некогда. Смотреть туда надо. И быть готовым.

Я снова улегся на свое место и уставился глазами в кромку леса за ложиной. Но казах не выходил из головы. Где же видел он меня? Скорей всего, в какой-нибудь школе. Ведь тогда ему было лет пятнадцать. Но как бы там ни было, а встреча эта была приятной. Он уже казался мне чуть ли не родственником, и я предвкушал, как после боя мы наговоримся вволю.

Мысли оборвал могучий залп. От неожиданности дрогнула земля. В окоп посыпались глиняные комья. За первым последовал второй залп. За вторым — третий, четвертый, пятый. И началась сотрясающая все вокруг артиллерийская канонада. А впереди за лугом, у самого леса, тучами поднялась в воздух земля. Черные, косматые, они повисали над вражескими позициями.

Завили, завизжали и над нами снаряды и мины. Ответила немецкая артиллерия. И где-то совсем рядом тоже застонала земля. Она рвалась, дыбилась, комьями падала на нас. Валились деревья, вырванные с корнями. Пыль повисала в воздухе, набивалась в рот, проникала в легкие. И становилось трудно дышать.

Появились самолеты. С ревом пронеслись над нами. На противоположный лес из них посыпались бомбы. И земля еще сильнее загудела, затряслась, задрожала. А между деревьями, где прятались фашисты, заметались языки пламени.

Внезапно казах выпустил автомат, уронил на землю голову и медленно пополз на дно окопа, оставив на скате кровавый след. Я нагнулся над ним, приподнял его.

— Что с тобой? Куда попало?

Он открыл черные продолговатые глаза, серьезно посмотрел на меня и снова опустил веки. Тело его вдруг передернулось и обмякло. Я осторожно опустил его и схватил принадлежавший ему автомат. Во мне вспыхнула ярость. Я лежал на скате, крепко сжимал в руках автомат и с ненавистью смотрел на ту сторону. Там были враги. Они убили молодого казаха. Они убивали наших людей, убивали на нашей земле! И в душе загорелось желание убивать их. Убивать из осиротевшего автомата, убивать так, чтобы каждая пуля, заряженная в диск, вонзилась в сердце фашиста. И это желание было таким сильным, что вытеснило другие чувства. Все отступило перед жгучей ненавистью к тем, кто там, за лугом, зарылся в нашу землю, укрылся в ней от справедливого возмездия.

И слышалось, как стучало сердце, словно маятник каких-то часов, приближавших роковую минуту.

И вот она наступила, эта минута. Взрывы впереди у кромки леса внезапно оборвались, и тотчас огненный вал возник в глубине леса. А вслед за тем совсем рядом раздался пронизывающий и приказывающий крик:

— За Ро-ди-ну! В ата-ку! Уррра!

Справа и слева команда отозвалась многоголосым эхом:

— ...Ро-ди-ну!.. ата-ку!.. ррра!

И по окопу понеслось могучее, неудержимое:

— ...ррра!.. ррра!.. ррра!

В то же мгновение из земли выпрыгнули, точно выброшенные какой-то силой, и волной хлынули

вперед бойцы. Я тоже вскочил и с криком бросился вперед. Я бежал быстро, не чувствуя ног и не слыша собственного голоса. Справа и слева падали бойцы, сраженные пулями и осколками, повсюду гремели выстрелы, с воем рвались мины. А я бежал, строчил из автомата и во все горло орал:

— ...ррра!

Что-то корябнуло голову. Затем сильный удар свалил меня в какую-то яму. Тяжелый груз придавил к земле. С трудом привстав на колени, я вывернулся и увидел сержанта. Он тяжело дышал и дико, словно сумасшедший, смотрел на меня.

— Черт бы тебя побрал! — выругался он. — И откуда ты взялся на мою голову!

Я с удивлением смотрел на него, красного и разъяренного.

— За что ругаетесь?

— За то, чтобы не лез куда не надо! — ответил сержант и пренебрежительно усмехнулся. — Тоже мне вояка! Мчится, скачет, как козел. Хоть бы голову пригнул. Хорошо, что не шлепнуло по башке. А то пришлось бы отвечать своей. А на черта ты мне, чтобы отвечать за тебя?

— Больше не буду, — сказал я, точно провинившийся школьник. — Скажите лучше, как наступление?

— А как надо, — проворчал сержант. — Думаешь, без тебя не обошлись бы? — И вдруг испуганно ткнул меня в голову. — Это что такое? Откуда кровь?

Я потрогал рукой выше лба и почувствовал ссадину.

— Осколком, должно, царапнуло.

— Ранен? — встревожился сержант. — Ну, говори же, ранен?

— Да нет! — ответил я. — Говорю, царапина. А башка цела. И за свою можете не беспокоиться. Все же он предложил мне отправиться в медпункт и там перевязаться.

— Всякое бывает, — уже миролюбиво сказал он. — Иной раз сгоряча ничего. А потом окажется... И поздно становится.

Мы выбрались из воронки и направились к лесу, где был теперь наш тыл. На лугу лежали убитые, приглушенно стонали раненые. Обливаясь потом, санитары бегом уносили их куда-то. И стало стыдно обременять их пустяком.

— В медпункт не пойду, — решительно отказался я. — Нечего мне там делать. А вам, товарищ сержант, спасибо! Только больше не требуется. Можете считать себя свободным.

И, передав ему автомат, один зашагал туда, где вставало багровое, словно окровавленное солнце.

☆☆☆

По наведенному военными понтонному мосту мы перебрались через Десну и двинулись по дороге на Орел. По ней туда и обратно шли грузовые машины либо с людьми, либо с какими-то материалами. Кузова машин были замаскированы зелеными ветками.

Откинувшись на спинку сиденья, я погрузился в воспоминания. Пережито за эти дни было немало. Да такого, что казалось сном.

В тот же день после наступления меня попросили выступить перед комсомольцами батальона, на участке которого я ходил в атаку. Батальон был отведен в тыл на кратковременный отдых. Молодые бойцы расположились на траве под деревьями. Среди них были легкораненые. Перевязавшись в мед-

пункте, они отказались эвакуироваться и остались в подразделении.

И вот, когда я рассказывал о Москве, о том, как она трудится на войну и как готовится к обороне, откуда-то донеслась тревожная команда:

— Во-оз-ду-ух!

Бойцы повскакивали и уставились на политрука.

Мы с ним тоже встали, и он скомандовал:

— Рассредоточиться!

Бойцы бросились в разные стороны. Некоторые почти сразу легли на землю, другие устремились дальше, надеясь найти надежное укрытие. А мы с политруком продолжали стоять на месте. Он, должно быть, ждал, когда бойцы рассредоточатся. Я же просто не знал, что делать.

Обрушилось это на землю так, словно само небо обвалилось. Какая-то невидимая сила подхватила меня и отшвырнула в сторону. Ударившись о дерево, я упал и головой уткнулся в корни.

А вокруг неистово гремело, грохотало, с треском разрывалось. Над головой противно визжали осколки бомб. И так низко, что чудилось — вот сейчас какой-нибудь врежется в череп. С деревьев падали срубленные сучья, зеленым дождем сыпались колющие иголки.

Огненный ураган так же внезапно оборвался, как и обрушился. В лесу снова воцарилась тишина. Слышен был только гул бомбардировщиков да время от времени стрекотали пулеметы, посылавшие вдогонку стервятникам трассирующие очереди.

Я осторожно поднялся. Политрук, также оставшись невредимым, уже командовал бойцами. А потом, подойдя ко мне, сказал:

— Беседу придется отставить. Есть убитые и раненые. Будем хоронить и в госпиталь отправлять...

И ночью мы проснулись от такого же грохота. Дрожала земля, с потолка землянки сыпались сухие комья. Внезапно бухнуло чуть ли не над нами. И кто-то в темноте невозмутимо сказал:

— Еще б немощко — и в нашу крышу. И тогда б всем нам была крышка...

Меня пронизал озноб. Хотелось выскочить из ямы, казавшейся могилой, и бежать куда-нибудь. Бежать со всех ног, без оглядки и как можно дальше от места, над которым веяло смертью. Но я неподвижно лежал на деревянных нарах, впившись ногтями в шершавые доски, и, затаив дыхание, прислушивался. И все ждал, когда смертоносная бомба угодит в нашу землянку и когда нам будет крышка.

Но бомбы рвались все дальше и дальше. И грохот медленно сваливался куда-то, будто породившая грозу туча уходила за горизонт. И когда в землянке снова стало тихо, послышался чей-то сладкий храп. Он так и не проснулся, этот храпун. И кто-то не без зависти сказал:

— Вот это дает! Всем бы так не слышать этой музыки...

...Воспоминание прервал Федосов. Я выпрямился и увидел на дороге девочку в красном галстуке с поднятой, словно для салюта, рукой. А на обочине стояли старик и старуха. Седые головы их на солнце сверкали серебром. Я сказал:

— Остановитесь!

Федосов резко затормозил. Машина остановилась перед девочкой.

— Товарищи! — сказала она, когда я открыл дверцу. — Подвезите бабушку и дедушку. Совсем устали, не могут идти. Умоляю вас!

Она назвала село. Мы останавливались там, когда ехали на фронт. Оно лежало дальше нашего поворота. Все же я решил подвезти их. Они горячо благодарили и с радостью уселись позади. А больше всех обрадовалась пионерка, которую звали На-

ташей. Она прямо-таки расцвела. И не только потому, что бабушка и дедушка отдохнут, а и потому, что самой нашлось место между ними.

Они были из Брянска. И во время бомбежки всю ночь отсиживались в подвале. А дом со всем, что было там, сгорел. И у них осталось лишь то, что теперь было с собой.

— За одну ночь нищими стали, — всхлинула старуха. — Нищими и бездомными. И за что это господь карает нас?

— Не плачь, бабка! — успокаивал ее старик. — Живы будем, выберемся из нужды. Дети помогут, власть Советская не оставит в беде. Только бы фашистов прогнать поскорей...

В селе, куда старики перебирались, жила их старшая дочь. У нее своя изба, хозяйство, огород. Живет с двумя детьми. А мужа забрали на войну. Федосов сказал, что мы были в этом селе, похвалился, что там нас угощали бесплатным молоком.

Через час мы свернули с шоссе и въехали в деревню. Наташа сказала Федосову, чтобы остановился у дома напротив колодца. Федосов кивнул и, бросив на меня короткий взгляд, сказал:

— Как раз там нас угощали.

И в самом деле это оказалась изба с голубыми наличниками, хозяйка которой потчевала нас. Едва мы остановились перед забором, как она сама выбежала во двор и, увидев стариков, кинулась на улицу, расцеловала их, сжала в объятиях Наташу.

— Здравствуйте, мамочка и папочка! — радостно пропела она. — Спасибо, что пожаловали, родненьки! Мы ж так по вас соскучились. — И обратилась к племяннице: — А ты, Наташенька, ты-то как выросла! И такая стала хорошенькая! — А потом повернулась ко мне и благодарно поклонилась. — А вы-то как же это? Недавно проезжали и теперь вот опять? Да еще родителей привезли. Прямо чудо какое-то! — Но, узнав о постигшем родителей несчастье, заголосила: — Изверги проклятые! Сгореть бы и вам в том пожаре!..

Наташа отвела меня в сторону и спросила:

— Вы не скажете, где тут партизанский отряд? От удивления я раскрыл глаза.

— Какой партизанский отряд?

— Да обыкновенный, — пояснила Наташа. — Который находится где-то тут в лесу. Не можете сказать, как его найти?

Я внимательно посмотрел на нее. Она выглядела нежной и хрупкой. Но в больших темных глазах была решимость взрослой.

— А на что тебе партизанский отряд?

Наташа взяла в руки кончик красного галстука, ласково погладила его.

— Хочу помочь им бить фашистов.

— Как же ты будешь помогать?

— А хоть разведчицей. — И торопливо добавила, словно все зависело от меня: — Вы не смотрите, что я такая. Я сильная и ничего не боюсь. А еще я умею прикидываться. Так прикинусь незнайкой, что любой поверит. Я же полностью гожусь в партизанки.

Она произнесла эти слова так, что невозможно было не верить. Но я не мог сказать, где находится этот отряд. Эта тайна принадлежала не мне. Да и она, хоть и горела желанием сражаться с врагом, была еще подростком, не отвечавшим за себя.

— Где-то тут в лесу, — уклончиво ответил я. — А где, точно не знаю. Они ж держатся в секрете.

Наташа отвела глаза, подумала и убежденно сказала:

— Не хотите помочь? Ну что ж, ваша воля. А я все равно узнаю. И уйду к ним...



Впереди показались какие-то люди. Они словно сырости из земли. В руках у них были винтовки. Федосов затормозил. Но я предложил ехать. И остановил его, когда подъехали совсем близко.

— Достань маузер. И в случае чего... Ясно?

— Ясно,— ответил Федосов, расстегивая деревянную кобуру.— Буду на чеку!..

Выйдя из машины, я произнес условную фразу. От группы отделился средних лет мужчина. Повесив винтовку на плечо, он подошел ко мне и протянул руку.

— Пожалуйста! — коротко улыбнулся он. — Милости просим! — И, обернувшись, позвал: — Василек, давай сюда! Поедем с ними!..

Они сели позади, и мы снова двинулись по той же дорожке, которая вдруг свернула налево. Некоторое время молчали. Потом я, повернувшись к старшему, сказал:

— Нас должны были остановить у предыдущего поворота.

— Да,— подтвердил тот. — Но мы не стали этого делать. И пропустили вас дальше.

— А почему так?

— Приказ такой был.

Он не хотел откровенничать. Как видно, не доверял. Враг был еще далеко, но они жили уже боевой жизнью.

— А бензин у вас найдется? — спросил Федосов. — А то наш кончается.

— Не знаю,— пробасил старший. — Там скажут... — И, подавшись вперед, приказал: — Сворачивай направо.

Федосов затормозил и, озираясь по сторонам, спросил:

— Куда направо? Тут же нет дороги.

— Поезжай по целине,— сказал старший. — Дерзай мимо деревьев, пока не скажу...

На песчанике росла чахлая трава. Машина катила легко и мягко. Федосов поминутно поворачивал ее, лавируя между соснами. А день кончился. Сумерки в лесу сгустились, едва зашло солнце. И вести машину становилось трудно. Но Федосов так искусно вертел баранкой, что ни разу не задел дерево.

Внезапно впереди появились темные курганы, разбросанные под деревьями. Это были крыши землянок. Скоро мы въехали в лагерь. Старший приказал подруть к землянке в центре лагеря. Здесь мы вышли из машины. Василек остался с нами. А старший сбегал вниз по ступенькам и скрылся за тесовой дверью.

Вернувшись в ту же минуту, он позвал меня. Мы вошли в землянку. Там было несколько человек. Они сидели за грубо сколоченным столом, над которым горела виская керосиновая лампа.

Навстречу мне поднялся крупный мужчина. Он назвался комиссаром Иваном Ильичом Муромцевым.

— Здравствуйте! — произнес он, пожимая мне руку. — Пожалуйста!..

Фамилия его показалась вымышленной. Многие, кому предстояло работать в тылу врага, меняли фамилии. И выбирали какие-нибудь необыкновенные. Но я ничем не выдал догадку и, в свою очередь, назвавшись, предъявил удостоверение. Прочитав его, Муромцев потребовал документ с фотокарточкой. Я предъявил паспорт. Просмотрев его, Муромцев одобрительно кивнул и улыбнулся.

— Все в порядке! — сказал он, возвратив мне документы. — Присаживайтесь и рассказывайте, где были и зачем прибыли.

Я рассказал о поездке в пятидесятую армию, о наступлении, которое она совершила против немцев. Муромцев кивнул и сказал:

— Да, пятидесятая там. И о наступлении знаем. А с кем там встречались?

Я назвал начальника политотдела Жаворонкова. Муромцев сказал, что и о нем им известно. Но все же продолжал допрос:

— А о нас откуда вам известно?

Я сказал, кто в Орле посоветовал побывать у них. Муромцев опять кивнул и признался:

— Мы знали о вашем приезде. Получили предупреждение. Но вас могли подменить. Отсюда не так уж далеко до фронта. Фашистские лазутчики проникают и сюда. И нам приходится быть осторожными...



Ночевал я в командирской землянке. Спал беспокойно. Почему-то трудно было дышать. Беседа затянулась до полуночи. И все это время партизаны курили. Чадила и керосиновая лампа. А маленькое, настезь открытое оконце вверх не успевало проветривать помещение. Всю ночь стоял затхлый воздух.

Муромцев встал рано и тут же отправился куда-то. Я поднялся вслед за ним, умылся под рукомойником, вышел наружу. Утро занималось тихое и теплое. Только что вставшее солнце озаряло лес как бы изнутри.

Лагерь уже бодрствовал. Там и сям горели костры. У костров хлопотали женщины, молчаливые и суровые. Откуда-то доносились выкрики, похожие на команды, слышался стук топоров.

Я с удовольствием прошелся по лесу. Посидел на берегу быстрой и светлой речки, из которой партизаны брали воду. Послушал щебетание птиц, учивших птенцов самостоятельно жить. И стало нестерпимо больно, что обезумевшие люди разрушали и уничтожали прекрасный мир.

Вернувшись в лагерь, я увидел возле командирской землянки нашу «эмку». Федосов копался в моторе, подняв капот. Вид у шофера был сумрачный.

— Жадина у них начхоз,— сплюнул он в сторону. — Дал только полбака. Бережет для самолетов. А они, может, никогда не прилетят сюда. Придется еще раз заправляться в Орле...

Подошли Муромцев и смуглая девушка с каштановыми волосами. Это была помощник комиссара по комсомолу. Подавая мне руку, она с заметным смущением сказала:

— Жанна Огневая.

Я, конечно, понял, что Жанной Огневой она была, как и комиссар — Муромцевым. Осторожность не мешала откровенно говорить об отряде, а все другое не имело значения.

Жанна оказалась разговорчивой и толковой. Она сказала, что отряд больше чем наполовину молодежный.

— Мы так и воспитываем ребят,— говорила Жанна. — Дратья до победы или смерть. Третьего нет и не будет. А они у нас славные и смелые. За Родину жизни не пожалеют...

Завтракали вместе. И за столом Жанна продолжала рассказывать о молодых партизанах. Она не сомневалась, что им любая задача по плечу.

А Муромцев все время молчал и лишь изредка поддакивал. При этом лицо его, загоревшее и обветренное, озарялось доброй улыбкой. Так улыбается хороший отец, когда слышит похвалу о своих детях.

После завтрака Муромцев, извинившись, оставил

нас. А мы с Жанной зашагали по лагерю. Она была в защитной гимнастерке, перетянутой ремнем, и черной юбке. В такой одежде она казалась и военной и гражданской. Должно быть, это имело какое-то значение. Снова подумалось о ее настоящем имени. Но я не жалел, что она не назвала его. Может, она уже забыла его и навсегда стала Жанной Огневой?

В отряде мы пробыли до обеда. Переговорили со многими комсомольцами. Все они в этот день прилежно трудились. Строили новые землянки, чистили оружие, переправляли в другое место какие-то грузы. Это были безудные ребята, едва окончившие, а может, и не окончившие школу. Все они еще не достигли призывного возраста и потому не были мобилизованы в армию. В отряд пришли добровольно, поклявшись биться с врагом до последнего вздоха. Но выглядели они старше своего возраста. Как видно, война и сознание своего долга делали их не только смелыми, а и возмужавшими.

Вспомнилась пионерка Наташа, так же горевшая желанием попасть в отряд. Я рассказал о встрече с ней и о ее просьбе. Не угадал и того, что чуть было не захватил ее с собой. Жанна подумала и сказала:

— Сейчас ей тут нечего делать. А вот если немцы прорвутся дальше и мы окажемся в тылу у них...— И спросила: — Где вы оставили ее?

Я назвал село, приметы избы. Жанна повторила за мной все и сказала, что село это будет иметь большое значение.

— Там сходятся шоссе и железная дорога. И если изменится обстановка, нам придется иметь в этом селе своих людей. И, конечно, таких, которые меньше всего будут вызывать подозрение...

Провожали меня Муромцев и Огневая. Иван Ильич достал список того, в чем партизаны нуждались. Требовалась осенняя и зимняя одежда, обувь. Подходило к концу лето, недалеко было до осени, а зима по приметам ожидалась суровая. Все же главным в списке было оружие. Отряд был вооружен винтовками и двухствольными ружьями. А об автоматах и говорить не приходилось. Мало было гранат и мин. Конечно, партизаны, как и весь народ, надеялись, что наши войска остановят и разгромят захватчиков. И Брянский лес, где они теперь обитали, не окажется в тылу врага. Но приходилось рассчитывать на худшее и быть готовым к этому худшему.

— Мы просим ЦК комсомола помочь нам,— говорил Муромцев.— И от имени отряда заверяем, что помощь эту оправдаем боевыми делами.

В свою очередь, Жанна, сверкнув темными глазами, попросила:

— Передайте ЦК: для победы не пожалею ни своей молодости, ни своей жизни!



Мы работали, не считаясь со временем. Домой уезжали на рассвете. Забывались в тревожном сне на три-четыре часа. А очнувшись, снова мчались в Цекапол, по дороге обдумывая предстоящие дела.

На работе завтракали, обедали, ужинали. Без конца пили крепкий чай и беспрестанно курили, задымаясь в едком дыму.

Размещался Цекапол в четырехэтажном доме на Маросейке. Четвертый этаж занимал секретариат. Кабинеты секретарей, приемные и комнаты помощников располагались по обе стороны коридоров. А в конце левого крыла — зал для заседаний. Его в шутку прозвали двухколонным, в отличие от Колонного зала Дома Союзов. А прозвали так потому, что

в центре его стояли две массивные колонны. Они мешали и портили вид. Но обойтись без них нельзя было: другой опоры для потолка не придумали.

Особенно трудно было ночами. Притуплялось внимание, клонило ко сну. А тут еще воздушные тревоги. Без них редко обходилась какая ночь. Сирены выли пронзительно. Они заглушали все чувства, оставляя лишь страх. Временами в высоком небе слышались гнусавые звуки бомбардировщиков. Это были фашистские «юнкерсы» и «фокке-вульфы». В такие минуты прожекторы особенно тщательно обшаривали небо. Чуть ли не непрерывно грохотали зенитки. Били просто так, по всему небу. Но когда прожекторам удавалось поймать самолет, вокруг него сразу же вспыхивали разрывы снарядов.

Первое время по тревоге мы бросали работу и отправлялись в подземелье. Нехотя шли к шахте метро, пробуренной в каком-то дворе, и медленно спускались по металлической лестнице вниз. Глубокий колодезь наполнялся гулким топотом, многоголосьем говором, даже девичьим смехом, необычно звонко рассыпавшимся в этой трубе. Лестница спускалась в горизонтальный тоннель — участок строящегося метро от площади Революции до Курского вокзала. Здесь выполняла горели электрические лампочки, рядами лежали сколоченные из шершавых досок нары. Сюда не доносились ни разрывы бомб, ни залпы зениток. Здесь можно было либо стоять и болтать о чем угодно, либо дремать, лежа на досках. Сидеть не на чем было. А читать при таком свете можно было лишь заголовки газет. И драгоценное время проходило даром.

Но вот в репродукторе раздавался голос диктора, объявлявшего отбой, и мы длинной вереницей устремлялись по той же лестнице вверх. И опять шахта наполнялась беспорядочным топотом, бесвязным гомоном и рассыпчатым смехом. Подниматься было трудней, и некоторые останавливались на полпути, держась за перила и сердце. А выйдя на поверхность, с облегчением вздыхали и на чем свет кляли фашистов. Недобрым словом вспоминали и руководителей противозвушной обороны, не обеспечивших тут население бомбоубежищем.

Но со временем спуски в глубокий колодезь надоели, и мы перестали ходить в метро. Сначала — секретари ЦК, потом — завыв и замзавы отделов, а потом — и все другие работники, вплоть до технических. Все оставались на своих местах и либо корпели над бумагами, либо обсуждали проблемы на совещаниях. И скоро свыклись настолько, что не замечали ни грохота орудий, ни взрывов бомб.

Но в эту ночь, казалось, зенитки били особенно сильно. День был напряженным, я чувствовал усталость, и длившаяся необыкновенно долго тревога будоражила и без того взвинченные нервы. Так и не закончив дела, я отпустил кадровиков, погасил свет и вышел на балкон. Конечно, здесь было еще более шумно, но свежий воздух приводил в порядок мысли и чувства.

Дальнобойные орудия грохотали непрерывно. В высоком небе рвались снаряды. Временами откуда доносился гнусавый вой вражеских бомбардировщиков.

Внезапно почти над собой я увидел самолет, освещенный прожекторами. Он был, словно игрушечный, и сверкал, будто серебряный. Зенитки загрохотали еще дружнее, вокруг бомбардировщика заметались огненные вспышки. Казалось, вот сейчас какой-нибудь снаряд угодит в стервятника, и он, кувыркаясь, рухнет вниз. Но бомбардировщик продолжал плыть в звездном небе, точно заколдованный. А когда отлетел чуть дальше, неподалеку раз-

дался страшный взрыв. Какая-то сила толкнула меня в грудь, затылком ударила о стену. Едва удержавшись на ногах, я увидел впереди узкий язык пламени. Он взвился над домом за бульваром. Фашистская бомба угодила в него, и там начинался пожар.

☆☆☆

Постановлением Государственного Комитета Обороны в стране было введено всеобщее обязательное военное обучение трудящихся. Для руководства этой работой образовали Главное управление — Главсевобуч СССР. Начальником Главсевобуча был назначен генерал-майор Пронин, комиссаром — я. Но от работы в ЦК ВЛКСМ меня не освободили, так как комсомол во всеобщем обучении должен был играть большую роль.

Членом военного совета воздушно-десантных войск был утвержден Громов. И так как комсомолу и в этих войсках отводилась большая роль, он также остался в руководстве ЦК ВЛКСМ.

Известие о призыве в армию застало меня в Тихвине. С большим трудом я добрался до этого города, чтобы попасть в блокированный Ленинград. Надо было встретиться с комсомольскими работниками города, узнать, как они живут и работают, передать им от ЦК ВЛКСМ советы и пожелания.

Попасть в Ленинград оказалось совсем нелегким делом. Все же мне удалось получить разрешение на полет туда. Он должен был совершиться ночью. А днем мне вручили телеграмму начальника Главного политуправления Красной Армии с приказом немедленно вернуться в Москву.

Конечно, в Ленинград, к великому огорчению, я не полетел. Думалось, если призван в армию, значит, освобожден от работы в ЦК комсомола. А это значило, что я не мог говорить с комсомольскими работниками Ленинграда от имени ЦК ВЛКСМ. Так зачем же было лететь туда? Для простой экскурсии неподходящее время. Да и надо было выполнять приказы.

«Куда же ты забросишь меня, судьба? — думал я на обратном пути в Москву. — Конечно, на фронт, в какую-нибудь боевую часть. И, конечно, на политработу. Ничего другого на фронте я не умею делать. Правда, я могу стрелять, быть автоматчиком. Но рядовому автоматчику начальник политуправления не стал бы приказывать. Нет, политработа. И обязательно на фронте...»

Но мечта о фронте не сбылась. Партии угодно было послать меня в Главсевобуч. Руководить обязательной военной подготовкой населения. Ну, что ж! Партии видней.

☆☆☆

Генерал-майор Пронин Николай Нилович кончал уже пятый десяток, и морщины ясно обозначались на его широком лбу. Да и густые, темные волосы, старательно зачесанные назад, обильно серебрила седина. Но выглядел он крепким, подтянутым и выправкой мог поспорить с молодыми. А темные, закрученные кверху усы делали его даже бравым. Заботливый, внимательный, он вежливо обращался с подчиненными, не прочь был пошутить, громко смеялся и на все смотрел восторженными глазами.

Восторженно встретил он и меня.

— Прибыл? — воскликнул он, выходя из-за стола и крепко пожимая мне руку. — Очень хорошо! Как же, слышал! — И громко рассмеялся. — Конкретное выражение политики сочетания старых и молодых.

А по-другому: боевое содружество старой и молодой гвардии..

Он рассказал о делах. Управление уже было укомплектовано. Во главе отделов стояли опытные генералы и полковники.

— Почему же они не на фронте?

— По двум причинам, — ответил Пронин. — Старые и больные. Гастриты, колиты и сердечно-сосудистые неполадки. — И рассмеялся своей шутке. — Возраст и болезни помешали командовать на фронте. И они согласились воевать во всеобщем обучении.

— А разве тут не трудно с колитами и гастритами?

— Трудно, конечно! Это ведь такие кляузные болезни... Но на фронте все же трудней. Вот и пришлось взять их в наше заведение. Здесь со своим богатым опытом они будут полезней...

Но среди сотрудников отделов было много молодых. Как видно, политика сочетания проводилась и там. С той лишь разницей, что в отделах все, и старые и молодые, подчинялись начальникам отделов. Мы же с Прониным были на одинаковом положении. Все приказы начальника Главсевобуча приобретали силу только после того, как на них появлялась подпись комиссара.

Во всех республиканских, краевых и областных военкоматах были образованы отделы всеобщего обучения. На них и возлагалось непосредственное руководство военной подготовкой трудящихся. А проводиться она должна на предприятиях и в учреждениях. Там создавались соответствующие подразделения. В подразделениях этих рабочие и служащие очередями в свободное от работы время должны изучать военное дело. Обучение должно вестись по программе, рассчитанной на сто десять часов.

Услышав о такой программе, я не скрыл удивления.

— Трудно же в такой срок обучить человека военному делу.

Пронин подвигал темными бровями

— Да, конечно, нелегко. Срок небольшой. Что и говорить. Но с другой стороны.. Мы должны готовить людей без отрыва от работы. А сколько рабочий может заниматься после трудового дня? И не просто заниматься, а продуктивно, с максимальной пользой. Не больше двух часов в день. Значит, на очередь мы должны тратить не меньше двух месяцев. Сколько же времени понадобится, чтобы ознакомить даже с этой сокращенной программой все подлежащее обучению население? — И закончил так, словно желая подчеркнуть бесполезность такого разговора: — Да она уже утверждена, это программа, и для нас является обязательной...

☆☆☆

В первую очередь надо было познакомиться с аппаратом управления. И я начал с этого. Вызывал начальника отдела, расспрашивал о делах, просил доложить о планах. Потом приглашал работников отдела и затевал непринужденный разговор. Впрочем, непринужденности трудно было добиться. Командиры чувствовали себя скованно и не проявляли желания распространяться. Ответали коротко, односложно. «Так точно!.. Никак нет!..» Но иногда все же удавалось расшевелить их. И тогда выяснялось, что почти всех молодых тяготила работа в Главсевобуче. Они хотели отправиться на фронт, чтобы с оружием в руках сражаться с врагом. Я пробовал убедить их, что без резервов нельзя победить, но скоро понял, что бросал семена в бесплодную почву.

Аппарат управления показался удачным. Правда,

начальники отделов в большинстве выглядели такими болезненными, что, казалось, только что выпитались из госпиталя. Но они старались выполнять свои обязанности ревностно и не заставляли повторять указания. Зато сотрудники отделов, капитаны, майоры, подполковники, выглядели отлично и прямо-таки горели на работе. Они делали все быстро, умело, точно, и мечта о фронте не мешала им добросовестно выполнять свой долг.

С такими мыслями об аппарате я и зашел к Пронину. И начал рассказывать свои впечатления. Но разговор прервал звонок вертушки.

Пронин снял трубку и гулко произнес:

— У телефона... Да, я...— И вдруг встал, вытянувшись.— Здравия желаю, товарищ маршал...— И смутился, даже покраснел.— Слушаюсь, товарищ Сталин!...— А потом чуть слышно повторял:— Да... Да... Да...— Потом снова громко, будто отдавая рапорт:— Есть, товарищ Сталин!.. Так точно!.. Будет исполнено!.. До свидания, товарищ Сталин!..

И положил трубку на рычаг. Но руку не снял, будто ждал, что телефон снова зазвонит и тогда снова придется испытать все. Но аппарат молчал, и Пронин встал из-за стола.

— Да,— пробасил он, словно думая вслух.— Так неожиданно. И так просто... А я растерялся... Неудобно получилось...

Я остановил его и предложил:

— Садись, Николай Нилыч! И рассказывай все по порядку. Пока не забыл.

Пронин присел напротив и заметил с укоризной:

— Ну, что ты, комиссар! Как можно забыть такое? Да я всю жизнь буду помнить. Каждое слово.

— Ладно, успокойся,— сказал я.— И рассказывай. Все до подробностей.

И Пронин пересказал разговор. Когда он, ошалеv от неожиданности, назвал Сталина маршалом, тот попросил обращаться к нему по фамилии. А потом сказал, что Государственный Комитет Обороны придает всеобщую большое значение.

«Не забывайте о своем особом положении,— говорил Сталин.— Вы военная организация, а работать будете с гражданским населением. Придется соблюдать военные порядки и проявлять самостоятельность. Работать необходимо в тесном контакте с партийными и комсомольскими организациями. Без них вам трудно будет успешно справиться с поставленными задачами...»

Затем он разрешил в случаях необходимости обращаться лично к нему. А закончил просьбой передать сотрудникам Главсевобуча, что работа их приравнивается к боевой службе и что усилия по выполнению программы всеобщего будут вознаграждаться наравне с фронтовиками.

Пересказав разговор, Пронин снова встал и зашагал, позванивая шпорами.

— Что будем делать, комиссар?

— Работать,— ответил я.— Выполнять указание. Это вообще. А сейчас давай команду собрать всех сотрудников управления. Проведем митинг. С сообщением выступишь ты...

☆☆☆

Мне было положено звание дивизионного комиссара— два ромба в каждой петлице. Но Главное политуправление почему-то медлило с представлением меня к этому званию, и я, чтобы не казаться белой вороной среди военных, нацепил четыре шпалы своего запасного полкового комиссара.

Остановившись перед зеркалом, вправленным в гардероб, я прямо-таки удивился. Оттуда на меня

смотрел русоволосый, молодой и довольно симпатичный парень в военной форме. Все сидело на мне наилучшим образом. Гимнастерка и галифе из тонкого сукна цвета хаки словно были сшиты по заказу. Хромовые сапоги сверкали, как зеркальные. Серебром отливала на поясе пятиконечная звезда. А ладно подогнанные малиновые шпалы на красных петлицах делали меня даже нарядным.

Да, конечно, ромбы придали бы мне еще больше авторитета. Мне едва сравнялось тридцать два. Это не так уж мало, но, к сожалению, выглядел я и того моложе. Вот ромбы приглушили бы молодость, сделали бы меня в глазах военных сотрудников много старше.

Все же я отогнал эти мысли. Какое это имело значение? Главное— дело. Всеобщее должен дать все, что может, внести достойный вклад в общую борьбу с врагом. Об этом надо было думать, этому следовало подчинить все мысли и чувства.

Пронин встретил меня восторженным восклицанием.

— Вот это другое дело! — говорил он, осматривая меня.— Любо посмотреть! Хотя... Да... Но... А в общем очень хорошо! — И потискал меня за плечи.— А теперь пошли в зал. Командированные ждут. Из-за тебя задержались...

Залом называлась комната, предназначенная для собраний. Она, и правда, была заполнена сотрудниками отделов. Они отправлялись в восточные области, чтобы помочь местным организациям создать подразделения и начать в них боевую учебу. С ними мы отправлялись в областные отделы учебные пособия и кое-какую литературу. И то и другое должно было помочь преподавателям целесообразно использовать время, отведенное для военной подготовки всеобщих.

Это было обычное инструктивное совещание. Пронин открыл его и рассказал, что и как надлежало делать им, нашим представителям, на местах.

Закончив речь, Пронин предоставил слово мне. Я посоветовал поддерживать связь с партийными организациями, а комсомол привлечь к практическим делам. Я говорил и смотрел на отъезжающих. С такими молодцами можно любые задачи выполнить. Они тоже прямо и открыто смотрели на меня. И у большинства в глазах читалось одобрение.

☆☆☆

В ЦК комсомола приходилось работать вечерами. Нас с Громовым освободили от конкретных обязанностей, которые мы выполняли раньше. Но набиралось немало общих дел, которыми нужно было заниматься. Тут были и материалы, подлежащие рассмотрению на бюро и секретариате, и разного рода докладные записки, и проекты постановлений. Если к этому прибавить сами заседания бюро и секретариата, можно сказать, комсомолу по-прежнему приходилось отдавать немало времени.

В один из таких вечеров в Цекамоле я заговорил со своим новым помощником Новичковым о работе в Главсевобуче. Но раньше, чем тот ответил присутствовавшая при этом моя секретарша Таня попросила

— А вы возьмите меня. Буду адъютантом не хуже него.

Новичков окинул ее насмешливым взглядом.

— А служить там будешь в юбке?

— Если юбка помешает, надену штаны,— не растерялась Таня.— Те же адъютантские галифе

— Они тебе не подойдут.

— Это почему же?

— Зад широковат.

Таня покраснела, но ответила с достоинством:

— Мой зад не шире других. А некоторые адъютанты и позадастей.— И обратилась ко мне, подчеркнуто игнорируя Новичкова:— Неужели вы и правда возьмете его? Да он же, кроме как на грубость, ни на что не способен!— И с гордо поднятой головой направилась из кабинета. Но в дверях остановилась и решительно объявила:— Не возьмете в адъютанты, уйду в зенитчицы. Там даже галифе не понадобятся.

Когда она вышла, я повторил Новичкову свое предложение. Он потупился и сказал:

— Вы ж меня мало знаете. А тут еще такая характеристика.

Я успокоил его. Наши общие поездки кое-что показали. И отзывы товарищей по отделу немало значили.

— А Таню вы сами обидели. И главное: незаслуженно. Она не такая уж... И галифе могли подойти ей. Кроме того, привыкла работать со мной. Вот и не желает уступать...

Документы на Новичкова оформили быстро, и он в форме старшего политрука со шпалой в каждой петлице занял место в адъютантской комнате. А Таня и в самом деле ушла в армию. Как раз в это время формировалась московская женская зенитная бригада, и она попросилась туда.

— Буду охранять столицу,— сказала она, прощаясь со мной.— И дорогих москвичей, которых люблю...

А спустя некоторое время появилась в Главсевобуче и, в сопровождении Новичкова, зашла ко мне.

— Здравия желаю, товарищ комиссар!— отработала она, вскинув руку к пилотке.— Рядовая отдельной московской женской зенитной бригады...

Ее трудно было узнать. Гимнастерка и юбка защитного цвета ладно облегли фигуру. На голове с коротко подстриженными волосами кокетливо сидела пилотка с красной звездочкой. Ноги обтягивали голенища до блеска начищенных сапог.

Когда мы поздоровались, она сказала:

— Разрешите показаться, товарищ комиссар?— И дважды прошлась передо мной. Потом снова остановилась и спросила:— И как, товарищ комиссар?

— Отлично!— похвалил я.— Молодец, товарищ боец!

Загоревшее лицо ее засияло.

— Служу Советскому Союзу!— отчеканила она и обратилась к Новичкову:— Теперь вы, товарищ старший политрук!— И повернулась перед ним кругом.— Что скажете вы?

Новичков неопределенно пожал плечами.

— Все, как надо, товарищ зенитчица!

— А зад?— продолжала Таня.— Все еще широковат?

Новичков снисходительно усмехнулся.

— Ты же в юбке. Надень галифе, тогда посмотрим.

Таня лукаво сощурила глаза.

— Давайте свои.

— Не могу.

— Почему?

— Боюсь, лопнут. А запасные не заслужил.

— Если лопнут, подарю вам юбку.

Сдерживая смех, я хлопнул в ладоши и объявил:

— Ничья!— И, чтобы переменить разговор, заметил:— Только пояс, товарищ зенитчица, уж больно неказист.

Таня была подпоясана узким, сморщенным ремешком.

— Пояс никуда не годится,— вздохнула она.— Всю красоту портит. А лучше негде достать. По вещевому довольствию не положено. В магазинах не продают. Вот и приходится срамоту таскать.

Дома у меня валялся широкий ремень, и я пообещал подарить его ей. Таня обрадовалась и просто-душно сказала:

— Вот спасибо! Это ж будет здорово!— И спросила:— А нельзя поскорей? Уж очень хочется. Да и в бригаду скоро отправляться. А в другой раз не знаю, когда отпустят. Лейтенант у нас уж очень строгий. А со мной так и совсем невыносимый. Никуда не отпускает.

Я попросил Новичкова съездить с ней на квартиру, рассказал, где найти пояс, и передал ключи. Таня вся просияла.

— Теперь держись, лейтенант!— воскликнула она.— Уж повожу тебя за нос. Пожалеешь, что задираю его...— И, прощаясь, с грустной ноткой заметила:— А все же зря вы не взяли меня. В бригаде— неплохо, не жалуюсь. Но с вами работалось лучше...

Козырнув, она повернулась и четко вышла из кабинета.

☆☆☆

Это была срочная работа, и я сразу же после обеда отправился на Маросейку. Ольга Сысоева с группой комсомольских активистов, отобранных для подпольной работы, уже дожидалась в приемной. Гитлеровцы, продолжая наступать, занимали новые районы, и приходилось создавать в этих районах подпольные организации. А для этого— посылать в тыл врага лучших и обученных организаторов.

В этот раз почти все они были уральцами. В подполье шли добровольно, увлекаемые трудной борьбой с коварным врагом.

В спецшколе им рассказывали обо всем, что полагалось знать подпольному работнику, конечно, предупреждали об опасности. Все же и мы напоминали об этом. И призывали без стеснения признаваться, если страх был сильнее мужества. Но никто не отказывался.

К вечеру пропустили всех, и Ольга ушла, захватив с собой дела подпольщиков. А я продолжал сидеть за столом. Надо было просмотреть бумаги, которых накопилось немало, и подготовиться к очередному заседанию бюро.

Через некоторое время ко мне вошел Новичков. Положил передо мной нераспечатанный конверт.

— Вам письмо с фронта.

И вышел. А я вынул из конверта вдвое сложенный листок. Это было извещение штаба полка. Мой брат Денис убит в бою с немцами. И дальше: просьба сообщить об этом семье покойного, адреса которой в полку не оказалось.

Я несколько раз прочитал это сухое уведомление, пока страшный смысл его не дошел до сознания. И тогда что-то ударило в голову, а все вокруг закружилось, заплесало, словно вещи обрели способность двигаться. Я откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и до боли в пальцах вцепился в деревянные боковины. Перед взором, как на экране, замелькали картины. И во всех он, Денис, единственный брат. Он был моложе меня на три года, и я на правах старшего руководил им. Учил любить труд и ненавидеть праздность, думать сперва о других, а потом о себе. Он же не только внимал моим советам, а и старался брать с меня пример. Это льстило мне, хотя я не считал себя образцом.

И вот теперь его нет. Ушел навсегда, убит. Об



этом кричала бумага со штампом и печатью. Разум отказывался верить. Нет, этого не может быть. Не может быть, чтобы не жил, не дышал, не смотрел своими большими умными глазами. Не может быть!

Чей-то голос вывел меня из забытья. Я открыл глаза, выпрямился. Передо мной стоял Новичков. Он с тревогой смотрел на меня.

— Что с вами, товарищ комиссар? — спросил он. — Зову, зову, а вы не слышите. И вид у вас бледный. Вам нездоровится?

Я провел по лицу ладонями.

— Нет, ничего, — ответил я.

☆☆☆

Погода резко ухудшилась. Почти непрерывно лил дождь. Мелкий, холодный. Порывами налетал ветер. Срывал с деревьев желтые листья, гонял их по улицам и площадям.

Холодно становилось и в домах. Они все еще не отапливались. Нечем было топить. Донбасс был занят немцами. Прекратилась добыча угля в Подмосковье. А кузнецкий, из-за Урала, не на чем было возить. И москвичи заготавливали дрова в лесах.

А гитлеровцы продолжали наступать. И к середине осени вплотную подошли к Москве. Битва за нее казалась неминуемой. И на окраинах столицы возводились оборонительные сооружения. Да и внутри города появлялись баррикады и противотанковые препятствия. А многие дома превращались в ДОТы. В подвалах таких домов пробивались амбразуры для противотанковых пушек, на чердаках устанавливались тяжелые пулеметы.

Почти все московские предприятия были эвакуированы из столицы. Теперь решено было вывезти в безопасные места центральные учреждения и организации.

ЦК партии и правительство выехали в Куйбышев. За ними последовал туда и дипломатический корпус. В этот город на Волге перебрался и ЦК ВЛКСМ.

В столице оставались Государственный Комитет Обороны, Ставка Верховного Главнокомандования и оперативные группы некоторых центральных ведомств.

Предложено было выехать из Москвы и Глазсевобучу. Но в отличие от других учреждений нам самим предоставили право выбрать подходящее место. Посовествовали только отправиться в более далекий и не слишком крупный город.

Мы остановили выбор на Оренбурге. Многим из наших командиров, не раз бывавшим там, он казался и достаточно отдаленным и не слишком перегруженным.

☆☆☆

Когда все погрузили в эшелон и я в последний раз зашел к себе, чтобы посмотреть, не осталось ли чего-либо, раздался звонок вертушки. Звонил помощник Андреева, секретаря ЦК партии. Он предложил завтра к трем часам прибыть к Андрею Андреевичу. Я сказал, что мы уже погрузились и ночью должны выехать.

— Пусть с управлением едет начальник, — сказал помощник. — А вы задержитесь. И завтра к трем приезжайте к нам. А перед этим позвоните. Мы зажем вам пропуск...

Пришлось так и сделать. Пронин поехал с управлением. За меня с ним отправился начальник политотдела Блатов. Уехал с эшелоном и Новичков. Один я без него мог обойтись.

Но Андреев не принял меня, а попросил позвонить. И, когда я позвонил, сказал, что очень занят.

— Как у вас дела? — спросил он мягким, слегка приглушенным голосом.

Я доложил о нашей работе. Не умолчал о комсомольско-молодежных спецподразделениях. Во многих областях они уже приступили к боевой подготовке.

— Мы знаем об этом, — сказал Андреев. — Хорошее дело. И правильно, что Осоавиахим подключили. Надо только, чтобы на местах учебная база передавалась без промедления. В случае чего обращайтесь в обком партии. Им даны соответствующие указания. — И, помолчав, словно припоминая что-то, продолжал: — Я хотел поговорить с вами о всевобуче в Средней Азии. Военная подготовка населения там поставлена неважно. А так получилось, очевидно, потому, что Главсевобуч недооценил этот район. А зря. Среднеазиатские республики богаты людскими резервами. А кроме того, война показала, что узбеки, таджики, туркмены и киргизы храбро сражаются с фашистами. А это тоже немаловажно. И потому следует обратить серьезное внимание на Среднюю Азию.

Я сказал, что в ближайшее время примем меры.

— Мы ведь теперь будем в Оренбурге, — говорил я. — А это наполовину ближе к Средней Азии, чем раньше. Легче будет помогать тамошним органам всевобуча. Сразу, как приеду, пошлем туда наших работников.

— Я бы посоветовал поехать туда вам самому, — сказал Андреев. — Вы сможете и на отделы всевобуча воздействовать и комсомол расшевелить. Как вы думаете?

Я ответил, что сам отправлюсь туда, как только приеду в Оренбург.

— Очень хорошо, — сказал Андреев. — Поезжайте туда и постарайтесь. Армия должна получить отсюда значительное пополнение...

Он пожелал мне счастливого пути.

☆☆☆

После этого я отправился на Маросейку. Захотелось в последний раз побывать там. С скромный, четырехэтажный дом был родным. В нем немало прожито и пережито незабываемого. И будет ли еще когда-либо кипеть молодость на его этажах? Да и надо было проститься с Романовым, который оставался в Москве во главе оперативной группы Цекамола. Тоже неизвестно было, где и когда судьбе угодно будет устроить нам новую встречу.

У Романова оказался Громов. Он также был в военной форме. В каждой голубой петлице гимнастерки сверкало по одному ромбу. В запасе Громов, как и я, был полковым комиссаром. Но ему сразу же после назначения в воздушно-десантные войска присвоили бригадного.

— Я оказался под рукой у начальства, — объяснил он мне. — А ты путешествовал за тридевять земель. Потому и остался при запасных шпалах.

Они чаевали за столом. Я попросил угостить меня. Романов беспомощно развел руками.

— Самих вахтеры угостили, — сказал он. — Выгнали два стакана, и то без сахара. Видишь, пьем с леденцами...

Он был в темно-синем костюме с жилеткой в два ряда пуговиц. Белую рубашку повязывал полосатый галстук. Узел галстука величиной чуть ли не с кулак упирался ему в кадык и, казалось, душил его.

— Ты, что же, полковой? — спросил Громов. — Не отправил еще свой Главсевобуч?

— Вчера ночью выехали, — ответил я. — Целый поезд. Три пассажирских и столько же товарных вагонов.

— А сам почему застрелял? — продолжал Громов. — Москву решил защищать?

— К сожалению, не придется, — ответил я. — Получил срочное задание. Завтра должен выехать. — И, в свою очередь, поинтересовался: — А ты что, оставшись тут со своим заведением?

— Нет, — сказал Громов, — заведение уже тоже от правил. А сам выключил три дня на доделку недоделок. — И, отодвинув пустой стакан, вытер губы красным платком. — Вот и удерем мы с тобой, полковой! А жаль. Надо бы и нам подраться за любимую столицу.

— Товарищи комиссары! — полушутя сказал Романов. — Удирайте и делайте свои боевые дела. А за столицу не беспокойтесь. Врагу не будет сдана! Кроме отборных войск, которые будут защищать ее, комплектуется особая коммунистическая дивизия. Она станет костяком многотысячного народного ополчения...

☆☆☆

Кудряшов оказался в обкоме. Крупный и крепкий, он с силой стиснул мою руку.

— Привет! С приездом!..

Он часто бывал в Москве, и мы хорошо знали друг друга. Моему внезапному приезду не удивился. Теперь многое делалось внезапно. И даже так, как в мирное время не подумалось бы. Но когда я сказал, что в Горьком проездом в Куйбышев, он не скрыл огорчения.

— А я думал... Хотя бы на несколько дней. В районы съездили бы, на заводах побывали.

Я рассказал ему о положении в Москве. В свою очередь, он поведал о делах горьковского комсомола. Но разговор длился недолго. Кудряшов торопился в обком партии на заседание, где решались и комсомольские вопросы. Мы условились встретиться вечером и разошлись.

Я вернулся к машине, стоявшей у подъезда. Погода совсем испортилась. Мокрый снег валил так густо, что ничего не видно было и в двух шагах. Скользящая жижа покрывала асфальт, и машину то и дело заносило в стороны. «Дворники» на лобовом стекле не успевали счищать водяной наплыв, и Федосов часто высовывал голову в раскрытую боковину.

С трудом нашли областной отдел всеобуча. Сотрудники его, все военные, сидели в большой комнате за письменными столами и что-то либо писали, либо подсчитывали. Я представился начальнику отдела, пожилому батальонному комиссару. Он внимательно прочитал командировочное удостоверение и, обратившись к сотрудникам,скомандовал:

— Встать! Смирно!

И повернулся ко мне, чтобы отдать рапорт. Но я жестом остановил его.

— Вольно!..

Я попросил показать мне какое-нибудь спецподразделение. Батальонный комиссар подумал и сказал:

— На заводе Сормово как раз в эти часы занимается такое подразделение. Желаете, поедемте туда...

Он захватил с собой и инспектора, в районе которого находился Сормовский завод. Мы сели в машину и поехали в противоположный конец города.

— Одна винтовка не устраивает, — говорил батальонный комиссар. — Хотят владеть более сложным оружием. Если бы у нас была возможность готовить летчиков и танкистов, в желающих и тогда не было бы недостатка...

Всеобуч занимался в заводском Доме культуры. Это было подразделение пулеметчиков. Посреди комнаты на подмостках стоял боевой пулемет. А на стене висел рисунок, показывавший его в разрезе.

Занятиями руководил мастер одного из цехов, командир пулеметного взвода времен гражданской войны. Проверялось устройство замка, о котором рассказывалось на предыдущих занятиях. Преподаватель вызывал бойцов по одному и спрашивал. Они отвечали четко, по-военному, показывали детали на рисунке, демонстрировали замок в действии. Выглядели ребята художавыми. Много работали, недоедали. А отдых на свежем воздухе был непозволительной роскошью. И все же они не производили впечатление изнуренных.

Режим соблюдался строго, и для нас выкроили лишь несколько минут. Но и этого оказалось достаточно. Ребята не хотели распространяться на посторонние темы. А посторонним они считали все, что не относилось к работе и всеобучу.

Все же удалось узнать, что отцы их либо воевали на фронтах, либо ковали победу на заводе. А многие матери перешли в цехи, чтобы заменить отцов. И домашняя жизнь почти целиком переключалась на завод, где приходилось днзззть и ночевать.

Когда мы, простившись с ребятами, вышли в коридор, преподаватель, провожавший нас, сказал:

— Можете не сомневаться, готовим на совесть. Метко будут разить врага. И все же я хотел бы, чтобы война пощадила их юность.

☆☆☆

В Куйбышев я отправился пароходом. Погода не улучшалась. Непрерывно шел дождь со снегом. Грунтовые дороги размокли. Говорили, что на этом пути завязло множество автомобилей. И я, оставив Федосова дожидаться заморозков, устроился на пароход.

В Куйбышевский порт причалили утром на третьи сутки. Автобус доставил меня в центр города. Там я отыскал трехэтажный дом, в котором разместились ЦК комсомола.

Михайлов сидел в небольшом кабинете. Вид у него был усталый, под глазами темнели мешки. Меня встретил без энтузиазма. И, когда мы присели, спросил:

— Слышал, наши Ростов оставили?

Дрожь, словно электрический ток, пронизала меня. Ростов — ворота на Кавказ. Теперь их и совсем нелегко будет удержать. А может, от Ростова они повернут в другую сторону?

Словно угадав мои мысли, Михайлов сказал:

— Предполагается, будут развивать наступление в двух направлениях. В глубь Кавказа с целью захвата Баку и в сторону Волги на Сталинград. В Баку им нужна нефть. Туда они будут рваться, не жалея ничего. А выход к Волге нужен, чтобы по ней подняться к Горькому и завершить большое окружение Москвы. — И поспешно добавил, словно заметив мою тревогу: — Конечно, это лишь предположения. Точно никто ничего не знает. Сейчас они уже не болтают о своих планах. Да и нередко меняют их, чтобы ввести нас в заблуждение.

И спросил, что нового в Москве. Я сказал, что столица живет в приподнятом настроении. Москвичи готовятся дать бой фашистам на подступах к городу. Но если и там не удастся остановить их, бои завяжутся на улицах.

— Жалко, что нам приходится тут отсиживаться, — признался Михайлов. — Конечно, в Москве достаточно сил. Но и мы были бы не лишними.

Я возразил, что они тут не отсиживаются, а делают такое же важное дело. А к тому же, если оправдаются предположения и немцам удастся выйти к Волге, может, придется с оружием в руках сражаться и за Куйбышев.

— Только вряд ли такое случится,— говорил я, проникаясь верой, что этого не будет.— Каждый город на великой русской реке превратится для них в неприступную крепость. И окружить Москву у них не хватит ни сил, ни духа.

Мы закурили и долго дымили, думая об одном и том же. Потом Михайлов спросил:

— Аня с ребятами все еще в Минводах?

— Да,— сказал я.— Наверно, там. Хотя, может быть... Да нет, конечно, там. Куда ж еще могли деться?— Внезапная мысль осенила голову, и я, не раздумывая, сказал:— Перед отъездом сюда я разговаривал с товарищем Андреевым. В Средней Азии плохо с всевобучем. И он дал указание.

— Я знаю об этом,— сказал Михайлов.— Вчера был у него.

— А он уже здесь?

— Недавно прибыл. Говорили о работе комсомола. В том числе и о всевобуче.

— Так вот,— продолжал я.— Он посоветовал мне самому поехать в Среднюю Азию, чтобы и всевобуч и комсомол поднять. И я поеду туда в самое ближайшее время. Поеду через Кавказ и по пути вывезу из Минвод Аню с ребятами.

— А как будешь добираться до Минвод?

— Отсюда до Сталинграда — пароходом. А там — поездом через Сальск.

Михайлов подумал и сказал:

— Это правильно. Поезжай сам. Тебе легче, чем кому-либо, справиться с этим делом. А заодно и семью перевезешь. Я подпишу командировочное удостоверение. И ты можешь сегодня же отправляться.

— Нет! — сказал я.— Сегодня выеду в Оренбург. Надо посмотреть, как там Главсевобуч. А после этого отправлюсь в Среднюю Азию.

Михайлов нахмурился, подвигал скулами.

— Пока ты будешь ездить в Оренбург, положение может измениться. Поэтому я советую: отправляйся прямо отсюда и немедленно. С Главсевобучем твоим ничего не случится. Хочешь, пошлем туда кого-нибудь из наших работников? Поможет, если нужно, расскажет, где ты и что с тобой.

Это был разумный совет. Но я все же не решился последовать ему. Беспокойство за Главсевобуч взяло верх. Все ли там благополучно? Может, требуется мое присутствие? И есть такие вопросы, которые без меня не решить?

— Нет, сначала Оренбург,— повторил я.— Посмотрю, что и как там. А уж потом — Средняя Азия.

— Смотри, как бы не поздно было,— сказал Михайлов.— События вон как развиваются. Никто не может сказать, что будет завтра. А тем более через несколько дней, которые понадобятся тебе на Оренбург.

— Надеюсь, не опоздаю,— не сдавался я.— Не так уж быстро они маршируют. А до Минвод от Ростова — не так уж близко. Да и путь туда для них будет не гладким. Может, даже споткнутся и остановятся? А то еще и назад попятятся?

— Смотри,— повторил Михайлов.— Не пришлось бы раскаиваться.

Я попытался папиросой и сказал, стараясь уверить скорей себя, чем его:

— В Оренбурге не задержусь. И в Минводы успею. Все будет в порядке. И раскаиваться не придется...

Главсевобуч разместился в здании городской библиотеки. Книгохранилища были опечатаны. Но и в комнатах, отведенных нам, стояли шкафы с книгами. Лишь некоторые были разгружены и заполнены нашими папками.

Мне досталась комната со стеллажами во всю заднюю стену. На полках под стеклом стояли тома художественной литературы, расположенные в алфавитном порядке. Письменный стол занимал место у окна. А у боковых стен в кадках, выкрашенных в зеленый цвет, росли чуть ли не до потолка пальмы и фикусы.

Я рассказал о встрече с секретарем ЦК партии Андреевым и о его указаниях о всевобуче в Средней Азии. Пронин и Блатов согласились, что там военная подготовка населения через всевобуч пока как следует не развернута.

— Туда тоже надо бы послать кого-нибудь из работников управления,— сказал Пронин.— Даже, может, кого-либо из старших командиров.

— Придется мне туда ехать,— и, заметив удивление на лицах Пронина и Блатова, пояснил:— Андрей Андреевич так посоветовал, чтобы не только всевобуч, а и комсомол мобилизовать. Так что готовьте командировочное удостоверение...

Удивление их сменилось тревогой, когда я сказал, какое вынужден совершить путешествие.

— Поезжай, комиссар! — сказал Пронин, глядя на меня так, как будто я должен пройти по краю пропасти.— Трудно будет, даже небезопасно. Но будем надеяться. Только не тяни. Завтра же отправляйся. И да поможет тебе бог!

Последние слова были сказаны в шутку. Никто из нас не верил в бога, и я не рассчитывал на божью помощь. Но в словах этих было выражено такое желание добра, что они показались священными.

— Спасибо! — горячо ответил я.— Ваши чувства помогут мне. И я верю, что справлюсь с нелегкой задачей...

А Новичков огорчился. Он ждал меня, готовился к моему приезду. Комнату для жилья подыскал, кабинет оборудовал. И все оказалось напрасным. Но когда узнал, что я еду не только по служебным делам, заявил, что поедет со мной.

— Одному вам трудно будет,— доказывал он.— Билеты, пересадки, всякие житейские дела. А вдвоем легче. Даже веселей.

Я и сам представлял трудности. Но знал, что будут и такие, которые легче преодолеть одному. И отказался взять его.

— Оставайтесь здесь и помогайте Блатову. А я как-нибудь один...

И Новичков замолчал. Молча собирал меня в дорогу, молча провожал на военный аэродром. И только перед трапом у самолета сказал:

— Счастливого пути, товарищ комиссар! И благополучного возвращения! Днем и ночью буду желать вам удач во всех делах!..

До Сталинграда плыли почти двое суток. Все это время шел густой снег. Он застилал все вокруг непроницаемой пеленой. Пароход двигался медленно, подолгу простаивал на пристанях. Зато сверху ничего не было видно на реке. И фашистские самолеты ни разу не появились над ней.

Сталинград выглядел суровым. Подступы к нему были перекопаны, а дороги перекрыты баррикада-

ми. Повсюду виднелись противотанковые заграждения. А с плакатов на стенах домов горожане призывали к бдительности.

Виктора Левкина, первого секретаря обкома комсомола, я застал на месте. Он только что вернулся с западной стороны, где комсомольцы возводили оборонительные укрепления. И с ним мы были хорошо знакомы. Он казался уравновешенным, спокойным. В то же время все делал быстро, точно.

— Обстановка осложняется,— рассказывал он.— Кажется, гитлеровцы нацеливаются на наш город. Вот и приходится принимать меры, чтобы не застали врасплох...

Я сказал, что собираюсь побывать на предприятиях, познакомиться с боевой подготовкой подразделений всеобщего.

— Но в Сталинграде я проездом. Завтра должен выехать.

Левкин посмотрел на меня с недоумением.

— Куда же ты поедешь отсюда? В Астрахань, что ли?

— Нет, не в Астрахань,— ответил я.— В Среднюю Азию.

— В Среднюю Азию? — удивился Левкин.— Как же можно отсюда попасть в Среднюю Азию?

— А очень просто,— с той же уверенностью продолжал я.— Через Минеральные Воды, Баку и Каспийское море.

Виктор посмотрел на меня, будто усомнившись в моем рассудке.

— Баку и Каспийское море не знаю,— сказал он.— А вот Минеральные Воды... Как ты думаешь, попасть туда?

— Об этом я собирался посоветоваться с тобой. Мне кажется, лучше всего поездом.

— Железная дорога на Кавказ перерезана,— сказал Левкин.— Отсюда она идет через Сальск. А там, говорят, уже немцы.

— Тогда самолетом.

— Самолеты от нас не летают в том направлении. Даже раньше не летали. А теперь и подавно. Да и какие тут самолеты? Все они мобилизованы в армию.

— Как же тогда быть? — с отчаянием спросил я.— Мне же надо туда во что бы то ни стало!

— А зачем? — спросил Левкин.— Что тебе там, в этих Минеральных Водах?

Я рассказал. Левкин испуганно уставился на меня. В то же время взгляд его выражал сочувствие, словно я уже был обречен.

— Да-а,— протянул он так, будто оказался перед неразрешимой загадкой.— Положение, прямо скажем, незавидное.— И, спохватившись, продолжал, как видно, стараясь приободрить меня: — Да ты не расстраивайся. Поезжай по своим делам. Дам машину и инструктора. А сам посоветуюсь кое с кем. Может, что-нибудь сообразим? Хотя, по правде, ничего путного не представляю.— И с укором добавил: — Что бы тебе пораньше явиться! Хоть бы на один день. Была у нас тут летная школа, эвакуированная из Одессы. Как раз сегодня вылетела в Казахстан. Тогда бы мы договорились...— И безнадежно махнул рукой.— Да что об этом толковать! В таких случаях хоть самую малость, а не хватает времени.— И повторил, заметив, что я совсем сник: — Поезжай по делам. А мы тут посоветуемся. Может, что придет в голову.

Его слова сверлили мозг. На один день... Почему же я сразу не выехал из Куйбышева? Тогда бы я был здесь не на один, а на несколько дней раньше. И может, уже вывез бы Аню с ребятами из Минвод? Теперь же приходилось кусать локти и со страхом думать о будущем.

Начальник облотдела всеобщего выбежал из подъезда, едва мы остановились перед домом. Он пригласил меня в отдел, но я отказался. Не хотелось терять время на статистику, которой пестрели доклады и рапорты.

— У меня мало времени,— сказал я.— А поэтому хотелось бы... Может, съездим на Сталинградский тракторный? Посмотрим, как там на заводе обстоят дела.

Начальник согласился и попросил разрешения отлучиться на минуту.

— Надо предупредить. Сейчас же вернусь.

И он сейчас же вернулся. Сел в машину и сразу засыпал меня цифрами. Столько-то выявлено и учтено, столько-то обучено и отправлено, столько-то обучается и готовится к обучению. Я слушал, поддакивал, а сам думал о Минводах. Они казались совсем рядом и были недостижимыми. А еще думал о том, что мог сообразить Левкин с кем-то? Можно паромом добраться до Астрахани, там пересечь на паром до Махачкалы, и поездом в Минводы. Но на это уйдет много времени. И можно не успеть в Минводы, над которыми, казалось, уже нависла угроза.

Тракторный работал круглые сутки. Но выпускал не тракторы, а танки. Рабочие не выходили из цехов. Там ели, спали и трудились, не считаясь ни с чем. И только на всеобщего выкраивали два часа. Для всеобщих они были обязательными.

В этот час шли занятия в трех ротах сборного цеха. Рабочих учили делать бутылки с зажигательной смесью и бросать в танки. Этого не было в нашей программе. Но они изменили ее с учетом складывавшейся обстановки и постигали то, что придется делать, может, в скором времени.

Мы побывали на занятиях во всех трех ротах. Перед каждой я произнес короткую речь. Я говорил об опасности, нависшей над страной, о долге перед Родиной, о героизме, который проявлял советский народ.

— Враг сильный, мы не скрываем этого. Да этого и нельзя скрыть. Слабый враг не достиг бы Дона и не подступил бы к Москве. Но если ему суждено будет прорваться к Волге, она преградит ему путь. И он захлебнется в нашей великой русской реке...

Все это они знали и без меня. Не раз говорили им то же свои пропагандисты. Читали они об этом в газетах. И все же слушали, затаив дыхание.

В третьей роте, когда я окончил речь, пожилой рабочий сказал:

— Спасибо тебе, товарищ комиссар! Мы рады, что ты навел нас. А рады потому, что почувствовали гордость за Москву. До столицы нашей врагу много ближе, чем до нас. И все ж он еще не дошел до нее. Значит, нелегко ему шагать по русской земле. Так будет и у нас. Может, с трудом к городу и подступит. Но в город не пустим. Жизни свои положим, а не пустим. Так можешь и передать Москве...

Слова рабочего долго звучали в ушах. Я был из Москвы, которая не собиралась сдаваться, и как бы олицетворял в их глазах богатырскую мощь столицы. Потому-то они с жадностью слушали меня. И потому давно знакомые слова, сказанные мною, звучали для них по-новому, вызвали прилив веры и силы.

В обком мы вернулись вечером. Левкина не было. Но он скоро явился. Лицо его сияло, словно солнце.

— Свершилось чудо! — воскликнул он, сдерживая

возбуждение.— Одесситы не улетели сегодня. Вылет перенесен на завтра.

В душе затеплилась надежда, но я не показал этого. Одного того, что одесситы задержались, мало было для меня. И потому я продолжал молча смотреть на Левкина. А он не торопился, словно хотел помучить меня за то, что я не приехал раньше.

— Согласились выручить,— наконец сказал он.— Конечно, согласились не сразу. Пришлось поагитировать их, начальника и комиссара школы. Но все это теперь позади. А впереди — завтрашнее утро. Утром вся школа снимается и летит в Кзыл-Орду. Летит прямым путем. А один самолет полетит туда через Минеральные Воды. И по пути захватит тебя. Понимаешь? Завтра будешь в Минводах.

Я не удержался, обнял его, поцеловал в щеку и сорвавшимся голосом произнес:

— Спасибо тебе, Виктор! Спасибо огромное! Ты даже не представляешь, что сделал для меня. Век буду помнить и детям накажу.

☆☆☆

Мы летели над калмыцкой степью. Летели над самой землей, безлюдной и пустынной. А где-то справа, совсем недалеко был Сальск. Там, верно, хозяйничали фашисты. Может, скоро они заметят нас и пошлют на наш беззащитный ПО-2 истребитель? А может, уже заметили и вот-вот в небе появится стервятник?

Я сидел в открытой кабине позади летчика и взглядом озираю степь, уходившую за горизонт, вспоминал утро. Оно причинило немало волнений и переживаний. Ночью в Сталинграде неожиданно разыгралась пурга. Утром, когда мы приехали на аэродром, где стояла летная школа, был уже сильный буран. Ветер валил с ног, снег слепил глаза. И сердце забилося тревожно. Еще вчера я был полон надежд, а сегодня злая стихия разрушила их. Трудно было представить, что самолет поднимется в такую погоду.

Начальника школы мы нашли на летном поле у ангаров. Он стоял с группой летчиков и мрачно поглядывал в небо, затянутое тучами. Это был пожилой, но крепкий еще полковник. Левкин познакомил нас. И по тому, как начальник коротко пожал мне руку, я понял, что дела мои плохи. И тут же убедился, что не ошибся. Без всякого сочувствия ко мне он решительно заявил.

— Погода нелетная. Самолет выпустить не могу.

Я с мольбой посмотрел на него.

— Но она может быть такой целый месяц. Сейчас же трудно рассчитывать на хорошую погоду.

— И целый месяц не выпущу,— невозмутимо ответил полковник.— В непогоду самолеты не летают. Я говорю о наших самолетах.

С минуту длилась пауза, нарушаемая воем ветра.

Молчание прервал молодой летчик, одетый в теплую куртку, меховые унты и шлем с очками. Как видно, он готовился к полету, но пурга помешала. Шагнул к начальнику, он козырнул и отчетливо произнес:

— Разрешите, товарищ полковник?

Начальник сурово покосился на него и, словно зная, что он хочет, недовольно спросил:

— Что тебе, Петров?

Петров снова козырнул и четко ответил:

— Прошу разрешения на полет!

Полковник с удивлением поднял глаза под мохнатыми бровями.

— Ты же не поднимаешься, старший лейтенант!

— Поднимусь, товарищ полковник! — отчеканил Петров.

Полковник нахмурился.

— А ты знаешь, чем рискуешь?

— Да, товарищ полковник! — ответил Петров.— Своей жизнью.

— Не только своей,— поправил полковник.— В самолете ты будешь не один. С тобой будет полковой комиссар. Ты будешь рисковать и его жизнью. И надо сначала спросить его, согласен ли он вверить тебе свою жизнь.

Петров глянул на меня озорно, даже весело.

— Да, да, я согласен! Пожалуйста! Если летчик решается, разрешите лететь. Очень прошу, товарищ полковник!

— Разреши, начальник! — подал голос коренастый военный; в голубых петлицах его виднелось по четыре шпалы.— Погода нелетная и для немцев. Опасную зону перелетят незамеченными.— И более твердо добавил: — Пускай летят. И счастливого им полета!

Полковник подвигал бровями, усмехнулся уголками рта и сказал:

— Ну, раз комиссар за комиссара, лети, товарищ старший лейтенант! И да будет для тебя этот полет добрым!..

И сразу всё засуетилось. А полковник взял меня под руку и повел с собой. Мы вошли в запертое снегом здание, несколько шагов сделали по коридору и очутились в небольшой комнате. Здесь на диване лежали летная куртка, меховые унты и шлем с очками. Полковник развернул куртку передо мной.

— Давайте переоденемся,— предложил он.— В своем обмундировании вы замерзнете. Самолет открытый.— И пояснил, когда я принялся натягивать унты: — С вечера пригостили. Не предполагали, что пурга разыграется. Правда, синоптики предупреждали, но не о такой буре...

Вскоре, поеживаясь от пронизывающего ветра, мы втиснулись в самолет.

Около часа летели над снежными облаками, закрывавшими все на земле. Потом они стали редеть и скоро совсем рассеялись. Небо тоже очистилось от них, засияло. Наконец проглянуло солнце, и все до горизонта прояснилось. Теперь под нами стала бесснежная, покрытая чахлой травой степь. И не верилось, что совсем рядом бушует пурга, заноса все пути и перепутья.

..Вспоминая об этом, я смотрел вперед, куда уходила казавшаяся бескрайней калмыцкая степь. Внезапно в правой стороне мелькнуло что-то. Я повернул голову и увидел самолет. Он стремительно летел нам наперерез. Невольно выпрямившись, я закричал:

— Са-мо-ле-ет!

Но Петров уже видел его и резко снижался к земле. Казалось, он собирался посадить самолет. Но он не сделал этого. Выровнявшись у самой земли, он повел свой ПО-2 на бреющем полете.

«Это не спасет нас,— со страхом подумал я.— Лучше бы сесты и разбежаться в стороны!..»

А немецкий истребитель уже был над нами. Отчетливо виднелась на крыле черная свастика. «Мессершмит» Или просто «мессер». Я видел их в брянском небе над позициями пятидесятой армии. Они нагло набрасывались на наши «ястребки» и нередко выходили победителями. А нас этот растерзает, как коршун безобидную птаху.

Но фашист не сразу набросился на свою жертву. Он закружил над нами, словно высматривая удобное место, чтобы одним ударом поразить цель. А может, забавлялся игрой? Он знал, что мы чув-

ствуем свою обреченность, и не торопился. Пусть они, красные большевики, перед тем, как угодить в когти смерти, подольше побывают в когтях страха!..

Все же игра скоро надоела фашисту, и он, отлетев далеко вперед, круто развернулся и полетел нам навстречу. При этом он опускался все ниже и ниже, и казалось, через несколько секунд впритирку пролетит над нами. Я невольно втянул голову в плечи и тут же увидел другой самолет. Он стремительно летел к нам с обратной стороны и, как видно, намеревался отрезать путь фашисту. Я снова выпрямился. Да это был наш истребитель! На крыле — милая сердцу пятиконечная звезда. И опять я, не помня себя, но теперь уже радостно заорал:

— Са-мо-ле-ет! На-аш са-мо-ле-ет!

Немец тоже заметил противника и, развернувшись, пошел на него. Расстояние между ними стремительно сокращалось. Вот они уже совсем близко друг к другу. Вот сейчас столкнутся и оба рухнут на землю. Вот сейчас!.. Но в самый последний миг оба истребителя круто взмыли вверх и каждый в свою сторону сделал мертвую петлю. Потом опять ринулись один на другого, все увеличивая скорость. Уже перед нашим истребителем фашистский «мессер» вдруг круто свернул в сторону и полетел туда, откуда явился. И тут же из него в небо потянулась дымящая струйка. Она все увеличивалась, удлинялась и скоро превратилась в черный шлейф. А «мессер» стал быстро снижаться. И у самого горизонта камнем полетел вниз. И когда коснулся земли, над ней вспыхнуло ослепительное пламя.

Я глянул на Петрова. Он по-прежнему сидел прямо и уверенно вел машину. Казалось, он ничего не заметил. Но вот он стал поднимать свой ПО-2 и, набрав высоту, полетел прежним курсом. В ту же минуту я увидел наш истребитель. Он пролетел в стороне. Далеко впереди развернулся и помчался навстречу. Над нами покачал крыльями. Петров тоже покачал своими крыльями, так ответил на приветствие и отблагодарив за выручку.



Вот и дом Деминых. Он показался осиротевшим. Может, обитатели его выехали куда-нибудь? И я не узнаю, где Аня с ребятами?..

Но когда мы приблизились к забору, за ним раздался лай собаки. И сердце мое забило чаще. Нет, дом не покинут. Хозяева продолжали жить под его крышей. И я нетерпеливо постучал в глухую калитку.

Во дворе послышались шаги. И Поля певучим голосом спросила:

— Кто там?

Сдерживая волнение, я ответил:

— Открой, Полюша! Это я, Федя.

Она не открыла. Молча постояла за калиткой, словно у нее отнялся язык, и убежала в дом. Через минуту снова хлопнула дверь и послышались шаги. Теперь уже торопливые, беспорядочные. И у самой калитки раздался дрожащий голос Ильи:

— Кто тут? Что надо?

— Открой, Илюша! — попросил я. — Свои.

Только после этого звякнула задвижка и калитка подалась внутрь. Я вошел во двор и остановился перед ними — Аней, Полей и Ильей. Так мы стояли несколько мгновений. Потом Аня бросилась ко мне, обвила мою шею руками и зарыдала:

— Милый!.. Родной!

Я погладил ее черные волосы, в которых сверкала седина, обнял, поцеловал. Расцеловался с плачущей Полей, потискал за плечи изумленного Илью. И сказал, стараясь сдержать слезы:

— Ну, здравствуйте! И принимайте гостей. Незваных и неожиданных.

— Зато дорогих и желанных, — ответила Поля сквозь слезы. — Господи, слава тебе! За то, что сжалился над нами и не оставил детей сиротами.

— Успокойтесь, — попросил я. — И познакомьтесь с моим спутником. Не господь послал меня к вам, а он доставил на своем самолете...

Вошли в дом. Захотелось поскорей взглянуть на ребят. Они спали в маленькой комнате. Я поцеловал их, но будить не стал. Успеют насмотреться на своего папу.

На кухне что-то жарилось и парилось. Оказалось, они только что зарезали кабана и теперь делали колбасы.

— Собирались отправить Аню с детьми в Саблю, — пояснил Илья. — Там у нас дальние родственники. И мы решили, в станице будет безопасней.

— А чтобы не голодно было, харчишек решили приготовить, — добавила Поля. — Кабана для этого зарезали. Колбас наделаем, сало посолим, жиру натопим. Хоть на первое время. А там уж, что бог пошлет.

— Колбасами угощайте нас, — сказал я. — Аня с детьми поедет со мной. За ними прилетел. По пути в командировку. — И посмотрел на Аню, не спускающую с меня глаз. — Откуда у тебя седые волосы?

Аня приложила платок к глазам, глубоко вздохнула и сказала:

— Я очень беспокоилась. Ничего от тебя не было, никаких известий. И я послала телеграмму на твое имя. Только не на квартиру, а в ЦК комсомола. И оттуда получила ответную.

Она снова приложила платок к глазам. А Илья мрачно досказал:

— Сообщили, что ты погиб в бомбардировке.

Поля тоже заплакала и проговорила, сокрушенно покачивая головой:

— Я уж и за упокой души твоей отслужила. Специальный молебен заказывала...

Я вспомнил, как Таня говорила, что получили телеграмму жены, когда я был в Тихвине, и как ответили на нее, что я в командировке. Значит, телеграф командировку переименовал в бомбардировку и посеребрил волосы моей жены в ее двадцать шесть лет.

— Телеграф напутал, — сказал я. — В телеграмме было, что я в командировке... Да теперь вы и сами видите, что это путаница. Или не верите, что я живой?

Поля снова обняла меня, поцеловала и сказала:

— Верим, Федечка, что это не сон. А телеграф пусть бог накажет. За то, что заставил нас пережить такое горе.

Аня же сказала со вздохом облегчения:

— Мы много пережили. Но теперь рады, что это ошибка. И пусть у меня седые волосы. Зато я не лишилась мужа, а дети — отца...



Петров вылетел утром на следующий день. Он взял курс на Астрахань. Там собирался заправить самолет горючим и уже оттуда лететь к месту новой дислокации школы.

Поля, как родного, собрала его в дорогу. Наложилась чуть ли не полную авоську разной еды. Краснея от смущения, Петров от всего отказывался.

— Ну, зачем вы? — говорил он — Не надо, прошу вас. Я обойдусь.

В свою очередь, Поля настойчиво возражала:

— Не побрезгуй, ради бога! Ты ж для нас теперь свой. И мы ничего не пожалеем для тебя. Последним поделимся...

Привязались к летчику и ребята. Все время не отходили от него. Даже отец меньше интересовал их. Да и что удивительного! Они немало слышали о летчиках. И, конечно, больше всего о том, как те храбро сражаются с фашистами.

Володя даже попросил взять его с собой

— Буду летать с вами, — сказал он. — И учиться у вас. А как научусь, полечу и расстреляю Гитлера.

Разумеется, Валерий и в этом не уступил старшему брату. И так же серьезно попросил:

— Меня тоже возьмите, товарищ Петлов! Я тоже хочу летать и бомбить врагов...

Прошались с Петровым тепло. Аня назвала наш московский адрес. И попросила заходить, если придется бывать в столице.

— Будем рады, как дорогому гостю. Если, конечно, останемся живы...

А Поля даже прослезилась

Мы с Ильей провожали Петрова в аэропорт. А там стояли, пока самолет не растаял в дымчатом небе. Потом отправились на железнодорожный вокзал Кассирша сидела на месте, но билеты на поезд дальнего следования не продавала. Известно было, появятся ли они, такие поезда. Но дежурный по вокзалу оказался более осведомленным. Он сказал, что к вечеру ожидается пассажирский поезд на Баку, и приказал кассирше продать мне два билета на этот поезд.

☆☆☆

Сбором занялись Аня и Поля. Илья помогал им советами. А я решил сходить в горком комсомола. Может, есть какие новости? Или помощь какая требуется? Конечно, кроме как посоветовать, я ничего не мог. Но бывает, когда простое слово оказывается ценнее золота.

Перед входом в горком толпились ребята. Они о чем-то спорили. Вид у всех был взъерошенный.

Полно их было и в горкоме. С трудом удалось протиснуться в комнату секретаря. Это был все тот же парень с оттопыренными ушами. Он также узнал меня и весь расплылся в улыбке.

— А мы тут учимся, — сказал он и жестом показал на ребят, заполнивших комнату. — Истребительный батальон. Готовимся уничтожать вражеские танки...

И рассказал, как батальон занимается, что изучает. Они уже наловчились изготавливать «зажигалки» и теперь отрабатывали тактические приемы в обороне.

Явился пожилой человек в военном костюме без петлиц. У него не было левой руки, а пустой рукав гимнастерки заправлен под ремень. Он представился инструктором по подготовке истребителей. О ребятах, с которыми занимался, отзывался с похвалой. И с уверенностью заявил, что немцы, если окажутся здесь, не досчитаются многих танков.

— Встретим не хлебом с солью, а ненавистью и огнем, — говорил он чуть глуховатым голосом. — И немало похороним в нашей земле...

Не хотелось мешать им, и я собрался уходить. Но секретарь горкома, как в тот раз, прямо-таки вцепился в меня.

— Нет, нет! — говорил он, словно был моим хозяином. — Как это можно? Обязательно выступить.

Сейчас построим батальон, и ты скажешь напутствие. Это же будет здорово!

Батальон выстроился во дворе. Вихрастые подrostки, долговязые и худощавые, они собирались преградить путь жестокому врагу, насмерть схватиться с ним. Волнение охватило меня. И я горячо заговорил о Родине, которая была в опасности, о бесстрашных комсомольцах, сражавшихся за Родину.

Заканчивая выступление, я громко провозгласил:

— В бой, молодая гвардия! Ура!

Они ответили дружно еще не окрепшими, звенящими голосами:

— Уррра!..

☆☆☆

Долго звучал в ушах нестройный ребячий хор, пока не сменил его гнусавый гул, откуда-то нахлынувший на город.

Мы выбежали из дому и увидели фашистские бомбардировщики. Они летели совсем низко и в заходящем солнце казались охваченными пламенем. Вот первое звено, ревом сотрясая все, пролетело над нами. И совсем недалеко, должно быть, над вокзалом, из самолетов к земле устремились бомбы. Сразу же оттуда послышался беспорядочный грохот. И новое звено с фашистской свастикой на крыльях пролетело над нами. И на вокзал опять посыпались бомбы.

С улицы донеслись испуганные крики женщин и детей. Охваченные ужасом, минводцы бежали к Змейке — невысокой горе, покрытой мелкоколесьем. Встрепенулись Илья и Поля. Бросились в дом, со слезами причитая что-то. Вскоре выскочили оттуда с теми же слезными причитаниями. На голове Поля был жестяной таз, а Илья судорожно прижимал какую-то сумку. Они ринулись со двора, позабыв и нас и все на свете.

А мы продолжали стоять и молча смотреть, как звено за звеном «юнкерсы» летели к вокзалу, и слушать, как там рвались смертоносные бомбы. Между Аней и мной стояли Володя и Валерий. Они тоже молча следили за фашистскими самолетами, и детские глаза их были гневны.

Сбросив взрывчатку, последнее звено улетело на запад. И надо всем вокруг воцарилась тишина. Она казалась тяжелой и глушила сильнейшие бомбовых разрывов.

Но напряжение ослабевало, а нами всеми овладевала радость жизни. Я взглянул на Аню. Лицо ее все еще было бледно, зрачки черных глаз оставались расширенными. С усилием улыбнувшись, она призналась:

— Ой, как я испугалась! Стояла ни живая, ни мертвая. И все ждала: вот сейчас, вот сейчас.

— И я испугался, — сказал Володя. — Даже хотел заплакать. Но побоялся. Услышат фашисты и разбомбят.

— А я не испугался, — сказал Валерий. — Ни капельки. Даже поглосил им кулаком. Погодите, выласту, научусь воевать и задам вам пелцу.

Я подхватил его на руки, поцеловал в светлый висок.

— Ах ты, храбрец, дорогой наш герой! Да в кого ж ты у нас такой смелый?

— Я ни в кого у вас, — серьезно ответил Валерий. — Я сам в себя смелый.

С улицы донеслись возбужденные голоса. Возвращались горожане. Появились и Демины. Сконфуженная Поля несла в руках таз. А Илья прятал под пиджаком сумку. Они прошли в дом и почти тотчас вышли во двор.



— А я-то,— смущенно рассмеялась Поля,— таз на голову напялила. Будто он уберег бы меня.— И вытерла уголком косынки влажные глаза.— Чего только не бывает со страху!..

Мы шутили, а сами с беспокойством осматривали безоблачное небо. Но налетов больше не было, и мы мало-помалу успокоились. Илья даже вызвался сходить на станцию, чтобы узнать, как там. Может, дорогу разбомбили и поездов больше не будет? Я думал о том же. И уже собирался отправиться на шоссе, которое проходило за городом. По нему время от времени сновали грузовики. Может, какой шофер возьмется за плату подвезти нас хотя бы до Грозного?

Но меня опередил Илья. Он вернулся чуть ли не бегом.

— Бомбили депо,— сказал он, тяжело отдуваясь.— А на вокзал сбросили две фугаски. Здание сильно повреждено. Но главный путь не затронут. Сейчас с него убирают обломки, скоро будет готов к приему поездов. И первым будет бакинский. Он ожидается через два часа...

Мы решили сейчас же отправиться на вокзал, чтобы не прозевать этот, может быть, последний поезд, на который возлагали все наши надежды.



В Баку прибыли в полдень. За сутки с лишним измучились так, что еле держались на ногах. В вагон втиснулись с огромным трудом. Вчетвером угодили на одну среднюю полку. Володя и Валерий не слезали с нее. А нам с Аней даже присесть негде было. Так и простояли всю дорогу в забитом беженцами коридоре.

С вокзала я позвонил в ЦК комсомола Азербайджана. И через несколько минут к нам приехал Муталиб Бабаев с двумя парнями. Они погрузили нас в машину и повезли в гостиницу. Там уже готов был номер со всеми удобствами. И, когда мы вошли в него, Бабаев сказал:

— Видим, дорога была нелегкой. А потому отдыхайте. А как отдохнете, опять встретимся. Тогда поговорим обо всем...

Я проводил их в вестибюль. Некоторое время рассказывал о Москве. А когда вернулся, Аня уже заканчивала купать ребят. Потом она накормила их и уложила в спальню на одну кровать. После этого искупалась сама. И тогда настала моя очередь мыться в горячей ванне. И я до того разнежился, что уснул в воде. Разбудила Аня, звавшая обедать.

Ели нехотя, хоть и чувствовали голод. Слипались глаза...

Аня ушла в спальню и легла на другую кровать. А я устроился на диване в передней.

Какой-то стук разбудил меня. Выйдя в коридор, увидел смуглого парня. В руках он держал корзину, покрытую белой салфеткой. Я пригласил его войти. Он покачал головой и виновато улыбнулся.

— Мой не надо к вам,— сказал он на ломаном русском языке.— Мой надо передать вам это.— И протянул мне корзину.— Получай!

Я взял корзину, не зная, что в ней.

— Сколько надо платить?

Парень снова замотал головой.

— Ничего платить. От комсомола. Муталиб прислал.

Я поблагодарил его, решив рассчитаться с самим Бабаевым. Парень на прощание показал в улыбке белые зубы и помчался вниз по лестнице. А я с корзиной вернулся в номер. Аня, также разбуженная стуком, причисывалась перед зеркалом.

В корзине оказались апельсины, виноград, халва,

восточные сладости. На дне лежала бутылка красного вина.

Выбежали ребята. Обрадовались гостинцам. Набросились на сладости, которых не пробовали. Аня подкладывала им то одно, то другое и ласково приговаривала:

— Ешьте, дети! Это вам от хороших людей...

А я наблюдал за ней. Она заметно похудела. Но стала еще более стройной и красивой. Редкая прическа придавала лицу особую нежность. Горе посебрило волосы, но не состарило. Как видно, молодость не всегда поддается горю.

Явился Бабаев. Аккуратный, подтянутый. Лицо — смуглое, гладкое. В черных глазах — жаркий огонь. А на ярких губах — добрая улыбка.

Поблагодарив его за фрукты и сладости, я спросил, кому и сколько заплатить. Улыбка тотчас слетела с его лица. А глаза уставились на меня с укоризной.

— Вай-вай! — произнес он, покачав головой.— И у русских гость не обижает хозяина. Почему же ты обижаешь нас?

Я сжал его плечи и попросил прощения. Лицо его снова засветилось, потеплел и взгляд.

— Мы любим русских,— сказал он.— И считаем вас братьями. А братья должны помогать друг другу. Особенно в трудную минуту...

Из соседней комнаты донесся ребячий вопль. Аня бросилась туда, и там сразу воцарилась тишина. Бабаев, понизив голос, спросил:

— А как фамилия отца твоей жены?

Я сказал. Бабаев подумал, покачал головой.

— Нет, такой фамилии в Азербайджане не слышал.— И снова подумал, словно еще раз проверяя себя.— Такой фамилии в Азербайджане нет. Есть Аслановы, а Асановых нет. Наверно, она осетинка или чеченка.— И раньше, чем я ответил, спросил: — А пишется как?

— Русская,— сказал я и, встретив его удивленный взгляд, пояснил: — Ее прадед женился на русской. Дед тоже женился на русской. Отец — тоже. Так что осетинского или чеченского в ней мало. И она с полным правом считает себя русской.

Бабаев снова подумал, улыбнулся и согласно кивнул.

— Пусть будет русская. Но нам она родная. И мы полюбим ее. Как русскую и как нашу кавказскую.

Вышла Аня, достала из корзинки бутылку, поставила на стол.

— Вино разольем вместе,— предложила она.— И это будет, как положено у друзей.

Я откупорил бутылку, разлил вино по стаканам. Аня положила на тарелку виноград. Бабаев поднял стакан и громко произнес:

— За победу, дорогие друзья! За нашу великую победу!..



— А теперь еще об одном,— сказал Бабаев, заканчивая рассказ о том, что делал комсомол республики для фронта.— Ты помнишь наш разговор в Москве? — спросил он меня и, прежде чем я подтвердил, пояснил работникам ЦК, заполнившим кабинет: — Это было в первый день войны. Перед отлетом домой я зашел к нему попрощаться. Пожаловался, что многие комсомольские работники уйдут на фронт. А он мне: на девушек рассчитывайте. Они должны заменить ребят. И не только на производстве, а и в комсомоле. Я ответил: трудное дело. Обычай, предрассудки и все такое. Но по-пробуем. Может, война развеет суеверие.— И сно-

ва вскинул на меня черные глаза.— Теперь можем доложить. Девушки наши не подвели. Пошли и на производство и в комитеты комсомола. Заменяли призванных на фронт ребят.— И тепло улыбнулся.— Даже ЦК комсомола не испугались. Вот посмотри на нее.— И показал на молоденькую азербайджанку, сидевшую позади.— Наша Сорейя Мамедова. Работала учительницей в школе. Детишек грамоте учила. С ними разговаривала, шутила, веселилась. А перед взрослыми мужчинами глаза опускала. Так было до войны. А теперь работает вместе с нами в ЦК. Инструктором отдела пропаганды. И на собраниях выступает так, что заслушаешься.

Я посмотрел на Сорейю. Она ответила мне взглядом, полным гордости и достоинства. И словно бы взглядом этим сказала: «Смотри, сколько хочешь. Я не закрываюсь. И не стыжусь. Ничего не пожалею для победы над врагом...»

— Можешь доложить в Москве,— продолжал Бабаев, снова обращаясь ко мне.— Девушки наши проявили мужество. Они берутся за любое дело, какое поручает партия и комсомол...

Очень хотелось послушать, как выступает Сорейя, и я после разговора у Бабаева зашел в отдел пропаганды, чтобы поближе познакомиться с ней. Она встала из-за стола и подала мне руку, как будто мы не виделись. В ее крепком пожатии чувствовалась не только сила, а и воля. Все же, когда мы присели, она призналась:

— Все это правда. А только нелегко было решиться. Девушкам нашим со дня рождения внушают: мужчина — властелин, женщина — рабыня. И они так привыкают к этому, что стесняются поднять глаза на властелина. Но сейчас война. А это страшное несчастье. Гибнут люди, рушатся города и села. В такое время никто не может стоять в стороне.

Она хорошо говорила по-русски. Еще сильнее захотелось посмотреть ее на трибуне. Конечно, с трибуны она будет говорить на родном языке. И я ничего не пойму из того, что скажет. Но желание видеть ее перед народом, от которого она совсем недавно закрывала лицо, не становилось от этого меньшим. И я искренно огорчился, узнав, что в этот же день она уезжала в какой-то отдаленный район.

— Надо туда, очень надо,— сказала она, глядя на меня искрящимися глазами.— Дело важное поручено. И очень срочное...



Билеты на пароход были куплены заранее. В гостиницу за нами приехала целая группа комсомольцев. Ребята шутили, смеялись, но по глазам было видно, что им не очень весело.

В порт прибыли за полчаса до отплытия парохода. Ребята провели Аню с детьми в каюту, перенесли туда наши вещи. А меня Бабаев задержал на палубе.

— Немцы движутся в направлении Грозного.— Он скрипнул зубами.— Рвутся, несмотря ни на что. К нам в Баку торопятся.— По губам Бабаева скользнула едкая усмешка.— Ну, что ж, пожалуйста! Встретим и угостим. Да так, что навсегда запомнят...

— Не думал я, что немцы проникнут так глубоко. Недооценил врага.

— Да,— согласился Бабаев.— Мы все недооценили врага. Надеялись легко справиться с ним и обманули самих себя. А теперь вот за этот самообман расплачиваемся...

Пробасил пароходный гудок. На палубу вышли Аня с комсомольцами. Стали прощаться. Аня горячо поблагодарила Бабаева.

— Я никогда не забуду вас и ваших товарищей,— с чувством сказала она.— Вы так много сделали для нас, что я не знаю, чем отблагодарить. И буду рада, если нам когда-либо удастся сделать это.

— Мы уважаем и любим русских,— ответил Бабаев.— А вас полюбили еще больше. Потому что вы кавказская русская. И никакой благодарности не надо. Хватит, если будете помнить о нас...

Мы стояли на палубе и смотрели на берег. Он уходил все дальше и дальше. Вместе с ним удалялись и молодые азербайджанцы.

Вот они разом подняли руки. Мы тоже помахали им. И Аня тихо сказала:

— До свидания, дорогие друзья! Еще раз большое вам спасибо, товарищи!



Навстречу нам двигались огромные волны. Пароход врезался в них острым носом, и всего его обдавало пенящимися брызгами. А ветра совсем не было. И весь день сквозь дымчатую кисею, затягивавшую небо, просвечивало солнце.

Многие пассажиры валялись в каютах и трюмах, подкошенные морской болезнью, и только рев моря заглушал их стоны. А домочадцы мои, за которых я опасался, оказались крепышами. Они не вылезали из каюты и забывали обо всем за играми, которые придумывала Аня. А качка вызывала у них веселый хохот, когда они помимо своей воли валились друг на друга.

Сам же я больше проводил время на палубе. Я стоял, прислонившись к стойке, и смотрел вдаль, где море сливалось с небом и где серебристые гребешки волн плыли причудливыми рыбами. Стоять на палубе и смотреть вдаль посоветовал Бабаев.

— Тогда морская болезнь не пристанет,— говорил он.— Даже если на море будет десятибалльный шторм и если придется плыть не какие-то сутки, а многие дни и ночи...

Теперь на море было только шесть баллов, а оно казалось разъяренным. И я строго выполнял совет Бабаева. Но не только страх перед морской болезнью приковывал меня к борту. Могущество расшвырявшего моря, красота его неукротимой ярости владели мною, заставляли не сводить глаз с кипящей морской дали.

Иногда и Аня выходила на палубу. Она покидала каюту, когда голова начинала кружиться и когда чувствовала потребность вдохнуть морского просоленного воздуха. Тогда она прислонялась ко мне и молча смотрела перед собой. Она крепко держалась на ногах. Только взгляд был печальным. Да вздыхала как-то прерывисто, словно от душевной боли. Конечно, это не от морской качки. Но от чего же? Может, неизвестность беспокоила? Однажды она вскинула на меня затуманенные глаза и тихо проговорила:

— Милый, родной мой комиссар! Как я рада, что нахожусь с тобой! И как счастлива, что с нами и наши дети!

Я не сказал ей о своих намерениях. А не сказал потому, что и сам не знал, как поступить. Можно взять их с собой в Оренбург. Но все работники Главсевобуча были там без семей. В то же время семьи некоторых из них, эвакуированные в Ташкент, жили лучше, чем в других местах. Так не надежнее ли остановиться в этом городе?

И я до боли в голове думал над такой задачей. А с Аней не решался посоветоваться. Не хотел расстраивать раньше времени. Да и жалко было волновать на море, когда и без того нелегко было держаться на ногах. Конечно, не терпелось знать, что она сама думает об этом. Может, уверена, что мы теперь все время будем вместе? Вон ведь как выразила свою радость: «Милый, родной мой комиссар!..»

День быстро подходил к концу. А ночь чуть ли не мгновенно накрыла море темнотой. Накормив ребят, Аня уложила их на кровать, головами в разные стороны. И они, убаюканные качкой, тут же уснули.

Мы тоже поужинали раньше обычного. Впрочем, Аня ничего не съела, только выпила стакан чаю. Она по-прежнему была задумчивой. Но я не спрашивал, что с ней. Надеюсь, придет время, сама обо всем скажет. И, чтобы потопорить это время, сразу же после ужина улегся в постель.

Но Аня не торопилась. Она помыла посуду и принялась зачем-то перекладывать вещи в чемодане. Явно тянула время. Либо не хотела спать, либо ждала, когда я усну?

Наконец, она управилась, выключила свет, разделась и легла рядом. Я обнял ее, поцеловал. Она сняла мою руку с груди и сказала:

— Не надо, милый! — И глубоко вздохнула. — Тяжко на душе. Беспокоюсь за Деминых. Что будет с ними?

— А что может быть с ними?

— Все же знают, кто ты. А я, твоя жена, их родственница. Многие видели тебя в комиссарской форме. А если немцы займут город и узнают, что ты останавливался у Деминых?

Я помедлил и сказал, что думал:

— Илья уверен, что их не тронут. Не такой уж близкий я им родственник. Иначе он не остался бы дома. У него немало приятелей на Кавказе. В том же Баку мог укрыться. Так что, не волнуйся. А что до самого города... Я понимаю: тяжело, родина.

Я замолчал, ожидая, что она ответит. Но Аня тоже молчала, словно обдумывая мои слова. А потом сказала, выпустив мою руку:

— Давай спать, мой комиссар! А то завтра ребята рано встанут и не дадут нам выспаться.

Я поцеловал ее, повернулся на спину и вытянулся. Шторм заметно утихал. И каюта вместе с парходом покачивалась плавно, успокаивающе.

☆☆☆

В накинутом на плечи пальто Аня сидела перед настольной лампой и что-то шила. Уже спавшие ребята были укутаны теплым одеялом. Гостиница не отапливалась, и в номере, где мы остановились, было холодно.

Расстегнув шинель, я подсел к Ане. Она опустила шитье на колени и с улыбкой глянула на меня.

— Устал, мой комиссар?

Я чувствовал усталость, но отрицательно покачал головой; ради ее спокойствия позволил маленький обман.

— А как прошло совещание? — продолжала она.

— Очень хорошо, — ответил я. — В общем, думаю, дела наши тут поправятся... — И заглянул в ее, казавшееся побледневшим, лицо. — А ты замерзаешь?

Аня посмотрела на ребят, и глаза ее стали тревожны.

— За них опасюсь. Без конца возятся, разогреваются, а дышат холодным воздухом. Как бы не простудились...

В дверь раздался стук. Это был Рахимов, первый

секретарь ЦК комсомола Узбекистана. Мы уже поделились с ним. На другой день после приезда в Ташкент я долго разговаривал с руководителями комсомола республики. А потом, когда мы остались одни с Рахимовым, сказал ему, что приехал с семьей, которую вынужден оставить здесь.

— Завтра пойду в горсовет и запишусь в очередь на жилье.

Рахимов заметил, что ходить никуда не нужно, и пообещал сделать все необходимое.

— Не беспокойся, — говорил он. — Все будет, как надо. Шефство над семьей твоей возьмем. И не по обязанности, а с радостью...

А теперь вот явился в гостиницу. Коренастый, с хмурым лицом и узкими, острыми глазами. Вошел неторопливой походкой, крепко пожал мне руку, кивнул Ане. Я познакомил их.

— Простите, что поздно, — сказал Рахимов. — Раньше никак не мог. Дел много. Такое время... Внезапно он дохнул перед собой и, заметив вырвавшийся изо рта пар, покачал головой. — Нехорошо. Как на улице. — И снова подышал. — Даже холодной. На улице этого не видно. Так нельзя. Никуда не годится.

— Самим еще терпимо, — сказала Аня. — А вот дети... За них боимся.

— Да, дети, — повторил Рахимов. — Их надо беречь. Они ж такие... Чуть что, и захворал. — И посмотрел на ребят. — Якши пацаны. Хорошие ребята. На папу и маму. Туда и сюда. — И рассмеялся. — А у меня пятеро. — И сжал в кулак пальцы. — Четыре мальчика и девочка. Тоже якши пацаны.

— Все дети хорошие, — сказала Аня. — Плохих детей нет. Это мы бываем плохие, родители.

— Правда, правда! — подтвердил Рахимов. — Плохих детей нет. Есть плохие родители. А у меня хорошая жена. И мать детей тоже хорошая. — И кивнул Ане. — Я познакомлю вас. Она понравится. И ребята понравятся. Такие же, как ваши. Только ваши беленькие, а наши черненькие. А во всем другом — одинаковые. И тоже туда и сюда.

И снова рассмеялся. Посмеялись и мы. Но посмеялись из вежливости. Смешного в том, что говорил Рахимов, не было. Да и смеялся он как-то странно, словно притворно. Изо рта вырывались подрипловатые звуки, а глаза оставались настороженными.

Под конец Рахимов хлопнул меня по плечу и сказал:

— За них не беспокойся. Все сделаю. Устрою, как надо. Сам займусь. Никому не передоверю. Даю слово. А слово мое для меня закон.

— А может, нам обратиться в горсовет? — сказала Аня. — Как делают другие эвакуированные. Чтобы не обременять вас.

Рахимов непонимающе посмотрел на нее. Потом повернулся ко мне.

— Что такое «не обременять»?

— Не затруднять, — пояснил я. — Не беспокоить.

Рахимов снова перевел взгляд на Аню и осуждающе покачал головой.

— Нехорошо, Аня! И обидно. Наша обязанность. И мы выполним ее. Долго тут не будете. Да тут долго и нельзя...

Мы прозодили его. В вестибюле простились. И со смешанным чувством надежды и тревоги вернулись в холодный номер.

(Окончание следует.)



ВЛАДИМИР ИЛЮШЕНКО

☆☆☆

Черпнешь воды со дна
Бездонного колодца —
И музыка слышна,
И сердце мерно бьется.
В строке жужжит пчела.
Как в чашечке цветочной.
И легкая стрела
Летит в десятку точно.

☆☆☆

Утешусь корою в натеках смолы.
Тропинкой в накрапах дождя.
Глаголы природы просты и милы,
И нам забывать их нелзя.
Не думай, не думай, что ты у меня
Отнимешь и сон и покой.
Утешусь звездой, игрою огня,
Корою, тропинкой, рекой.

☆☆☆

Ты музыка моя, а я твой музыкант.
Учу твои лады певучие прилежно
И, проникая вглубь настойчиво и нежно.
Дивлюсь твоей любви сокрытым языкам.
Ты музыка, а я неопытный флейтист.
За что ты мне дана, беспечному! —
не знаю.

Но, напрягая слух, тебя перелагаю
Для всех и для себя, для зала и кулис.
Ты свет, а я свеча. Ты путь, а я ходок.
Веди меня и впредь по берегу над бездной.
Покуда на дворе грохочет лист железный,
Зови и наполняй пространство между строк.

☆☆☆

Кузничек, одолжи мне свою степную дудку.
Хотя бы на минутку, не в шутку, а всерьез —
Я выкину коленце пронзительно и жутко.
Я к вечеру отвечу на каверзный вопрос.
Выходят на поляну из леса великаны,
А я, представьте, с каждым давно уже знаком.
Березы неустанно зализывают раны
На синем покрывале зеленым языком.
И в вечной перекличке поляны и березы.
Кузничика и дудки, малины и бугра
Нет ни словечка прозы, а просто льются слезы
Легко и беспечно, как солнышко с утра.



АЛЕКСАНДР ГЕВЕЛИНГ

На ржевском направлении

Анверу Бикчентаеву

Мимо стрекота сорочьего,
бересклета и маслят,
И всего такого прочего,
чем лесной большак богат,
Мимо выгона совхозного
и почти забытых рек,
Мимо рощи неопознанной
шел усталый человек.

И машинные и пешие,
С кем встречался он сейчас,
Признавали в нем нездешнего:
И скуласт и узкоглаз.
Из расспросов осторожных он узнавал
свои пути,

Только вот деревню Ножкино
Ну никак не мог найти.
В сельсовете спросит заново.
Отвечает сельсовет.
Есть Алексино, Мартьяново,
А такой деревни нет.
Человек в недоумении, непонятные дела,
Здесь, на Ржевском направлении,
Ведь была она была!
Палисадники с сиренями.
Прошлогоднее жнивье.
И «паптежники» с сиренами заходили на нее.
Навсегда остались в памяти
Цвет небес и запах трав.
Где-то здесь в февральской замети
Опустел его рукав.

Может, эти сосны видели в стародавние года,
Как башкирская дивизия
здесь осталась навсегда.

Нет должно быть, под бомбежками
Из-под черного крыла
Занялось пожаром Ножкино и растаяло дотла.
И деревни той в помине нет
В статистической графе
Ни в Москве и ни в Калининe,

ни тем более в Уфе.
Нет ни радостей, ни горя ей

ни движения вперед
И живет она — в Истории,
в вечной памяти живет.

Человек идет обочинной по дороге столбовой,
Суетой не озабоченный,
с переполненной душой.

А вокруг него движение,
Гул моторный птичий гай.
Здесь, на Ржевском направлении,
Убирают урожай.



МИХАИЛ ЛВОВ

☆☆☆

Гнусные мысли стихов нам не дарят.
Я замечал не однажды сие...
А угнетают и душу нам дают.
Гнусные мысли гасил я в себе.
Дерзость новатора, мерзость сектанта —
Разные вещи. Их не совместить.
Могут быть разные меры таланта.
Можно таланты, как шпаги, скрестить.
Всю свою жизнь занимаюсь стихами,
Мэтры учили меня мастерству...
Душу держать в чистоте, словно зная,—
Вот мастерство наше, по существу.
Вот мастерство наше. Этим живу.

Магнитофон

Когда война происходила,
Собой заполняя явь и сон,
Мне в голову не приходило
Приобрести магнитофон...
...Тогда бы внес не каплю-ленту
Я в Книгу Песен про войну—
Пройдя в длину и в глубину,
Я б все накручивал на ленту,
Ничто не кануло бы в Лету! —
Я все б записывал войну.
Такой бы мог я эпос выдать,
Что от Эпохи не отъять,
Неохватимое увидеть
И необъятное объять...
Ах, был охват бы колоссален!
...Словами, а не голосами,
Не техникой, не чудесами —
В краю родном,

в краю чужом
Я записал войну глазами
(И не глазами кинокамер),
Душою и карандашом.
Не методами скоростными,
А книжечками записными.
Когда сижу над дневниками,
Я достаю как бы со дна
Тот материк — под ледниками —
Планету с именем Война...
Я достаю ее обломки,
Ее осколки достаю:
— Смотрите, дети и потомки,—
На Атлантиде я стою.

Она все глубже год от году.
...Теперь повсюду по Стране
Магнитофон нашел работу,
Чтоб черпать память о Войне:
Из воина, из полководца,
Из ветеранов достает,
Как ворот — воду из колодца,
За днями — дни, за годом — год.

☆☆☆

Я неделю певец,
А неделю я — «чтец»:
Напишу и хожу по журналам.
И тому, кто «сосет леденец»,
Я кажусь очень «опытным малым»...
Только это неправда как раз...
Никуда от наива не денусь...
Я хожу без игры и прикрас,
И работаю не напоказ.
Есть и дерзость,
а более — детскость...
Но прекрасная наша советскость
Выручает меня

каждый раз.

И вот именно ей
и молюсь.
Защищаю, и верю, и славлю;
Во главу поведения ставлю,
Потому и душой не сломясь.

☆☆☆

Были классики щедры!
Щедрость внукам завещали!
Не скупились на дары!
Не «гонялись» за вещами.
«Гнались» — в чистоте — стрелой
За мелькнувшим в танце платьем.
И классическим объятьем
Обнимали мир — строкой!
И легки, и глубоки,
Не «вгоняли» дух в скрижали —
Взлетом эллинской строки
Сразу жизнь преобразжали
И для тысяч и для двух.
До сих пор не устарели
Этот образ, этот дух,
Даже смертные дуэли.

☆☆☆

Мы — две души — нашли друг друга.
И как друг друга
мы нашли!
Что нам слова: «супруг», «супруга»!
Две жизни мы. Мы две души.
Друг другу счастье не испортил,
Пусть расцветают две души.
Я против нищих чувств,
я против
Размена сердца на гроши.
Счет потеряв душевным ранам,
Вернусь домой:
там есть Душа!

Проснусь —

Душа живая рядом!
И снова
жизнь так хороша!



БАРОТ БАЙКАБУЛОВ

СОНЕТЫ О ЛЮБВИ

☆☆☆

От улыбки младенца уста раскрывает бутон,
И цветной аромат развеивает по улицам ветер.
Над его изголовьем зажигает звезду небосклон,
И поет соловей о зеленой весне на рассвете.

На свидание с ним день, встающий в лучах,
 устремлен,
Устремляются реки, устремляются гибкие ветви,
И весна устилает тюльпанами солнечных склон,
И шумят провода, словно в бурю рыбацкие сети.

И от смеха младенца все цветы раскрывают уста,
Их улыбка его и сияние глаз согревает.
И смеется грядущее смехом его неспроста,
И весь мир перед ним свою книгу чудес
раскрывает.

**Спит малыш в колыбели. И покой у него на челе,
И улыбкой его освещается все на земле.**

☆☆☆

Развалинами кажется мой дом,
Руинами былого — без тебя,
Не дом, а словно прах земной кругом,
Печаль моя сурова — без тебя.

Светильник не зажжется снова в нем,
Грусть сумрака ночного — без тебя,
Луна не взглянет, не пахнет теплом
Из утра заревого — без тебя.

Живу я неприкаян — без тебя,
 Душа и плоть, как пламень, — без тебя,
 И жемчуг только камень — без тебя,
 Любовь навеки канет — без тебя.

**Душа, как сиротина,— без тебя,
И дом мой, как чужбина,— без тебя.**

Перевел с узбекского
В. ЦЫБИН.



**ХАЛИМА
ХУДАЙБЕРДИЕВА**

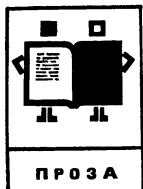
☆☆☆

Снова жизнь прекрасна, как сначала,
Снег пушистый присыпает путь.
Все, что я сегодня потеряла,
Пусть отыщет завтра кто-нибудь.
Не страшны потери, если верить,
Что не пропадает ничего,
Что, и правда, от твоей потери
До находки чей-то — шаг всего.
Жизнь всегда потерями чревата.
Жизнь всегда находками богата,
И звезда, что светит нам сейчас,
Может, чья-то давняя утрата,
Может, взгляд, померкнувший когда-то,
За тысячелетие до нас.
И слова, что я ищу в пыли
Тайников моей родимой речи,
Это звуки, что мои предтечи
Потеряли или не нашли.
Все, что в строчки тщуся я воплотить,
Тщуся я выразить в словах нечетких,
Это то, что предки, может быть,
Потеряли, чтобы не лишить
Нас теперь возможности находки.

☆☆☆

Буду я несчастной и голодной,
Будет что ни час беда сильней,
Пусть о том узнает кто угодно,
Кроме старой матери моей.
Людам что беда моя — кручина.
Только мать помочь захочет мне,
Взвалит боль мою себе на спину
И от этого мою кручину
Нехотя утяжелит вдвойне.
Ну, а если радость белым светом
Озарит меня в один из дней,
Пусть никто не ведаёт об этом,
Кроме старой матери моей.
Радостна ль чужая радость людям!
Кто-то за нее меня осудит,
Кто-то позавидует всема.
Только мать, узнав, счастливей будет
Даже более, чем я сама.

Перевел с узбекского
Н. ГРЕБНЕВ



СТАНИСЛАВ
ДОЛЕЦКИЙ



РАССКАЗ

ЗАПИСКИ АКСЕЛЕРАТА

Раскройте любой журнал, газету, включите радио или телевизор, и вы обязательно встретитесь со знакомой, животрепещущей темой — воспитание детей. Бывают варианты: воспитание подростков, взрослым о детях, дошкольное воспитание. И даже малолетние преступники. Но скажите честно: много ли вам приходилось читать о том, каким образом нам, подрастающему поколению, которое должно быть, по общему мнению, лучше своих родителей, воспитывать их? Всем известно, что наши родители далеко не ангелы и нуждаются в воспитании. Мы, молодежь, хорошо знаем, в каких редких и печальных случаях наших родителей воспитывают на работе: нарушение трудовой дисциплины, недостойное поведение... А вот отношения с нами — детьми и подростками? Пришло время заняться этим делом нам самим. Мой отец любит повторять: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих!» Вот именно.

☆☆☆

Сейчас каникулы. Позавчера я сломал ногу. Точнее, не ногу, а лодыжку. И не сломал, а подвернул столу, и получилась трещина кости. Поскольку мне делать нечего — наш класс уехал на экскурсию в Ленинград, — то я решил разобраться с воспитательным вопросом.

Наверное, всем известно, что родители очень любят нас воспитывать. Но делают это самым непонятным образом. Дают много ненужных советов. Доставляют нам огорчения. Обижают. По пустякам устраивают разнос на всю катушку. По серьезному делу — не обращают внимания. А сами?! Сказать неловко, какие примеры они нам подают. Нам трудно их воспитывать, потому что мы еще никогда не были взрослыми. Они нам непонятны. Но ведь взрослым намного легче: они были детьми. Почему же они так основательно все путают? Наверное, просто забыли свое детство?

☆☆☆

В моем рассказе будут участвовать восемь человек. Больше не нужно. Мама. Добрая. Тихая. Красивая. Она не работает из-за болезни. Хозяйничает дома. Отец. Серьезный. Много трудится. И дома тоже. Он руководящий работник, но не большого значения. У него нет своей машины. Никакой — ни государственной, ни собственной. Оба они немолодые. Женились после войны.

Еще моя сестренка Ирка. О ней писать нечего. Только поступила в школу, а уже перед зеркалом вертится. И ябеда к тому же.

Дядя Вася, старший брат папы, и тетя Маша — физики, ученые. Странное дело, но они оба на вид гораздо моложе наших родителей, худые, веселые, много смеются.

Рисунки
А. САЛЬНИКОВА.

Их сын, мой двоюродный брат Виктор, такой же. У них долго не было детей. Они долго ждали Виктора. Поэтому мы с ним одноклассники.

И Таня — моя подруга. Вот, кажется, и все. Можно приступать к рассказу.

☆☆☆

Начнем по порядку. Больше всего неприятностей у меня бывает из-за точности. Вернее неточности.

«Ты должен держать слово. Обещал прийти домой в девять — приходи минута в минуту. Я нервничаю. Мать волнуется. Свинство это». Почему свинство, непонятно. Разве свиньи могут быть точными или неточными? Зачем я должен быть точным? Мать каждый день говорит отцу: «Папа, ты обещал быть в семь дома. Опоздал. Неужели трудно было позвонить? Поручил бы Зинаиде Петровне (это секретарша отца)». Отец отмалчивается или просто раскритикует о сумасшедшем доме на работе: кругом все горит, ему не до этого.

А может, у меня тоже сумасшедший дом? Мы с ребятами выпускали стенгазету. Все разбежались по домам. Пришлось ее вдвоем с Таней делать. Про Таню будет отдельный разговор в разделе о любви.

А теперь пора рассказать про наших родных, дядю Васю и тетю Машу. У них дело в точности поставлено, как на часах театра кукол Образцова, — секунда в секунду. В их семье так всегда было заведено. Вот, например, как-то сидели у нас. Виктор обсуждал что-то с Ирой. Я крутил диски. Вдруг Виктор посмотрел на часы и как сумасшедший кинулся одеваться. «Куда ты?» — спросил я его. А у нас как раз испортился телефон. «Позвонить матери. Я обещал в восемнадцать ноль-ноль!..» И исчез. Когда он вернулся, я поинтересовался: «Что за глупости? Бежать сломя голову. Пять минут раньше — пять позже. Какая разница?» «В каждом монастыре свои правила», — ответил Виктор. — У нас дома говорят так: «Лучше на пять минут раньше, чем на пять секунд позже». «Извини меня, но это уже совсем глупость!..» «Нет, не глупость», — сказал Витя, — когда ждешь, нервничаешь. А если звонят досрочно — приятная неожиданность». «Так твой отец говорит?» «Нет, мать». «Может, и хорошо, но хлопотно». «Зато без нервотрепки и нотаций!..»

В общем, когда меня с моей неточностью допекли, я придумал первую воспитательную меру. Я написал письмо отцу. Анонимное. Вернее от имени одного парня из нашего класса, который на самом деле не существует.

Вы не замечали, что когда думаешь о чем-нибудь, то мысль бывает словно с размытыми краями? Если напишешь на бумаге — становится более четкой. Сразу видны дурацкие повторения: «которая», «эта». Когда печатаешь на пишущей машинке, то будто тебя поставили на рельсы: катишься точно в одном направлении. Никаких зигзагов.

Вернусь к своему письму. Я старательно изменил собственный стиль. Написал, что нельзя требовать точности, когда жизнь у всех трудная. И право на точность дается только при условии быть точным самому. Иначе получается игра в одни ворота. Вы думаете — как отреагировал мой отец? Мне он не сказал ни слова! Я бы на его месте сейчас же поговорил со своим замученным сыном.

Видно, они беседовали на эту тему с матерью. Ровно неделю они играли в игру «маленькие точности», показывая мне, какие они деловые и пунктуальные люди. А потом им это надоело. Отец по-

старому опаздывает. Мне по-старому достаются вытканы.

Как видите, моя первая воспитательная акция успехом не увенчалась.

☆☆☆

Вторая беда — с моими плохими привычками. У меня их целая бездна. «Не сутулься!», «Не грызи ногти!», «Не чавкай!», «Не чешись!», «Помой руки перед обедом!», «Не ешь так быстро!», «Постригись — оброс, как папуас!», «Чего ты уставился в одну точку! К тебе ведь обращаются!», «Опять валяешься на диване!», «Сделай проигрыватель потише — у всех болит голова!». Такое слушаешь каждый день и без конца.

Нужно быть справедливым. Не все недостатки я беру у родителей. Они моют руки, не кусают ногти, не чешутся, не чавкают, правда, отец как-то мне признался, что в детстве и у него были эти привычки. А потом постепенно исчезли.

Но тогда я не пойму одного: зачем они так волнуются и меня мучают? Наверное, и у меня эти привычки постепенно отомрут. Чего зря парь пускаться!

Сутулюсь и смотрю в одну точку я точно так же, как отец. Тут спора нет. Мать мне говорила. Значит, наследственное. С этим бороться трудно. У Виктора родители держатся прямо — и он тоже. Нет вопроса!

Чего же с меня требовать? Против природы не пойдешь!!

☆☆☆

Отдельный разговор насчет музыки. У каждого свои вкусы и привязанности. Возьмем мать. Она любит оперу и оперетту. «Евгений Онегин», «Аида», «Сильва» или «Золотая долина» — радио играет на всю кухню.

Вкусы отца «более современные». Песни Отечественной войны, Утесов, Шульженко.

В консерватории их «потолок» — Чайковский и Рахманинов.

А где, я вас спрашиваю, сегодняшние певцы? Где «Песняры»? Где Чижик, лучший пианист? Не говоря уж о кантри-мюзик, бит-ансамблях. Они их не знают и не уважают.

Кстати, тетя Маша — да и дядя Вася с ней соглашались — считает, что современная музыка прекрасна. Только относительно песен у них другая точка зрения: «Хорошие стихи и серьезная музыка требуют подготовки, духовной зрелости». «К ним нужно хорошее сухое вино», — добавляет дядя. Вообще-то он мог бы и помолчать, потому что вообще ничего не пьет. «Слабые стихи со средней музыкой часто называются хорошей песней, ведь она пройдет в любые уши, без усилий».

Тетя Маша объяснила так, что все должно быть в пропорции. Если нас заполнили песни, то на стихи и музыку остается меньше места. А это плохо. Не знаю, кто из них прав. К сожалению, Виктору на ухо слон наступил и он в таких случаях отмалчивается. Он сам стихи пишет, поэтому его мнение нельзя считать объективным.

Решил я попробовать воспитывать практически образом вкус своих родителей в области современной музыки. Потребовалось приложить необычайно мощные усилия. Первое — уговорить родителей. Как ни странно, они все же поддались на провокацию. Хотя мать потом мне призналась: «Твой отец сказал мне: пойдём посмотрим, не слишком ли мы устарили!» Все-таки стремление к прогрессу у них имеется. Второе — достать билеты. Помог дядя Ва-

ся. У них в институте время от времени устраивают концерты современной музыки, выставки авангардистов—художников и скульпторов. Билеты мы получили отменные Третье— нужно было пристроить Ирку. Вышло просто: Виктор согласился прийти к нам и провести с ней вечер. Делает он это охотно. Но здесь другая история, довольно сложная, и к ней я вернусь.

Пошли впятую. Концерт был незабываемый. Играли три группы. Все в разном стиле. В заключение выступил один нестарый мужчина в бархатном пиджаке,—как пояснил дядя Вася, из их фирмы, почти академик,—и сказал что по ряду параметров группы не отстают от известных зарубежных коллективов. Не хватает им профессионального мастерства и оригинальности в смысле национального колорита. Откуда физики во всем этом разбираются, непонятно. Но сущая правда.

После концерта мать сказала, что у нее от грехота разболелась голова. Дядя Вася согласился с ней, что децибелов было многовато. Еще бы! Шесть динамиков.

Отец удивил меня. Он заявил, что некоторые вещи ему определенно понравились. Но для первого раза их было многовато и на самом деле громко. «Вы знаете, друзья,—обратился он к нам,—когда мы с матерью бываем в консерватории, мне кажется, что оркестры стали играть тише, чем раньше, лет 10—20 назад. Я даже подумал, может быть, у меня склероз в ушах, хуже слышу. А теперь я понял. Нас окружает такой шум и грохот, к тому же он добавляется динамиками, что даже весь симфонический оркестр конкурировать с ними не в состоянии».

После того концерта отец к моей музыке стал относиться если не с удовольствием, то с большей терпимостью. Можно считать, что эта воспитательная мера была удачной.



Меня терзают домашние дела. С самого моего раннего детства что-то неправильно сложилось в нашей семье. Отец в воскресные дни куда-то не ходит. Мастерит, чинит что-то. Сколько раз я его просил: «Дай помогу, па. Покажи, как это сделать? Давай вместе поработаем». Ответ один: «Отстань! Не мешайся, не путайся под руками. Твое занятие — хорошо делать уроки!»

Прошло немного времени. Теперь все переменялось. Хозяйственные поручения сыплются на мою голову, но лишь как наказание за грехи. Получил тройку — натри полы, опоздал домой — сходи в химчистку, порвал рубашку — почисти всей семье ботинки. Совсем по роману Достоевского «Преступление и наказание».

Когда я вырасту, постараюсь ничего не делать. Устроюсь на такую работу, чтобы давать указания, распоряжаться, а работают пусть другие. Не подумайте, что это серьезно. Шуучу.

Самое интересное, что у наших родных — дяди и тети — дело обстоит как раз наоборот. Они с первых дней жизни приучили Виктора работать — на нем весь дом держится. Конечно, ему полегче, у него нет сестры. Но он ведь сознательный: «Отец и мать деньги зарабатывают, а на меня ложатся другие нагрузки». Покупки, химчистка, прачечная, он даже помогает матери гладить и пришивать пуговицы. А с дядей Васей они всю столарку и слесарку освоили. Но мне кажется, что они не пример. Два физика в семье. Они точно подсчитали, сколько минут на какое дело тратится, кому что положено. Так вот и живут — колхозом. Когда я к

ним прихожу всегда помогаю. У них весело и славно.

Жаль, что в нашем доме не так. Однако и в этом случае я решил принять свои воспитательные меры. Пусть моя жизнь сложилась плохо. Отец лишил меня радости трудиться с ним вместе. У Ирки, хотя она и «отрицательная величина» — так я называю ее за разные антиобщественные поступки, — жизнь еще впереди. Портить эту жизнь я позволить не могу. Мать в отношении Ирки вела себя точно таким же образом, как отец вел себя со мной. «Иди, девочка, в комнату. Подрастешь, еще намучаешься. Поиграй, пока детство не кончилось». А детство у Ирки уже кончилось. По себе знаю. Детство — это когда ты свободен и не имеешь никаких обязанностей. Поступил в школу — конец свободе. Каждый день уроки спрашивают, ставят отметки, дают задания на дом. Ну, не в этом дело. Пошел я к матери и серьезно с ней поговорил. К разговору я подготовился и на все ее возражения сумел ответить. Сразу скажу: победа была полной. Не думайте, что она досталась просто. Мать у меня добрая и, как ни странно, самокритичная женщина. Эта черта женщинам совершенно несвойственна. Поверьте моему опыту. Они лучше выпрыгнут в окно, чем признают свою ошибку. Даже Татьяна. Вы полагаете, я мать на логику взял? Самая большая ошибка — думать, что женщину можно убедить логичным доводом. Когда довод железно логичный, они начинают плакать. И тогда ничего не поделаешь — приходится уступать или говорить ерунду вроде: «Ты сегодня хорошо выглядишь» или «Тебе очень идет этот сарафан!». Нет, логикой никакую женщину не возьмешь.

С мамой я добился своего старым приемом, описанным в одной книжечке о том, как приобретать друзей, или что-то в этом духе. Книжка ходила у нас по рукам в школе. Там имеется такой совет: «Старайся вопрос ставить так, чтобы собеседник был вынужден ответить на него утвердительно». Иначе говоря — «да». Но это путь логики. А следовательно, для женщины совершенно непригодный. Поэтому я построил вопросы так, чтобы мама давала на них отрицательный ответ. «Мама, что тебя научил так хорошо готовить обед? Папа?» Вы не поверите, как мать смеялась надо мной. «Какой же ты дурачок!» Оказывается, она помогала и матери и бабушке, когда была еще маленькой девочкой. Чувствуете, маленькой! А Ирка у нас в четвертом классе, дылда здоровая, даже грудь появилась.

Дальше было легче. Вопрос ставился за вопросом. О шитье. О штопке. О стирке. О глажке. И о разной женской работе.

А потом я вбил гвоздь. Даже два гвоздя. «Ты подумай, ма, пройдет лет шесть—восемь, выйдет она замуж и ничего не сумеет. Кому она такая нужна? Вчера перед сном она, знаешь, как плакала, что ты ее не учишь хозяйственным делам. Что же ей, к родственникам для этого ходить? Как я, несчастный человек, делаю? Скажи, разве это хорошо? Она же девочка. Ей хочется с тобой и поиграть и помочь тебе. Вот и играйте на кухне вместе!»

Насчет Иркиного замужества мне попало. А в остальном лед тронулся. Ирка у нас в порядке. Трудится с матерью вместе, и шушукуются они, как две подружки.



Большие неприятности были у меня с матерью. Расскажу о них самым подробным образом.

Однажды — это произошло еще в шестом классе — пришел я из школы. Она меня, как всегда, поцеловала и тут почувствовала запах папиросного ды-

ма. Она ударила меня изо всей силы по лицу. Долго плакала. Мне было ее жалко. Я обещал ей не курить. Теперь она уже привыкла.

Второй раз — это случилось года два назад, когда мы пришли после Танькиного дня рождения. Отмечали днем, пока дома никого не было. Мать унюхала что пили водку. Что здесь было! Конеч света. Она сказала отцу. Тот чуть не убил меня.

Ничего, понятно, не изменилось. Когда мы собираемся компанией, то всегда скидываемся. Диски слушаем. Обсуждаем хоккей и другие дела.

В доме у наших родственников к этому отношению иное. Они не курят. Не привыкли смолоду. Витька — тот всегда отнекивается. Его мальчишеской мать нарочно отравила как-то папиросами так он до сих пор не забыл. Вино у них в доме всегда имеется. Любые напитки. Но выдают они только смесь, слабые коктейли или сухое вино. «Удовольствие есть а вреда меньше», — заявляет тетя Маша.

Когда мы идем к ним в гости, отец обязательно берет с собой или бутылку водки или коньяка: «Заставят свою бурду пить — никакой радости». С отцом у нас беда. Он любит выпить. И даже в одиночестве. На праздники выпьет три-четыре рюмки — глаза у него начинают смотреть в разные стороны. Он веселый, смеется. Не то что трезвый. А потом дремлет. Гости веселятся без него. Видеть это грустно. Пробовал я с ним говорить. Без толку. Сердится. «Не путайся не в свое дело. За собой смотри!» — вот и весь разговор. Не знаю, хочет ли он бросить выпивку. Но, наверное, теперь уже и не может от нее отказаться. Когда у меня терпение с отцовской выпивкой лопнуло, решил я провести два воспитательных мероприятия. Мне казалось, вопрос такой серьезный, что нужно поставить отца между накопительной и молотом.

Первое мероприятие — сочинил я письмо от имени нашего завуча. Почему завуча? Отец как-то давно ее видел и сказал мне между прочим, что она — женщина его типа. Я сразу решил уточнить, что значит его типа? Оказалось — брюнетка, волевая и серьезная. В общем, полная противоположность маме. Она у нас блондинка, мягкая и веселая. Я даже подумал: неужели так во всех семьях бывает, что люди женятся на женщинах не своего типа? Мы были со школой в театре, там один из персонажей так и сказал: «Что такое любовь по-русски? Любишь одну, живешь с другой а женишься на третьей». Хорошая пьеса «Валентин и Валентина» называется.

В письме кратко, по-деловому написал, что сын пришел к ней посоветоваться. Что дома отец теряет здоровье. Что сын и сам чего доброго начнет пить, хотя еще не начал. И в таком духе.

Второе мероприятие — семейный совет. Заранее я обсудил сценарий этого совета с мамой и Иркочкой. Она хотя и балда но поняла свою задачу сразу. Когда я ей подмигнул, Ирка по-настоящему так заревела что отец перепугался и побежал за валерьянкой. Разговор был у нас длинный. Отец нам все наобещал. Но толку никакого не получилось. Непонятно он продержался. А потом мать нашла на кухне, за помойным ведром недопитую бутылку. Оказывается, он перед сном прямо из горлышка выпивал. Ничего не помогает. Наверное, до той поры, пока его или инфаркт или удар не хватит, он ни пить, ни курить не бросит. Неужели и я таким стану как он? Нет. Постараюсь держаться в рамках...

Самый трудный разговор теперь. Был у меня такой случай. Собрались мы с ребятами на день рождения у одного нашего друга. Родители его ушли, чтобы не мешать нам повеселиться.

Ничего особенного не было. Время мы проводим скучно. В разных домах, с разной компанией. Иногда бывают любопытные парни, девчонки. Но это случайно. Вот дома у наших — дяди и тети — всегда хорошо. Есть о чем поспорить, поговорить. Недавно вышло так, что все мы посмотрели новый фильм под названием «Неоконченная пьеса для механического пианино». Тетя Маша затеяла спор: что в картине хорошего и что плохого. Ну, нам пальца в рот не клади. Моя Танька — дочка кинокритика. Она про кино все знает. Говорили о международном уровне режиссуры, актерской игре. А операторская работа — чудо! Чехов получился нескупой, современный. А тетя стала ставить один вопрос за другим. Задача фильма? Кому он адресован? Правильно ли показан Чехов? В чем сила его современного звучания? Не в том ли, что тогда интеллигенция не выполняла своего назначения, пила, развратничала за счет тех, кто производил ценности? Даже керосин в лампах не принадлежит героям фильма...

От моих родственников уходишь всегда с информацией для размышления. Может, оттого, что у них молодые души.

Вернусь к своей истории. На этой вечеринке я увидел на столе зажигалку «Ронсон». О ней я давно мечтал. Когда мы приготовились уходить, она оставалась на столе. И я ее незаметно положил в карман. Вначале я подумал, что кто-то из наших забыл. Да нет. Говоря откровенно, я знал, что ни у кого из ребят такой зажигалки нет. Просто мне давно хотелось иметь «Ронсон». В этот дом мы все равно опять не собирались. В общем, украл я ее. Плохо еще то, что я совсем не умею врать. Придумать, наплевисты я могу. А врать — не умею. Когда мать меня спросила, откуда у меня зажигалка, я начал нести такую чепуху, что она сразу побледнела, села на стул — у нее плохое сердце — и спросила: «Неужели ты украл? Ты понимаешь, что ты наделал?!» Такое со мной приключилось первый раз. Мы с мамой были одни. Она плакала. Потом рассказала мне, что с ней была страшная история. Они с отцом познакомились, оказывается, в суде. Он только вернулся с фронта, зачем-то его вызвали в суд. Там слушали его дело, по которому она обвинялась в хищении. Это была неправда. Но ничего нельзя было поделать. Даже судья, который знал, что это неправда, не мог ей помочь. Присудили выплатить деньги. Отец это видел и слышал. Отдал ей свои деньги, которые ему причитались как демобилизованному офицеру. Они поженились. Помню, я спросил мать: «А как же любовь?» «Любовь пришла ко мне позже», — ответила мама, — а к отцу — не знаю. Его сразу не поймешь. Такой он у нас с тобой человек.

Больше я никогда не воровал. Сейчас не представляю как это могло получиться. Наверное, скучно было. Хотелось опасного. Тайного. И... выпили.

Через некоторое время я рассказал об этом дяде Васе. Он задумался и высказал интересную мысль. «То, что с тобой случилось, не страшно. Ты переживаешь. Понимаешь, что это скверно. Но этого мало. Постарайся понять главное. Существуют вещи, которые человек не должен делать никогда ни под каким видом: читать чужие письма, молчать, когда товарищ в беде или если ты видишь несправедливость. Сейчас есть люди, которые воруют и не считают это воровством. Один взял на работе книгу или инструмент. Пустяк! Другая принесла домой с работы вату, марлю, лекарства. «Сколько она получает? Быть у воды и не напиться! Грешно!» Душа человека при этом портится. Он становится другим. И навсегда». «А почему людям снятся сны, будто они нашли кошелек? Или увидели, как



бумажник выпал из кармана человека, а в нем — куча денег. Мне тоже такой снился, когда я был маленький!» Потому он и снился, что ты был маленький. Теперь ведь не снится? Многие вещи у человека проходят, как корь, детские болезни. Иногда они оставляют следы на всю жизнь, как оспа. А от некоторых болезней человек погибает. Ты понимаешь меня? Не умирает, но погибает как личность. Трудно бывает ему потом. Как чуть не вышло с твоей мамой, она тебе ведь рассказывала»

Мелькнула у меня мысль, что, конечно, воспитывать родителей нужно. Но как это сделать, если нас еще не было на свете, когда они были больными? Взрослым людям труднее: им приходится не воспитываться, а перевоспитываться. Из старого пальто новое не получается. Если только на малыша...

☆☆☆

Пришло время написать о кажущемся пустяке, который доставляет и мне и Ирке много огорчений. Думаю, что этот пустяк — большое место во многих семьях.

Когда отец обращается с просьбой или делает замечание, то всегда нас обижает. Пора бы привыкнуть, а невозможно. Дело совсем не в словах. Он иногда говорит «пожалуйста» или «спасибо». Но в его тоне всегда присутствуют интонации приказа, злости, раздражения. Какие-то женские визгливые нотки. Не знаю, как их назвать. Наша учительница по литературе сказала бы «сверхэмоциональность», «страстность» или что-нибудь в этом духе. Кстати, мы с Евгенией Михайловной, так ее зовут, любим друг друга. В смысле — очень уважаем. У меня по литературе всегда пятерка. Правда, я иногда делаю ошибки. Но немного. А Евгеша, мне кажется, пользуется своим предметом, чтобы рассказывать нам о жизни. Она считает, что литература не есть цель, а лишь средство влияния на души. Именно Евгения Михайловна дала мне воспитательный совет, к которому я прибегаю, после того как отец опять наорал на меня, — а в доме было полно гостей, — и я ушел на улицу. О конфликте я сообщил Евгении Михайловне. Она посоветовала: «Попроси Таню с папой поговорить...» Евгеша давно знает отца и очень его уважает.

Таня сразу согласилась. Таня нравится отцу. Когда она приходит, он норовит обнять ее за талию и громко заявляет всему дому: «Танюша пришла!» А нас всего-то трое: мать, Ирка и я. И стоим мы в прихожей.

Таня сидела у нас целый вечер. Потом отец позвал мать, и она принимала участие в разговоре. Меня не приглашали. Таня рассказала мне об этом кратко. «Отец твой замечательный человек. Умный. Порядочный. Но вот дома у них в семье всегда орал. В армии ему, командиру, тоже не шепотом приходилось разговаривать. Да и на работе руководить нелегко. Народ у нас какой? Скажешь раз, скажешь два — ни с места. А обругаешь — сразу забегают. Привык он. Знаешь, что я ему под конец сказала? «Представьте себе, если бы я вышла замуж за Андрея и вы хоть один раз так со мной заговорили, как тогда с ним?.. Я бы ушла немедленно...»

«Но ты же не собираешься за меня?» — спросил я. «Вот поэтому так и сказала», — ответила задумчиво Таня.

Этот разговор не прошел бесследно. Во всяком случае, если отец говорит громко или резко, мать смотрит на него, и он замолкает. А вчера, когда отец уж очень разошелся, мать добавила: «А внуки?» Отец насупился и ушел в свою комнату.

☆☆☆

Мне очень хочется подробно рассказать вам о своих родителях. Об их трудной жизни. Как их внешнее отношение к нам с Ирккой не совпадает с истинным. Как они преданны своему делу. Про их отношение к людям — доброту и готовность прийти на помощь в трудную минуту.

Но для каждого из нас родители — это источник неожиданных находок. Попробуйте сами разобраться в своих предках и понять, что в них существует со знаком плюс. А что — со знаком минус. Только не ошибитесь. Я предлагаю вам не игру. Именно таким образом сохраняется связь времен. И поколений. Личная связь...

☆☆☆

Не подумайте, что в семье наших родственников жизнь протекает гладко и безоблачно. У них большие трудности с Виктором.

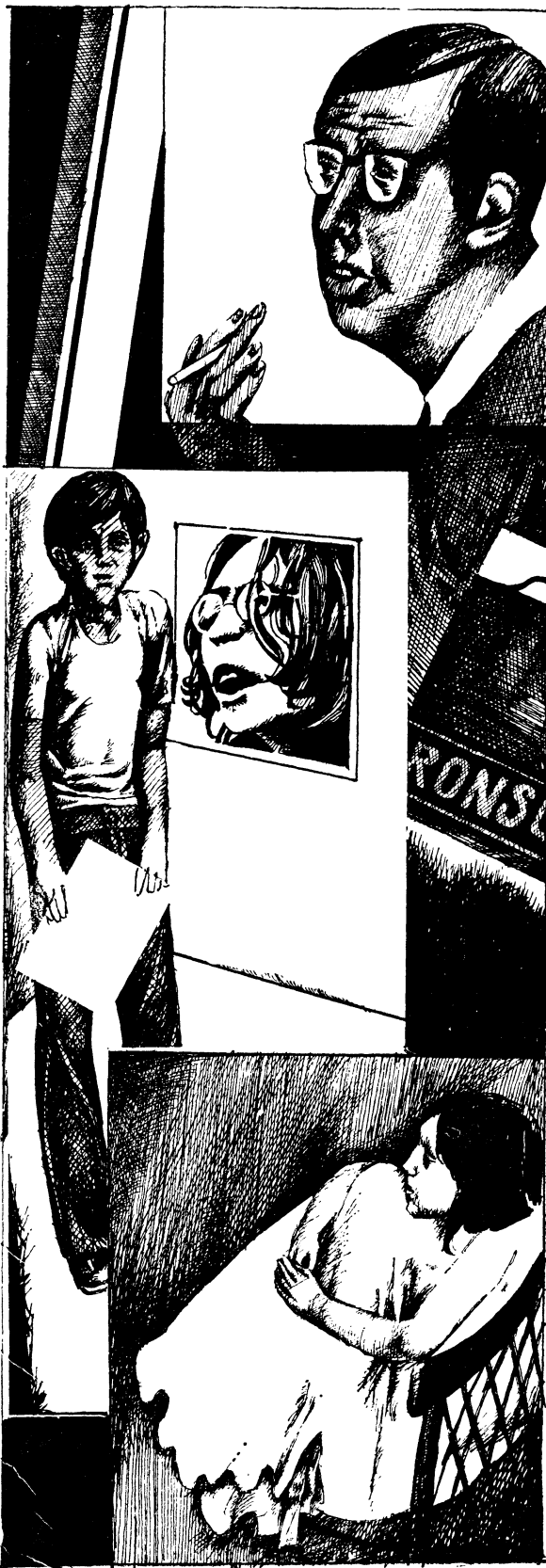
Первое — Витя не хочет быть физиком. А родители мечтают. Он способный, для него все пути открыты. Потомственный физик. Вроде потомственного шахтера или сталевара: почетно. Но наш Виктор любит муравьев. Он про них знает абсолютно все. Он считает, что люди недостаточно изучили их муравьиную жизнь. А он может изучить. Мне кажется, что Витя ошибается. На муравьев охотников так много. Но у Виктора имеется и другой довод. «Мой отец — серьезный физик. Мне до него дотянуться нелегко. Родители готовы проторить мне дорогу. Стану ли я от этого сильнее, умнее, порядочнее или — наоборот?..» Мне не очень понятно, что у Виктора преобладает — любовь к муравьям или соображения иного порядка. Но его не сообразишь. А тетя и дядя расстраиваются.

Второе огорчение у них посерьезнее. Виктор не занимается никакой общественной работой. Вы думаете, он антиобщественный элемент? Ничего подобного! Любое задание выполнит аккуратно, в срок. Но без души. А от организационной работы бежит, как от привидения. На их семейном совете, на который меня пригласили, он объяснял, что общественная работа будет мешать ему заниматься наукой. Надо сказать, что мы выдали ему здорово. Дядя Вася спросил: «Если все порядочные люди будут отлынивать от организационной работы, то кто же станет ею заниматься?» Виктор ответил так: «Вот когда будут — тогда и поговорим. Ты же сам рассказывал, что твой шеф стал шефом не потому, что он намного умнее или талантливее, а потому, что общественник! Верно?»

Тетя Маша тоже не промолчала: «Так ты хочешь, чтобы над тобой был менее умный и менее работоспособный человек, а ты работал на него, вместо того, чтобы он помогал тебе? Думаешь, в жизни вопросы решаются только несправедливо? Врешь! Если у тебя будет опыт общественной работы, ты станешь руководителем покрепче, чем иной талант. Видели мы таких руководителей. Разваливали они отделы. А ходили в гениях!»

У меня создалось впечатление, что Виктор поколебался.

А третий вопрос с ним самый сложный. Оказывается, он решил жениться. На... Ирке. Твердо и навсегда. По его мнению, Ирка — это личность. Она необыкновенно интеллектуальна и умна. Быстро все схватывает. Высоких нравственных устоев. Его не смущает, что они родственники, что опасно это при повторных браках. Процент генетически опасных осложнений невелик (вот что значит сын физиков — уже подсчитал). Когда он нам выдал эту информа-



цию, я думал, тетка с дядей умрут. У тети Машы на лице появилась кривая улыбка, а дядя долго сморкался, хотя у него никакого насморка не было. Меня такой оборот развеселил. Дылда Ирка и вдруг — жена Виктора! Но, не скрою, Ирку я сразу зауважал. В одиннадцать лет и оказывается, уже личность. При случае она у меня получит лиш-них лещей. Рано ей еще в личностях ходить.



Перехожу к важнейшей для меня проблеме. О любви, которую у нас ребята для краткости именуют вопросами секса. Хотя это само собой далеко не одинаковые понятия. С чего начать? С Таней мы дружим уже около трех лет. И не стало мне покоя. Мать объединилась с Ириной и не дает мне спокойно жить. «Не мог найти себе получше? Захудалый очкарик, а не девушка! Ты парень замечательный, видный, симпатичный. Она тебе не пара». Вы понимаете, что их высказывания не имеют ничего общего с истиной. Кроме очков Татьяны. Но ведь и мне прописаны очки. Только я их не ношу потому, что некрасиво. На расстоянии я плохо различаю лица и даже иногда не здороваюсь со знакомыми. «Зазнался! Не узнаешь!» — говорят мне иногда. Но, честное слово, я их просто не вижу. Татьяну я знаю давно и люблю. О том, в каких мы с ней отношениях, вы никогда не узнаете. Если я скажу, что мы просто дружим, — не поверите. А мы почти не расстаемся. Говорить про это кому бы то ни было, если ты не женат, — для человека позорно. Если он себя считает мужчиной. Поэтому на эту тему я распространяться не стану. Отец еще два года назад мне сказал: «Будь чист с девчонками. Нельзя портить им жизнь».

Понять причины плохого отношения матери и Ирки к Татьяне мне помогла тетя Маша. «Твоя беда самая простая», — сказала она, когда я изложил свои страдания, — твои женщины тебя просто ревнуют. И с этим ничего не поделаешь: так было, есть и будет. Ты думаешь, я правильно отношусь к будущей женишке Виктора? Черта с два! Даже представить противно. Хорошо, что он любит Ирку. По крайней мере отсрочка лет на восемь».

Конечно, про ревность я понял, но легче никому от этого не стало. После одной из тягостных сцен я решил уйти из дома. Но тут меня осенил мой гений. Обычно он у меня дремлет и просыпается довольно редко. Но тут он пробудился и вовремя шепнул мне: «Поговори с отцом». Так я и сделал.

И брат на брата пошел войной. Я хотел сказать — предки пошли на предков. Разговор у отца с матерью был недолгий, но серьезный. Она вышла от него с мокрыми глазами.

В последнее время они с Иркой стали относиться к нам с Таней по-человечески. Звать на разные семейные мероприятия. А Ирка после того, как мы с Татьяной купили ей на день рождения модную заколку, обняла меня, поцеловала и на ухо сказала: «Спасибо тебе, женишок ты наш». Понятно, я тут же дал ей по затылку. Но не сильно.

Вот какой неожиданный счастливый конец имела эта история. И то лишь благодаря правильной моей тактике воспитания родителей.



Думаете, что я так прост? Прочитанное вами я прежде дал на просмотр всему нашему семейному колхозу. Вот что я услышал в ответ. Интересно?

ОТЕЦ. Прав Андрей, что молодежь должна стать лучше нас, родителей. Нужно им побольше дви-

гаться и поменьше есть, чем мы. Не подражать нашим недостаткам. Жить им предстоит дольше, чем нам, а значит, придется им найти в себе мужество не вставать на пути у своей смены и вовремя уйти на заслуженный отдых. Наверное, нужно стать точнее, пунктуальнее и получше нас считать не только время, но и деньги. Хотя это они уже умеют..

МАТЬ. А меня ребята беспокоят. Они стараются сделать как можно больше ошибок сами, не советуясь с нами, родителями. Особенно Андрей — кажется, перепробовал уже все возможное, кроме наркотиков. Хорошо, что их нельзя достать. Резкие вы какие-то, торопыги. Мы не такими были.

ДЯДЯ ВАСЯ. Вот и хорошо, что торопыги. Быстро думают, принимают решения, деловиты, всем интересуются. Поставьте перед ними трудную задачу — вцепятся в нее и не выпустят. Они по своей природе коллективисты, но не для «галочки» а по делу. Нам нужно от них не отставать.

ТЕТЯ МАША. Это я уже слышала много раз. Но среди них попадаются такие, которые быстро заимствуют странные формулы вроде «Я тебе — ты мне», «Работать — лишь бы заработать». Торопятся иногда знания подменить званиями, а деловитость — делачеством. А вы не видели таких, которые судорожно стремятся к комфортабельной зарубежной жизни и сертификату на раю любой ценой, пусть уборщицей или шофером, лишь бы туда. Невсамделишное, мелкое иногда распространяется с быстротой вирусного гриппа. Вася скажет, что у меня плохой характер. А вы видели жен с хорошим характером?!

ТАНЯ. Зачем нам быть лучше наших родителей? Что мы о них знаем? Стоит копнуть поглубже, и оказывается, что, несмотря на беды, трудности и несчастья, они молодцы! Для них работа была и есть радость. Они счастливые люди. Жившие долгие годы в надежде на то, что нам будет лучше. Они старше нас по возрасту, а у многих из них столько энергии, задора, молодости. До всего им дело.. Нам бы оставаться такими, когда нам будет столько лет. Нет, не знаю насчет «лучше», но быть такими же или хотя бы не хуже их — вот задача.

ВИКТОР. Скажу по делу. У человека должен быть план. Основное — сочетание главных задач. Цель жизни: грудиться с пользой и интересом. Искать новое. Дома — крепкий тыл. В душе я общественник побольше некоторых других. Но не люблю, когда говорят о том, что всем известно. Время еще покажет, у кого какое общественное лицо. Насчет воспитания взрослых — Андрей затеял трудное дело. У нас, молодежи, нет главных орудий воспитания: наказания и поощрения. А разговоры.. Еще И. А. Крылов писал: «А Вася слушает, да ест...» Мне кажется, взрослые немного подражают страусам: когда все в порядке — они ходят гордо. А когда плохо — прячут голову под крыло: это не про нас. Может, я и ошибаюсь..

ИРКА. Мне понравилось, что написал Андрей. Правда, стиль не везде выдержан. Я считаю, что прежде чем воспитывать людей, нужно за собой посмотреть. Нехорошо над всем иронизировать, даже над муравьями. И к сестре так относиться. Дразнить, придираться. Много написал про любовь. Если она тебя волнует, так и держи это при себе. Насчет родителей я не сомневаюсь, что им гоже нелегко. Мы должны им помочь вспомнить, какие они были маленькими. И что тогда обижало, что огорчало и чего не хватало. Правда, мамочка?!

А теперь ведь ты вспомнила? Вот и хорошо..



СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

Солнечные ночи

Вдали шумел Большой порог...
Пойми, где Запад, где Восток,
коль от заката до восхода
всего-то был какой-то час,
и вновь уже тревожил глаз
холодный пламень небосвода.
По берегу бродяжил лось,
за валуном играл лосось,
с которым надо попрощаться,
чтобы в двухтысячном году,
как сказку, эту красоту
поведать новым домочадцам.
Мужчина был еще силен.
Полярным солнцем освещен,
не заходящим в это время,
он брал весло или ружье
и, в счастье веруя свое,
брел по земле походкой зверя.
А по утрам он пил росу,
горстями поднося ко рту,
как ртуть, трепещущие капли,
рожденное из облаков
питье зверей или богов —
взахлеб, чтоб силы не иссякли,
чтоб отыскать в тайге тропу,
рот освежить, жуя траву,
схватить ружье, глаза прищуря,
взметнуть к плечу, ударить влет,
и царственный прервав полет,
вдруг загрустить, свой грех почуя.
Рука тверда, и верен глаз,
но что-то происходит в нас —
все тяжелее год от году
глядеть с восторгом на заре,
как селезень в цветном пере
то в пурпуре, то в серебре
с гортанным криком входит в воду.
Я слышал этот вещий крик,
но знать не знал, что в этот миг
в другом краю — в горах Гиссара —
мой друг с картечью в животе
упал на камни в темноте
от выстрела — как от удара.
Судьба иль случай! Я давно
уверовал, что все равно
меняются земные роли.
Сегодня ты — лихой стрелок,
а завтра — траурный венок
от жизни примешь поневоле.

Но друг мне снится молодым.
От пепелища легкий дым
струится в каменном распадке.
Седлаем лошадей. Пора.
Покамест синяя жара
не выползла из горной складки...
А женщина — жена и мать,
ей было грустно понимать,
что надо жить за счет добычи.
Она любила этот рай
и вздрагивала: — Не стреляй! —
услышав говор вольной дичи.
Ей было жалостно до слез
железом срезанных берез,
и даже дикий лук в лощине
ей было рвать не по нутру:
так трудно выжить на ветру
среди этой северной пустыни!
Холодный ветер приносил
то снег, то град, то моросил
внезапный дождь... Угрюмый Север
шутить не любит. Шевелись!
Отстаивай права на жизнь,
как этот низкорослый вереск!
Сверкая белой чешуей,
взвился над черною струей
лосось — реликтовая рыба,
и женщина с тоской в груди
шептала: — Извернись! Уйди! —
на хватку глядячи с обрыва.
Она была совсем слаба,
ее глаза из-под лба
глядели жалобно и кротко...
К утру сгущается вода:
ковшом черпаешь из ведра,
а там — сверкающая корка.
Но сын есть сын, а муж есть муж.
Кормилица заветных душ,
она окинула очами
высокий берег, черный плес,
шеренгу золотых берез,
объятых белыми ночами.
В лицо дохнул Полярный круг,
и что-то вроде счастья вдруг
мелькнуло у нее во взгляде.
Какой покой и тишина —
лишь только речь ручья слышна
в сырой черемуховой пади!
Надолго ли! Когда еще
ты обопрешься на плечо
любимых мужа или сына!
Когда еще твоя душа,
от тайной радости дрожа,
вдруг ощутит, что плоть едина!
Но сын был молод, и пока
послушен — натаскай щенка:
пусть лезет в ледяные струи,
пусть мастерит из бревен плот,
пусть выдохнется, но поймет,
что жизнь не проклинаят все.
Пусть ощутит, что он лишь часть
природы. Пусть вбирает всласть
и шум реки и хмель работы;
пускай, подняв глаза в закат,
поймет, что лебеди летят
и что у них свои заботы.
Пускай в ладонь берет топор
и рубит дерево... Мотор
пусть заведет. срываая руки.
Поскольку все же он мужик —
нельзя, чтоб навсегда отвык
от этой дедовской науки.

Тем более, когда в любви
к комфорту человек свои
права превысит, чтобы сладко
свой век влачить, тогда в цене
еще подымутся втройне
отвага, глазомер и хватка...

Сжигая синий кислород,
сверкнув на солнце, самолет
прошел над беломошным бором,
над ржой архангельских болот,
где жизнь, верша круговорот,
на мир взирает мутным взором.

Отец предвидел, что прогресс
пойдет стеной на этот лес,
на мирно дремлющие дебри,
когда бульдозеры придут
и эти воды отведут
на юг в засушливые степи.

Да будут овцы и сады,
каналы, блюминги, пруды,
химчистка, хлопок и пшеница!
...Но росы в чашечках цветов
да звон лебяжьих голосов —
все это разве что приснится!

Что, Фауст, горек твой удел:
опять стремишься за предел,
тебе положенный природой!
Какая жалкая судьба —
алчба, пресыщенность, алчба —
так захлебнись своей свободой!

Приехал местный человек.
Он был молчун. Поскольку снег,
и лес, и дикие просторы,
и моря ветреная гладь —
все не могло располагать
вести пустые разговоры.

Он плыл под свист утиных крыл
и, весла отложив, следил,
как вальдшнепы над берегами
гокуют, распутив хвосты,
и серых самочек в кусты
уводят важными шагами.

Он улыбнулся, зачерпнул
воды и лодку отвернул,
как бы не справившись с теченьем,
от отмели, где жизнь, трубя
и плача, славил себя,
сверкая пестрым опереньем.

Два лебедя — к крылу крыло —
над лодкой взмыли тяжело
и не уходят от излуки...

Ах, вот в чем дело — под ольху
два серых близнеца в пуху
забились и молчат в испуге.

Отец и мать над головой,
готовы жертвовать собой,
кричать, гортани надрывая:
— Не трогай наших близнецов!
Ты сам из племени отцов —
отцовство — заповедь святая!

Два неуклюжих малыша,
от ужаса едва дыша,
глядят, как лодка режет воду.
А человек веслом гребет
и думает: — Пришел черед
оставить вольную охоту.



**ИГОРЬ
КРОХИН**

На старой деревянной мельнице

Жернов зерна мелет, мелет,
О пощаде зерна молят.
Жернова жуют зерно:
Перемелем все равно,
Перекрутим, перемелем —
Никого не пожалею!
Крум да крум! — скрипят колеса,
Воды вечные текут:
То скрипят снега морозно,
То ручьями в лог бегут.
Крум да крум! — течет мука
Из глубокого лотка,
В трясуну течет — в решета.
Мельник в облаке муком
Над бичею¹ с зерном
Сбросил ручкой поворота
Теплый куль: «Везите в дом!»
Только зернышко одно
Не размолото —
В решете блестит оно
Ярче золота.

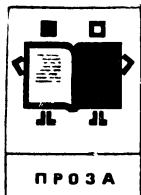
Первый мирный хлеб

Возвращались. Плакали и пели.
Май шумел — от слез и счастья слеп...
Помнишь, брат, как за столом мы ели
Настоящий первый мирный хлеб!
По-отцовски густо и толково
Посыпали хрупкою солью
Черствый хлеб, что из мешка отцова,
Пахнувший дорожною пылью.
Черный хлеб, что из мешка с заплатой,
Слаще меда, сдобы-пирога —
Он по крошке таял, суховатый,
Он исчез. А память — дорога.

☆☆☆

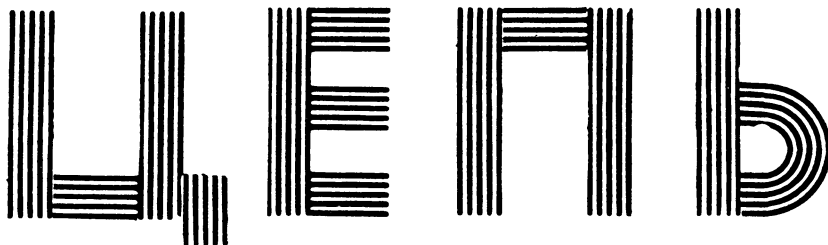
О чем, о чем шумишь ты, поле,
О чем поют тебе ветра.
Пока что небо голубое,
Пока что ясная пора.
Пока что никакой тревоги,
Пока что дымки никакой,
Пока что скатертью дороги
Под ясной чашей голубой.

¹ Бичейка — насыпной ящик



ЛЕОНИД САПОЖНИКОВ, ГЕОРГИЙ СТЕПАНИДИН

ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКАЯ
ПОВЕСТЬ



18

... **М**ы сидели в кабинете Кирилла Борисовича и ждали, когда он прочтет рапорт по дарьинской операции. Рапорт был написан подробно и занимал несколько листов. Ну, а если коротко изложить, суть заключалась в следующем.

Служитель аттракционов Умаров сказал, что банщик Рахман Икрамов — о нем как раз говорил мне Абдурахман Султанов — связан с двумя «темными личностями»: Тургаем Кадыровым и неким «Махмудом», о котором Умаров не раз слышал от разных людей нелестные слова. В результате операции, какую предложил подполковник Рустамов, Рахман Икрамов вывел нас на этого «Махмуда». Им оказался газетный киоскер Раимджан Ходжаев, мужчина пятидесяти пяти лет. Во время обысков, проведенных у Рахмана Икрамова, Тургая Кадырова и Раимджана Ходжаева, были обнаружены крупные суммы денег. Но главное для нас заключалось в том, что отпечатки пальцев, идентифицированные в квартире покойной Галицкой, и отпечатки пальцев, взятые у Раимджана Ходжаева, совпали. Следовательно, Минхан Абугазин получил очень важную улику против Раимджана Ходжаева — «Махмуда». На предварительном допросе тот отказался отвечать на вопросы, отрицая все: и свое знакомство с Ковальчуком и передачу ему наркотиков. На допросе, естественно, не было ни слова сказано о Галицкой. Зачем так легко выкладывать на стол козырные карты? К тому же у нас имелся еще и Зикен Бейсеев, который подтвердил, что именно этого человека он вез в угнанной машине в ночь пожара у учителя Клычева. Словом, теперь дело было за Минханом Абугазиным, мы свое сделали.

Учитывая, что Раимджан Ходжаев подозревался в участии в двух убийствах на территории Казахстана, по согласованию с прокурором Дарьинска он был этапирован в наш город...

...Кирилл Борисович читал долго, потом молча отодвинул от себя листы, встал и подошел к сейфу. Открыв, вынул из него зеленую папку.

Мы с Веней переглянулись: в этой папке Кирилл Борисович хранил лишь те документы, которым придавал особое значение. Мы так и прозвали эту папку: «ОЗП» — особая зеленая папка!

Велико же было мое удивление, когда Полковник извлек из нее экземпляр салтановской газеты «Маяк» за второе июня, где был опубликован отрывок из повести Клычева. Собственно, эту газету я сам привез из Салтановска. Взял ее из подшивки горотдела милиции — с любезного разрешения майора Сенюшкина — и подколол к рапорту. Но тогда Полковник, как и Минхан Абугазин, не уделил этому отрывку должного внимания — я увидел это по их реакции. Почему же салтановская газета вдруг оказалась в зеленой папке?

Полковник положил перед собой газету и усмехнулся:

— Удивлены? Сейчас еще больше удивитесь. Вениамин, ты чем намерен заниматься в самое ближайшее время?

— «Седым», — изумленно ответил Веня. — Чем же еще?

— Ага, — изрек Полковник. — А ты, Шигарев?

— Чем прикажете, Кирилл Борисович, — ответил я.

— Характер у тебя вредный, Шигарев,— заметил Полковник,— никогда не поймешь, что ты вкладываешь в свой ответ.

— Это у меня от отца осталось,— пояснил я,— генетическое.

— А вообще-то ты верно выразился,— продолжал Полковник, словно и не слыша моих слов,— «чем прикажу...». Так вот, друзья, приказываю я вам с сегодняшнего дня заниматься только вот этой тетрадочкой!

Он вынул из «ОЗП» общую тетрадь и подал мне. На титульном листе тетради было написано: «Дневник комиссара Орла»

Я прочитал надпись и протянул тетрадку Вене. Мы переглянулись. Видимо, наши с Веней физиономии выглядели в эту минуту довольно глуповато, ибо Полковник усмехнулся и неожиданно продекламировал:

— Предстали мне, когда я в полночь лег,

Четыре всадника. «Вставай! — сказали. —

Мы знак дадим, когда настанет срок.

Внимай, смотри, запоминай!» — сказали.

Ну, чьи стихи, джигиты?

Мы напряженно смотрели в лицо шефа.

— Не напрягайтесь понапрасну... Это великий туркменский поэт Махтумкули.

Мне почудилось, что Веня даже вздрогнул. Вздрогнешь, если твой строжайший шеф вдруг начинает читать наизусть стихи восточных поэтов.. А Полковник добавил.

— Вы думаете, что я, кроме ваших рапортов и протоколов, больше ничего и не читаю, да? Эх вы, птенчики родимые...

Да, таким Кирилл Борисович Хазарова никто у нас не видел, в этом я могу чистосердечно поклясться!

И Веня, тот самый Веня, который прославился в управлении тем, что «читал» шефа,—этот Веня смотрел сейчас во все глаза на Кирилла Борисовича, переводил взгляд на меня, и стыла в его ярких глазах мука недоумения.

Вдоволь насладившись смутением, явственно читавшимся на наших лицах, Полковник сказал:

— Ребята, а это что?— Он выхватил из «ОЗП» листочек.

Это была записка, которую мы обнаружили в тайнике в квартире покойной Ксении Эдуардовны Галицкой. Я ее сразу узнал: записку, написанную ее рукой, но от лица мужчины. Минхан считал, что эту записку написал не кто иной, как покойный учитель Клычев, и не кому-нибудь, а самой Галицкой. И я после своей командировки в Салтановск полностью с ним согласился.

— А теперь, Виктор, открой последнюю страницу дневника и читай!— приказал Полковник.— Кстати, и ты, Вениамин, поплотнее к своему другу подсаживайся. Что ты сидишь, как в гостях у богатой тетушки?

Веня, по-прежнему поглядывая на своего любимого шефа, пересел ко мне. Я, открыв тетрадь, нашел последнюю страницу. Она была пожелтевшей от времени и исписана ровным, мелким почерком. Если верить тому, что почерк может дать представление о характере человека, то автор этого дневника, должно быть, обладал характером стойким и целеустремленным. Мы буквально проглотили эту страницу. И снова—в который раз за эти удивительные минуты—недоумевающе переглянулись. Мы... все это уже читали; правда, первые строки нам были неизвестны...

«...Сначала я не поверил, получив письмо от Вены. Она писала, что находится в Москве, приехала в качестве переводчицы немецкой делегации инже-

неров. Она писала, что ее первый муж—Глеб Саулов—умер, и у нее осталась от него дочь. Она снова вышла замуж—за Владимира Петровича Жука. Этому прохвосту все-таки удалось скрыться от ареста в свое время, и он бежал за границу. Вера хотела со мной встретиться, просила мою фотографию. Я написал ей письмо: «Я всегда любил одну женщину. Эта женщина—ты...»

А далее слово в слово шел текст записки, найденной в тайнике Галицкой. Значит, письмо написал вовсе не учитель Клычев, а комиссар Орел?! И не Галицкой, а Вере Остальской, племяннице профессора Остальского, о них я уже знал из отрывка повести Святослава Павловича, опубликованного в «Маяке». Ну и ну!.. Черт возьми, кто такой комиссар Орел и как попал его дневник в руки Клычева? Как он, наконец, оказался в «ОЗП» Кирилла Борисовича? Кто такие Остальские? Почему Галицкая набело переписала письмо комиссара Орла, адресованное Вере Остальской?.. Вопросы, как цепная реакция, вызывали следующие вопросы...

— Дочитали до конца?—спросил Полковник.— Обратите внимание на последние строки дневника.—И он с удовольствием прочитал наизусть:— «Я хотел отослать ей письмо, но потом решил не делать этого. Это моя последняя запись в дневнике...» А Галицкая между тем именно это письмо и переписала. Почему? Как вы думаете, молодые люди? К сожалению, я тоже пока не знаю.

Мы молчали. Да, мы не были, как и наш шеф, готовы к ответу на этот, по всей вероятности, один из главных вопросов загадочной истории, с которой столкнулись и в которой обязаны были разобраться до конца.

— Ну, обо всем в свое время,—сказал Полковник.

— Кирилл Борисович,—выдавил Веня,—скажите, откуда взялся этот дневник?

— Да,—подхватил я,—откуда?

Полковник рассмеялся.

— Все гораздо проще, чем вы себе сейчас начнете придумывать,—ответил он,—и заслуга целиком нашего уважаемого Минхана Ергалиевича. Ему все эти дни не давали покоя те цифирки: четыре—шестьдесят семь. Помните?

Конечно, мы помнили эти цифры, написанные Галицкой на оборотной стороне фотографии Всеволода Константиновича Лютенко. Написанные, а затем стертые... Я о них особенно хорошо помнил, даже Вена говорил накануне отлета в Дарьинск!

— Так вот,—продолжал Полковник,—Абугазин предположил, что они могут означать шифр ячеек камеры хранения на железнодорожном вокзале. Он проверил сводки происшествий по области за июнь—июль. Тут и выяснилось, что служащие камеры хранения вокзала вместе с сотрудниками транспортной милиции вскрыли—по акту—за просрочку платежа абонентом одну из ячеек. Три последние цифры этой ячейки были четыре—шестьдесят семь. И обнаружили они там старую хозяйственную сумку, а в ней лежал этот самый дневник. И лежал он у транспортных до тех пор, пока Минхан не взял его.

— Черт те что...—пробормотал Веня.—Кто бы мог подумать?

Он старательно избегал моего взгляда.

— Во-во!—кивнул Полковник.—Короче, когда я его прочитал, тут же вспомнил о газете... А теперь,—резко меняя тон, заговорил наш шеф,—этот дневник надо как следует проштудировать. Вам. Не из-за него ли и вся карусель-то закручена? Забирайте вы все материалы, которые мы здесь насобирали за время вашего отсутствия, тетрадь эту.

И читайте. Анализируйте. Думайте. Предполагайте. Предлагайте. Сколько вам нужно времени, чтобы все это «переварить»?

Мы с Веней, не сговариваясь, пожали плечами. — Сутки,— пробормотал не очень уверенно я, зная, что Полковник не любит этого слова.

— Хорошо,— неожиданно охотно согласился он.— Завтра к вечеру все подготовьте. Я чувствую, в этом деле многое алогично. Хотя... В общем, мы уже почти у цели. Бейсеев — у нас; Ковальчука найдем, куда он денется; Раимджан Ходжаев «при деле». Но кто-то есть еще... «Симаков», «Седой» — старая, хитрая лиса тут работает... Не будет же просто так человек переписывать страницы из чужого дневника, а сам дневник, словно драгоценность какую-то, хранить далеко от дома... Что-то здесь есть... Ну, идите, Пинкертони!..

19

В зня шел, не поднимая на меня глаза. Он, конечно, оценил мое благородство; то, что я ненароком, по простоте душевной, не ляпнул Кириллу Борисовичу: «Как, разве Бизин не сказал вам, что я просил его заняться поисками тайника на вокзале?» Но если говорить серьезно, то старший лейтенант милиции Вениамин Александрович Бизин был не на высоте. Мягко говоря... Когда я позвонил ему из аэропорта и посоветовал «прозондировать» камеру хранения, исходя из того, что «4-67» могут оказаться цифрами шифра, я, разумеется, не был уверен, что Галицкая и действительно что-нибудь хранила на вокзале. Но в нашем деле, как в клубке ниток: если появляется «ниточка», ее вытягивают до конца и выдергивают. Проверить все, что может обернуться фактом,— это принцип. Веня нарушил его. И сейчас — я же видел — мучительно переживал. Я молчал, ждал...

— Понимаешь,— пробормотал он,— замотался я... Конечно, поступил, как последний лопух.

Я по-прежнему молчал. А что говорить? Сочувствовать или, наоборот, выговаривать? Неожиданно мне в голову пришло: закономерно, пожалуй, не то, что Вениамин позабыл «прокрутить» версию, а другое. То, что Минхан своим путем, но тоже дошел до этих цифр. В этом, наверное, и сказались профессионализм в нашей коллективной работе. Не один, так другой. Не одной дорожкой, так другой тропинкой, но мы доберемся до него, до преступника. Только иной раз путь наш бывает тернистым, времени много уходит, силы отнимает. Бывает, что добираемся к цели и с потерями.

...Взяв все вновь поступившие за время нашего отсутствия документы, мы вернулись в отдел.

— Давай так,— предложил я Вене,— ты пока читай справки, ответы на запросы, а я примусь за дневник. Потом обменяемся. Хорошо?

— Ладно,— кивнул он.

Я открыл тетрадь. Дневник начинался маем 1919 года, но иной раз комиссар Орел не прикасался к нему целыми месяцами.

Дневник комиссара Орла

«...Генерал Юденич рвется к Петрограду. Положение города с каждым днем становится все более угрожающим...

...Сегодня Владимир Ильич и Дзержинский подписали Обращение Совета Рабоче-Крестьянской Обороны: «Смерть шпионам! Наступление белогвардейцев на Петроград с очевидностью доказа-

ло, что во всей прифронтовой полосе, в каждом крупном городе у белых есть широкая организация шпионажа, предательства, взрывов мостов, устройства восстаний в тылу, убийства коммунистов и выдающихся членов рабочих организаций. Все должны быть на посту...»

...Население Петрограда сократилось с двух миллионов примерно вдвое. Что же будет дальше?

Назавтра вызван к управляющему делами Совнаркома Бонч-Бруевичу...

...Был у Владимира Дмитриевича Бонч-Бруевича. Разговор врезался в память, но все равно его нужно записать. Когда у меня будет сын, я обязательно должен ему рассказать о том, в какое время мы жили, как жили и зачем жили. Почему сын? А если дочь? Дочь — это тоже прекрасно, но я хочу сына. Наивный ты человек, комиссар Орел! Хочешь сына, а боишься сказать Вере, что любишь ее. Эх ты, негиббамый и железный!.. Бонч плохо выглядит. За то время, что мы не виделись, он очень сдал. Под глазами синяки, нос заострился.

Он сразу приступил к делу, едва я вошел.

— Мы получили письмо от академика Павлова,— сказал он.— Павлов хочет уехать из России! Отъезд Павлова — удар по нашему престижу, удар по российской науке. Уедет он, нас начнут покидать и другие ученые; и мы не сможем их удержать. А мы должны заставить их поверить в нас, большевиков... Делами заставить, а не словами. Комиссар Орел, для вас есть очень серьезное поручение. Завтра с отрядом вы отправитесь в Петроград. Будете сопровождать специальный поезд с продуктами для петроградской интеллигенции. Он выделен по личному указанию Ленина. В Петрограде позвоните Максиму Горькому. Он в курсе дела. Распределение продуктов будет проходить под его личным контролем. И к вам еще одно поручение, Орел... Вы передадите академику Павлову личную просьбу Владимира Ильича остаться в России. И зайдите, пожалуйста, в Петросовет, передайте Зиновьеву, что он должен в ближайшее же время обеспечить академика Павлова и его сотрудников всем необходимым для работы.

Бонч-Бруевич подошел к сейфу, вынул из него бумагу:

— Вот мандат, который дает вам самые широкие полномочия. Всего хорошего, комиссар Орел!

Ну вот, еду в Петроград. Давно я там не был, ох как давно! Так... Нужно самому отобрать людей для отряда, в таком деле никому нельзя доверять...

...Все-таки доехали!

Честно говоря, поездка была не из числа прогулочных. Сначала все шло хорошо. В Москве быстро погрузились, а как доехали до узловой станции — началось. Несмотря на все мои уговоры и протесты, начальник станции Бородин велел отогнать в тупик наш состав. Эх, Бородин, Бородин!.. Меня, естественно, такой оборот дела никак не мог устроить. Я догнал его. Мы пошли по платформе. Боже мой, что же на ней творилось — настоящий муравейник. Старики, дети, женщины, инвалиды, мешочники! Мы с трудом пробирались через эту копошащуюся, гудящую, кричащую человеческую массу. «Подождите,— дергаю я Бородина за руку,— надо же нам наконец все уладить, как-то договориться». Он руку вырывает и дальше ходу. Я его спрашиваю: «Неужели мало мандата, подписанного управляющим делами Совнаркома и председателем ВЧК?» А он отвечает: «У меня имеется распоряжение пропускать сначала воинские составы, а уж потом все остальные поезда. У меня станция особого назначения, и за порядок движения я отвечаю!»

Нервы у меня совсем ни к черту.. Сорвался, стал кричать на него, грозить, что расстреляю за саботаж. А он чуть ли не смеется. «Давайте, командуйте, расстреливайте. Тогда уж точно с места не сдвинетесь. Без моего распоряжения ни одна паровозная бригада вас не повезет. Может, вы и их к стенке поставите? Смотрите, товарищ чекист, так и без людей и без парнонсов остаться можно!..» И злость и понимаю: не сломаю я его. «Сволочь вы, Бородин,— говорю я,— настоящая старорежимная сволочь! Мы сопровождаем поезд, отправленный Лениным! Этот состав первостепенной государственной важности». «Сейчас все поезда — государственной важности. Других и нет», — отвечает. В этот момент откуда-то появляется разбитый парень в замасленной телогрейке. И к нам И начинается у них торг по поводу того, кто у кого в прошлый раз махорку занимал. Ну, думаю, не вовремя появился этот парень, Михейкин, так его Бородин называл. А этот Михейкин озорно стрельнул в меня глазами и спрашивает Бородина: «За горло берет столичный гражданин а, Иван Григорьевич? Состав требует пропустить, да? А может, пропустить и в самом деле? Воинские-то запаздывают. Глядишь, и успеют столичные проскочить?» «А ежели не успеют, тогда как? Затор? Поезд-то, Михейкин, не лошадь, не свернет, где заочется!» «Какой поезд-то?» «На Питер... Продовольственный..» — это уже Бородин сказал. Я забыл предупредить его о том, что никто не должен знать, куда и что мы везем, не до того было во время спора с ним. Я наступил Бородину на ногу, однако уже поздно было — Михейкин это заметил и хохотнул. «Смотрите, не отдавите ногу нашему начальнику. Вы зря меня-то опасаетесь, я свой брат — рабочий. А вот поручика Викентия с его бандой поостерегитесь! Он аккурат в этих местах шастает Слушай, Иван Григорьевич, пропускать их надо, никак не иначе. В Петрограде-то, слышно, люди мрут как мухи!» А Бородин внезапно рассвирепел и начал кричать на Михейкина, чтобы тот не совался не в свое дело. И со мной стал говорить уже без прежнего благодушия. Я спросил, откуда могу позвонить в Москву или в Петроград. Оказалось, что линия повреждена все той же бандой «поручика Викентия». Кстати, что-то за банда тут объявилась? Ее необходимо уничтожить, ибо бандиты, хозяйничая на железной дороге между Москвой и Питером, тем самым оказывают великолепную услугу Юденичу. Но в тот момент для меня более страшного врага, чем Бородин, не было. Не представляя уже себе, как сломить упорство этого служаки, я в полном отчаянии, не владея собой, выкрикнул ему в лицо «Убийца! Ты убийца, Бородин! Мы людям жизнь везем, а ты ее не пускаешь! И в кармане, наверное, партийный билет коммуниста носишь. Сам сытый, и дети у тебя, видимо, сытые дома сидят! И не...» — закончить я не успел. Бородин так резко бросился на меня, что я даже не смог увернуться. Не знаю, чем бы это кончилось, если бы не Михейкин, который с трудом разнял нас. «Слушай ты.. чекист! — Бородин так жег меня своим взглядом, что мне стало не по себе. — Ты меня поноси, как хочешь. Но мой партийный билет и детей моих не трожь! Не трожь, говорю я тебе!» И ушел. А тут на меня уже Михейкин навалился: «Что ж ты, дорогой товарищ, делаешь, а? Бородин ночью не спит, на ногах еле держится, зато движение на дороге не стоит. Бойцы едут, оружие едет, он же все для революции делает, все, понимаешь? Он, между прочим, в партии с девятьсот десятого года. А ты тогда о революции, верно, и понятия-то не имел!.. Эх ты, мандат в кармане, маузер на боку, а заме-

сто головы задница! Вот ты о детях его сказал. А детей-то Бородин вместе с женой, с Галиной Васильевной, поручик Викентий на суку повесил! Вон видишь, дерево стоит?» И показал на голый ствол, стоявший чуть в стороне от железнодорожных путей. «Этот сук Ивану Григорьевичу теперь вроде как памятник. Он же один на всем белом свете остался..» Михейкин ушел. Мне было стыдно. Я жестоко казнил себя. Хотелось немедленно найти Бородина и попросить у него прощения, но он куда-то исчез. А через полчаса прибежал от него человек и сказал, что можно готовить эшелон к отправлению. Еще через десять минут нас выпустили со станции. Я стоял на подножке и вертел головой. Мне хотелось увидеть Бородина. Поезд, набирая скорость, все дальше и дальше мчал нас. К цели — к Питеру!.

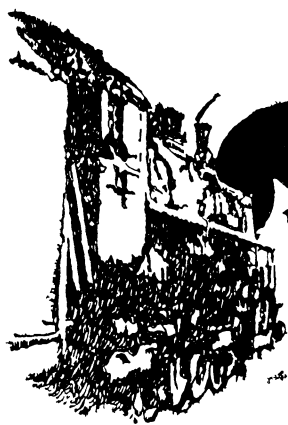
На обратном пути я обязательно приду к Бородину, протяну руку и скажу: «Прости, товарищ!»

...Ага, вот об этом — о нападении бандитской шайки «поручика Викентия» на чекистский отряд — я уже читал в салтановском «Маяке». Учитель Кнычев, видимо, старался как можно полнее использовать документальный материал дневника в своей повести.

А с этой записи — новое... Описание смерти Бородина..

«...Избитого в кровь, разутого в порванной рубахе, Бородин поставили под то самое дерево, на котором раньше бандиты «поручика Викентия» повесили всю семью Бородина. По бокам стояли два вооруженных бандита. А с дерева свисала толстая веревка, заканчивающаяся петлей. Другой конец веревки держал в руках здоровенный бандюга. (Михейкин, рассказывая обо всем этом, не выдержал, всхлипнул.) Перед Бородиным стоял поручик. Несколько минут немигающе он смотрел на Ивана Григорьевича, а потом негромко сказал. «Я же предупреждал вас, Бородин. Почему вы меня не послушались?» Начальник станции стоял, переминаясь на колючей земле и повернув голову в сторону. «Помните, я предупреждал вас, Бородин,— продолжал изверг,— в тот раз, когда вы пропустили для большевиков эшелон с оружием и не поставили меня в известность? И я вас тогда простил... А вы ничего не поняли, хотя и получили мое уведомление. Разве не так?» «Кончай, гад, кончай, Викентий,— ответил Бородин — Чего волюнку тянуть!» «Не Викентий,— возразил тот, улыбаясь,— а Викентий Модестович. Ах, какая ты неразумная скотина! Я приказал повесить твою семью, думал, наконец-то ты образумишься, поймешь, что тебе лучше будет служить мне, а не затевать со мной рискованные игры.. А ты... Что сделал ты, а? Снова пропустил большевистский эшелон; теперь мой отряд, мои орлы будут голодать. Нехорошо, голубчик, очень нехорошо. Но я великодушный человек. И еще раз простил. И что же? Ай-яй-яй-яй! Вы снова пропускаете к красным эшелон с провиантом.. Право, господин Бородин, вы дурно поступили. Вот и пришел ваш черед, голубчик. Извините, но на войне, как на войне». «Ничего, Викентий,— ответил Бородин,— за все тебе откупается, за все твои злодеяния. Помани мое слово!» «Поману, Бородин, поману. Обязательно. Орать-то будете, когда вздергивать станем!» «Не знаю. Посмотрим...» «Что ж, посмотрим,— кинул поручик и приказал: — Кончайте с ним. Пожалуйста..»

Вежливый Ни разу, как говорит Михейкин, голоса не повысил. Подлец!.. Убийца!.. А дальше было



« Но мой партийный
билет и детей
моих - не трожь!
Не трожь,
говору я тебе!..»



Был бой.
Короткий и беспощадный.
Прямо как на поединке...

Я никогда не буду чувствовать себя полностью
счастливым и спокойным, пока не сделаю этого,
не выполню клятву, данную сейчас,
над мотилой настоящего большевика
Ивана Григорьевича Бородина...



так: бандиты набросили петлю на Бородину. Один из них взялся двумя руками за конец веревки и начал медленно тянуть его к земле. Страшная, должно быть, сила была в тех бандитских руках. Тело Бородина оторвалось от земли и повисло... Так и держал бандит веревку, пока последняя судорога не вышла из тела Ивана Григорьевича. И только после этого он отпустил конец. Мертвое тело Бородина гулко ударилось о землю...

Рассказ Михайкина потряс меня до глубины души. На царской каторге, на фронте мне не раз приходилось видеть, как умирают люди. Но, предвидя последние минуты жизни Бородина... Мне стало жутко. Какой силой воли, верой в себя и в свое дело нужно обладать, чтобы так героически и стоически принять мучительную смерть! А я... Я усомнился в честности этого человека, не разобравшись в нем, не увидев героя. Я должен сделать все, чтобы банда «поручика Викентия» была уничтожена, а сам он попал в руки революционного правосудия и был справедливо наказан им. Я никогда не буду чувствовать себя полностью счастливым и спокойным, пока не сделаю этого, не выполню клятву, данную сейчас над могилой настоящего большевика Ивана Григорьевича Бородина...

...И вновь знакомая запись: о встрече комиссара Орла с академиком Лазаревым, спор с немецким журналистом Брауном. Об этом я тоже читал в отрывке из повести Клычева. Интересно... Святослав Павлович выбрал для публикации в газете два совершенно разных фрагмента из своей книги и почему-то объединил их...

«...Сегодня был у Дзержинского. Ведь я его «крестник».

В январе восемнадцатого года я вернулся с фронта и пришел в Московский комитет партии, чтобы узнать, куда определяться на работу. Во время разговора с секретарем МК в кабинет, постучав, вошел высокий человек в шинели до пят. Он протянул руку секретарю, молча кивнул мне и открыто спросил: «Я не помешал?» Секретарь ответил: «Нет, Феликс Эдмундович, наоборот, даже можете помочь. Комиссар Орел вернулся с фронта, и вот решаем, куда его направить на работу». Дзержинский быстрым взглядом оглядел меня, сунул руки в карманы шинели и сел на стул, у стола. «С какого года вы в партии, товарищ?» — спросил он. Я ответил. Откровенно говоря, я представлял себе Дзержинского другим. Старше, что ли... А здесь, рядом со мной, сидел молодой еще человек. «Кто вы по профессии?» — снова спросил Дзержинский. «Физик». «Прекрасная профессия!» В его голосе прозвучала грусть. Он вынул руки, положил на колени. «Я могу предложить вам работу», — сказал он. — В ЧК. «У меня нет сыского опыта». «У вас есть другое, более ценное, — усмехнулся Дзержинский, — окопный опыт, опыт каторги, — он уже держал в руках мою анкету, — и шесть лет в рядах партии. В двенадцатом году не многие вступали в РСДРП большевиков. Ну как, согласны?»

И вот сегодня Дзержинский вызвал меня. Едва я вошел, как он тут же спросил:

— Почему за вас ходатайствует академик Лазарев? Почему вы сами не написали рапорт с просьбой отпустить вас к нему?

— Потому что, дав ему принципиальное согласие, я до сих пор не убежден, должен ли это делать.

— Скажу вам откровенно, лично я против. Но в данном случае, наверное, прав академик Лазарев. Вы нужны нам, но еще больше нужны сегодня науке, Петру Петровичу Лазареву и Ивану Михайловичу Губкину.

Он замолчал. И внезапно заговорил совершенно о другом:

— По поводу вашего рапорта. Я не возражаю против того, чтобы вы возглавили операцию по ликвидации банды «поручика Викентия». Он нам очень мешает. Далее. Меня заинтересовало ваше сообщение о журналисте Брауне. Из других источников нам уже известно, что он пытается проникнуть в круг крупных московских ученых. Теперь в орбите его внимания — профессор Остальский...

— Феликс Эдмундович, я хорошо знаю Генриха Петровича...

— Мне известно об этом... Дело в том, что он работает в Госплане, — заметил Дзержинский, — а там постоянно происходит утечка информации. Наши товарищи вышли на инженера Жука, Владимира Петровича. Кстати, он тоже, кажется, часто бывает в доме Остальского. Вы хотите что-то сказать?

— Я знаю и инженера Жука. И мне известно, почему он бывает в доме профессора Остальского.

— Почему же?

— Он влюблен в племянницу профессора, в Веру Васильевну Остальскую. Видите ли, Феликс Эдмундович, на инженера Жука еще три месяца назад вышел именно я. А потом передал все материалы в отдел с просьбой поручить другому сотруднику заниматься Жуком...

— Почему вы так поступили? — строго спросил Дзержинский.

— Я... люблю Веру Остальскую. И потому я не чувствовал для себя возможности заниматься дальше делом инженера Жука.

— А-а, — улыбнулся Дзержинский. — Следовательно, вы уже не любите Веру Васильевну Остальскую?

— Нет... почему же... — Я смутился и не знал, что ответить.

— Любите?... В таком случае обязательно поживайте у Остальских. И решайте: или — или... В любви, как и в нашем деле, должна быть полная определенность... И на прощание. Прошу вас помнить: где бы вы ни работали, вы остаетесь чекистом. Желаю успеха!..»

«...Вот и все! Мы, кажется, объяснились. Прощай, Верочка Остальская! Как же я мог так ошибиться в ней? Бедный профессор... Он был крайне расстроен всем происшедшим. Генрих Петрович — порядочный человек, он просто слишком слаб для наших дней. Он хочет, чтобы все было мягко, нежно, без насилия и крови. Я бы тоже хотел этого, но в революцию так не бывает...

Попытаюсь как можно тщательнее восстановить все события вечера. Но я уже должен, обязан забыть, что еще вчера любил эту женщину, что и сейчас люблю ее и буду, наверное, любить ее всегда. Но между нами все кончено.

Итак, что же произошло? Что?.. Я пришел к ним вечером. Я хотел видеть Верочку. Но пришел еще и потому, что случайно прочитал в блокноте Брауна, что он будет у профессора. А Феликс Эдмундович сказал, что этот господин пытается проникнуть в московские научные круги. Профессор Остальский работает в Госплане, а там происходит утечка информации. И еще Жук... Инженер Жук — давний поклонник Верочки. Она сама, смеясь, как-то сказала мне: «Господи, он же пять лет объяс-

няется мне в любви. Он такой смешной...» Он совсем не смешной, а хитрый и опасный враг, недодый и мерзавец, и я пытался осторожно намекнуть однажды Верочке на это. Но, увы, сам же испугался, что она расценит мои слова как «клевету» на соперника. Это, видимо, и не давало мне морального права заниматься Жуком по долгу службы, как чекисту. Я опасался, что мои чувства могли взлететь вверх над разумом... И вот в конце концов выяснилось и я и Жук безразличны Верочке, ибо она любит Глеба Саулова, о существовании которого я в этот вечер впервые услышал.

В гостиной сидели Верочка, Браун, Жук и Генрих Петрович. Я сразу же заметил, что Верочка слишком возбуждена. И вот когда Жук попросил Верочку сыграть «Ноктюрн» Шопена, она почему-то вспыхнула и ответила: «Хорошо! Я сыграю Шопена, но только не «Ноктюрн», а траурный марш!» Генрих Петрович сел за рояль, а Верочка на миг прислонила голову к грифу виолончели и заиграла. Боже мой, как она играла! Я в жизни до этого дня не слышал такой игры. Но вдруг она резко опустила смычок, и аккорд рояля тоскливо повис в воздухе. В комнате наступила неловкая тишина. Никто не решился аплодировать, потому что Верочка играла так, словно здесь, рядом, лежал покойник. «Вы чудесно играли, Фройлен Вера», громко и одобрителем сказал Браун, как будто он только что съел порцию сосисок и запил их баварским пивом. «Фройлен Вера, — чуть слышно произнесла Верочка. — Как это непривычно звучит». «Да, — почему-то обрадовался немец, — в моем языке действительно довольно много резкости и твердости». «Сегодня стояла в очереди за селедкой, — уже громче и с каким-то надрывом продолжала Верочка. — столько народу... Холодно было... Шел дождь. Ужасно... А одна старушка сказала мне: «Что, девка, уж и чемодан собрала? К Юденичу хочешь драться?» Сначала я не поняла, о чем это она, о каком чемодане, а после догадалась, что она говорит о футляре для виолончели... Футляр для виолончели — чемодан! Господи, какие же мы разные... А жить должны вместе!...» «Не надо! — В голосе Генриха Петровича прозвучали испуганные нотки. — Не надо обращать на это внимание, девочка!» Она взглянула на него и забормотала: «Фройлен Вера... Девка... Девочка. Да кто же я?» «Простите, но я, — попытался что-то сказать Браун, — я не хотел...» «Да вы-то здесь при чем! — резко оборвала его Верочка. — Что вы вообще тут делаете, в России?» «Я... Собственно, я журналист». «А-а, журналист! Понимаю... Наблюдаете жизнь, да?» Генрих Петрович встал и, чтобы как-то разрядить обстановку, пригласил всех пройти в другую комнату, к столу. «Да, да, — закричала Верочка, и на ее щеках стали явственно выступать красные пятна — К столу! К столу! На пир во время чумы!.. Прошу вас, мой воздыхатель господин Жук! И вас, господин журналист, и вас, товарищ большевик, вы ведь тоже мой ухажер, да? Господи, каким успехом я пользуюсь! У белых, у красных, у черных!...» «Верочка! — испуганно воскликнул профессор. — Ты, кажется, переходишь все границы...» Верочка же закричала в голос: «Какие границы, дядя? О чем ты? Скоро вообще не будет никаких границ! Ты что, дядя! При мировом коммунизме не будет никаких границ. Ни-ка-ких!»

Все мы сидели, опустив глаза. Нам было не по себе. И только Браун с удовольствием наблюдал за происходящим. У него даже ноздри стали раздуваться, как у зверя. Отвратительные, заросшие рыжими волосами ноздри большого, мясистого носа. Может быть, у него в голове уже зарождался

замысел будущей статьи о скандале в доме известного русского профессора химии. «Госпожа Вера, — Браун, очевидно, решил еще больше подлить масла в огонь, — а что плохого в том, что я нахожусь в это время в России? Вы с таким... ммм... неудовольствием сказали «наблюдаете жизнь», что мне, право...» «Вы наблюдаете жизнь? Вы? — воскликнула Верочка. — Ну, разумеется, вы наблюдаете жизнь, а почему бы вам ее и не наблюдать? Это хорошая профессия — наблюдатель жизни... Когда мы с Глебом были в Петрограде, познакомились там с одним иностранным журналистом. Он тоже наблюдал жизнь. Он был американцем...» Она опустила голову и исподлобья взглянула на меня. Ее взгляд излучал ненависть. Я ничего не мог понять, ничего... И потом — какой Глеб? Я слышал о нем впервые... «Да, — повторила Вера, — он был американцем. Его имя Джон Рид. Вы знаете его, господин Браун?» «О-о! — зачмокал губами немец. — Большой репортер! Блестящее перо!» «Такой же негодяй, как и все красные!» — злобно выкрикнула Вера. Профессор вскочил со стула, бледный. Как он испугался! Он, наверное, вообразил, что я сейчас же, немедленно выхвачу маузер и всех арестую. «Вера! — кричал он. — Прошу тебя. Ну что ты говоришь?.. Опомнись!.. Господа! Товарищи!.. Не обращайтесь на нее внимания. Она очень утомлена...» Я пытался успокоить его, но во мне что-то оборвалось. Я решил уйти и начал прощаться. Здесь мне больше нечего было делать. А Вера кричала мне вдогонку: «Уходите! И вы, Жук. убирайтесь вон! Вы оба не стоите — слышите! — не стоите и мизинца моего Глеба!..»

В дверях меня догнал Генрих Петрович, в накинутом на плечи пальто, без шляпы. «Не сердитесь на нее, — бормотал он, — понимаете, я не хотел вам говорить раньше... Давайте постоим немного в подъезде. Я боюсь простудиться». «Генрих Петрович, — сказал я, — что случилось сегодня с Верой, почему она такая?» «Да, да, разумеется... Я должен был сказать вам раньше. Дело в том, что несколько лет назад Верочка была помолвлена с Глебом Сауловым, старшим сыном моего друга, профессора Саулова Сергея Викторовича. Он живет в Петрограде...» «Почему же вы говорите об этом только сегодня? Вы знаете, что я люблю Верочку». «Вера просила не говорить. Она любит нравиться, любит, когда у нее много поклонников, понимаете?» «Понимаю, — горько усмехнулся я. — Значит, мне была отведена роль пажика?» «Простите, но она... действительно любит Глеба. Он славный человек, умица, талантлив. Может быть, вам это и неприятно слышать». «Где он сейчас?» — перебил я. «Во время войны попал в немецкий плен. Он и сейчас в Германии». «Он что же, забыл вернуться на родину?» — Я чувствовал, что не могу сдержать раздражения и обиды. «Он серьезно болен, у него туберкулез. А сегодня утром к нам пришел его бывший сослуживец Лавр Зигмунтович Маринкевич и сказал, что Глеб очень плох и просит Верочку, во что бы то ни стало приехать к нему в Берлин». «Откуда этот Маринкевич узнал о Глебе Саулове?» «Не знаю. Верочка ходила сегодня в Комиссариат иностранных дел... или ВЧК, право, не знаю точно, куда именно. Просила разрешить ей выехать в Германию, но ей отказали. Если ее не выпустят...» Он внезапно вцепился в мой рукав и горячо зашептал: «Послушайте, послушайте, вы же влиятельный человек, и я прошу вас...» «Что? Вы хотите, чтобы я сам ходатайствовал?!» «Да! — выдохнул он. — Если вы любите Верочку, вы должны это сделать!..»

Я ушел, не ответив ему. Что ж мне делать?..»

«...Я попросился на прием к Дзержинскому и все ему рассказал

— Вы полагаете, что мы можем отпустить ее? — спросил он.

— Думаю, что можем, Феликс Эдмундович.. Остальная не враг. Сейчас она на грани... необдуманного поступка.

Дзержинский быстрыми шагами ходил по кабинету.

— Что вы успели узнать о Глебе Саулове?

— Не многое, Феликс Эдмундович. Глеб Сергеевич Саулов, поручик царской армии, награжден георгиевским крестом за личную храбрость. Отец его...

— Об отце я знаю, — перебил Дзержинский. — Вот прочитайте, это получено от него.

Он протянул мне листок бумаги, исписанный бисерным почерком: «Уважаемый Феликс Эдмундович! Я знаю наверное, что мой сын Глеб, попав в немецкий плен, заболел туберкулезом и временно — по моему настоянию — остался в Германии, так как нуждается в серьезном медицинском лечении и хорошем питании. Мой сын — Глеб Сергеевич Саулов — честный русский офицер, не запятнал своих рук кровью невинных людей. Я уверен, что до конца жизни он останется патриотом своей родины. Именно таким мы и воспитывали Глеба: его дед и я. По выздоровлении мой сын сразу и непременно вернется в Россию для службы своему отечеству и своему народу. Я консультировался с несколькими видными специалистами, и они считают, что проезд в Германию к моему сыну его невесты Веры Васильевны Остальской может благотворно сказаться на здоровье Глеба. Поэтому я нижежайше прошу Вас и соответствующие учреждения проявить в этом вопросе душевную доброту. Что же касается меня, я жил, живу и буду жить в Советской России и постараюсь принести ей пользу, поелику возможно и покуда хватит сил моих. С уважением, С. Саулов, профессор»

— Что скажете? — спросил Дзержинский

— Я присоединяюсь к просьбе профессора Саулова. Сам Сергей Викторович с первых дней революции стал сочувствовать нам, вы это знаете, Феликс Эдмундович. У него есть еще сын, Сергей. Почти мальчик. Несчастный ребенок, он в детстве попал под пролетку и остался калек на всю жизнь.

— Что вам удалось выяснить о сослуживце Глеба Саулова — Маринкевиче, передавшем Остальской просьбу жениха?

— Бывший офицер. Настроен явно антисоветски. Но не был замешан ни в одном из выступлений против Советской власти. Уверяет, что просьбу Глеба насчет Остальской передал ему совсем недавно бывший ротмистр Гарин, сослуживец Саулова и Маринкевича.

— А Гарин? Это что за фигура? — спросил Дзержинский.

— Участник контрреволюционной организации офицеров. К сожалению, проверить правильность показаний Маринкевича не удалось: Гарин недавно в перестрелке с чекистами был убит.

— Может быть, Маринкевичу это тоже известно и поэтому он сослался как раз на Гарина? Может быть, и сам Маринкевич не такой уж «мирный», тем более настроен антисоветски...

— Я понял, Феликс Эдмундович. Мы еще раз его проверим

— Хорошо, — кивнул Дзержинский. — Как обстоит дело с ликвидацией банды «поручика Викентия»?

— В среду начинаем. Мы знаем все места, где

базируется банда и где бандиты скрываются после налета

— Итак, в среду, — повторил Дзержинский. — Хорошо, Орел!..»

«...Прощай, любовь моя несостоявшаяся!.. Я последний раз видел Веру. И сказал ей, что вопрос с ее выездом в Германию решен положительно. Пожелал ей счастья. «Вы, верно, думаете, что я декабристка? — спросила она тихо. — Простите меня, но я люблю его». Я ответил, что не считаю ее декабристкой, хотя бы уже потому, что те русские женщины ехали в каторжную Сибирь, но могу понять ее чувства. Она подошла ко мне, обняла и поцеловала в щеку «Храни вас бог. Вы добрый человек. А за мою глупость... тогда.. вы понимаете.. простите великодушно.. Мужу станет легче, мы вернемся, и вы станете друзьями. Он славный человек, он похож на своего отца...» Вот и все. Послезавтра Вера отбывает. А я завтра выезжаю в отряд. Ликвидируем банду, и я вернусь к своей физике. Я буду работать с академиком Лазаревым!..»

«...Был бой Короткий и беспощадный. Прямо как на поединке. мы встретились лицом к лицу с ним, с «поручиком Викентием» Красивый человек С холодным, надменным лицом. Я стрелял в упор и промахнулся. Нервы. Он выстрелил и зацепил мое плечо. А у меня уже не было патронов. Тогда я швырнул гранату. От взрыва и его и моя лошадь понесли в разные стороны, но я успел увидеть, как «поручик Викентий» повис на шее лошади. Все Банды больше не существует. Спи спокойно, Иван Григорьевич Бородин...»

«...Странно, но мне больше не хочется вести дневник. Впрочем, дневник ли это был? Обычно человек начинает вести дневник в самом начале, в юности. Я же, увы, далеко не гимназист. Просто у человека бывают такие минуты, когда ему хочется с кем-то поделиться, кому-то доверить то сокровенное, что лежит на душе. Таким другом стал для меня дневник. Но, случается, друзей теряют. Я почему-то не хочу больше писать. Следовательно, я потерял своего друга...»

И все же комиссар Орел еще раз открыл эту тетрадь.

В 1928 году он записал.

«...Сначала я не поверил, получив письмо от Веры. Она писала, что находится в Москве, приехала в качестве переводчицы немецкой делегации инженеров...»

И далее — та самая «записка из тайника». Первое звено в цепи...

Веня тем временем уже давно прочитал все документы, которые мы захватили, и с нетерпением поглаживал на меня

Я молча протянул ему тетрадь. а он мне — стопочку листов.

Новых материалов оказалось не так уж много. Была справка из архива Министерства обороны СССР, свидетельствующая, что «...капитан запаса Клычев Святослав Павлович награжден двумя орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга.»

В справке из Московского высшего технического училища имени Н. Э. Баумана говорилось, что

«...Клычев С. П. поступил в 1940 году в училище и в 1941 году ушел со II курса на фронт добровольно...»

Справка из Центрального адресного бюро сообщила, что «...Клычев Святослав Павлович проживал с 1925 года по 1942 год включительно по адресу: г Москва, ул. 1-я Мещанская, дом 28, кв. 5. Вместе с ним проживали: жена — Клычева Анна Андреевна, 1922 года рождения, и до 1940 года в указанной квартире также проживал отец Клычева — Павел Егорович Клычев...»

Эти документы мало давали каких-то новых сведений о жизни учителя Клычева

Значительно больше новых документов оказалось по Галицкой.

Я перечитывал справки, подтверждавшие, что она жила и работала в Уфе, в Казани, в Новосибирске. Поступила справка и из Киевского кредитно-финансового техникума, даже с копией ведомости об успеваемости учащейся Ксении Эдуардовны Колесниченко.

— Ты обрати внимание на киевский период жизни Галицкой, — буркнул Веня, — связанный с ее пребыванием в детском доме.

Ага, вот она, справка из Киевского детского дома... Так что же интересного нашел в ней Веня? В 1932 году десятилетняя девочка Ксения принята в детский дом... В 1935 году взята на воспитание родственником Эдуардом Тимофеевичем Колесниченко. Но это нам уже известно... А вот и то новое, что удалось раздобыть капитану Анбасарову. Он побывал в Киеве и обнаружил в архивах весьма любопытный документ.

Ах, Веня-Веня, так скромно о таком важном документе!..

Это было заявление Эдуарда Тимофеевича Колесниченко о том, что он хочет воспитать девочку, готов... обязуется и пр. и пр. Заявление написано им. Собственноручно.

Но главное-то было в другом документе. Прочитав его, я ошарашенно уставился на Веню и проворчал:

— Ты понимаешь, что это такое?

— Естественно, — хмыкнул Веня. — Я все понимаю. И терпеливо ждал, когда ты наконец прочитаешь дневник. Я только одного не понимаю, зачем шеф заставил нас читать этот дневник, если мы, кажется, вышли наконец на главного!..

Я ничего не ответил, я думал о заключении экспертизы, которая гласила, что почерк человека, написавшего записку Галицкой: «Последний раз предупреждаю — верни! И знай, или мы вместе, или... С.» — и почерк Эдуарда Тимофеевича Колесниченко, взявшего на воспитание тринадцатилетнюю Ксению, — оказались идентичными. А это значило, что таинственный «С.» и Э. Т. Колесниченко — одно и то же лицо. И, следовательно, именно его в первую очередь надо искать. В чем и был абсолютно прав Вениамин Бизин. А между тем Полковник ни словом не обмолвился об этом документе, словно проверял нас на элементарную наблюдательность и сообразительность. И главным-то документом Кирилл Борисович почему-то посчитал все-таки дневник комиссара Орла... Что же этакое, сверхважного вычитал он в нем? Я был уверен: он сделал это не случайно. Нет, я хорошо знал нашего шефа.

— Вот что, Веня, — помолчав, сказал я, — давай-ка забудем про все.

— Про что? — удивился он.

— Про все! — повторил я. — И про записку, которую принес Лютенко, и про заключение экспертов. Нет у нас всего этого. Вспомни, что сказал Полковник..

В комнату вошел Минхан Абугазин. — Штудируете? — улыбнулся он, кивая на лежащие в беспорядке бумаги.

— Минхан, — горячо заговорил Веня, — может, ты объяснишь, зачем весь этот цирк с дневником? Есть Колесниченко, есть «С.». Надо искать одного из них, найдем обоих! Зачем же усложнять? Теперь, кажется, все прояснилось.

— Веня, — отозвался тихо Минхан, — у нас нет ничего конкретного. Это на первый взгляд все вроде бы прояснилось, а если иначе взглянуть, так ведь еще больше запуталось. Мы думали: кто такой «Симаков»? «Седой»? «Хромой»?.. А теперь «С.» — еще к тому же и Колесниченко. Просто?.. Ну-ну... А кого из них искать? И кто есть кто? И, наконец, где их всех искать?

— Судя по тому, что вертится вокруг нашей области, — ответил я, — и искать нужно здесь.

— А он окажется в Дарьинске, как Раимджан, — возразил Минхан. — Или в Гомеле. Или в Риге... Или...

— Кто «он»? — бросил Веня.

— Любой из них может быть «он», если уже не «он»! — вздохнул Минхан. — Сознаюсь: грешен. Поначалу я тоже не придал значения отрывку из повести Клычева. А кто из нас придал? Шигарев? Кирилл Борисович? Генерал Сегиэбаев? Прокурор области Докаев?.. Никто не придал. До тех пор, пока не выяснилось, что тетрадошка пряталась в железнодорожной камере хранения. Не в домашнем тайнике, не среди книг, не в чемодане с вещами, а в камере хранения. Одна тетрадошка в старой сумке лежала там, больше ничего! Слушайте, надо быть полным идиотом, чтобы не придал этому факту особого значения.

— Считайте, Минхан Ергалиевич, — огрызнулся Веня, — что я полный идиот!

— Нет, Вениамин Александрович, — ласково заулыбался Минхан, — вы не идиот. Вы хороший оперативный работник. Но... — Он многозначительно поднял вверх палец. — Но в данном случае эти ваши качества уже бесполезны для дела.

— Спасибо! — обиженно кивнул Веня.

— Больше того, — продолжал невозмутимо Минхан, — они даже начинают вредить и вам и делу. Вы все еще в погоне за Рахманом Икрамовым и Раимджаном Ходжаевым. Успокойтесь и остановитесь: они уже сидят. А теперь поразмышляйте...

Ничего ласкового в голосе Минхана и в помине не было. Он сидел, ссутулившись, и буравил нас своими черными глазами.

— «С.» требует от Галицкой, чтобы она ему что-то вернула. Так? Так! Угрожает? Верно? Верно!..

Он сам себе ставил вопросы, сам и отвечал на них. Казалось, что про нас Минхан вовсе забыл.

— А может быть, именно этот дневник он от нее требовал? Почему бы и нет? Возразите же мне, что он требовал от нее нечто другое. Не можете. Правильно. Не можете, потому что не знаете, как этот дневник попал к Галицкой. И я не знаю. Но построить версию я могу? Могу! И я ее строю. Пожалуйста. А вы ее рушьте, ради бога! Но разрушьте аргументированно. Так вот, каким образом дневник комиссара Орла попал в руки Галицкой? Я задаю себе этот вопрос. И знаете, что сделал? Отправился в Салтановск!..

— Ты был в Салтановске? — выдавил я из себя.

— Да, Виктор Николаевич, — кивнул Минхан, — я был в Салтановске. И сделал там то, чего не сделал ты, друг мой! Я облазил весь Салтановск.

Это, конечно, громко сказано, но все-таки я побывал в аэропорте, на вокзале, на автобусной станции — во всех выходах из города. И всюду разным людям показывал фотографии Галицкой, Ковальчука и Раимджана.

— И что же? — пробормотал Веня.

— Все прекрасно! — воскликнул Минхан. — Галицкая была в Салтановске. В ночь на пятое июня. Сидела на скамейке в зале ожидания в местном аэропорте. Ее опознал по фотографии дежуривший в ту ночь сотрудник милиции Жакенов. Был там же, в аэропорте, и Раимджан Ходжаев и передал ей — Галицкой — портфель. Его же опознал не только Жакенов, но и кассир. Ходжаев брал в кассе билет на Дарьинск. Ковальчука же никто не видел. Кстати, Раимджан был в Салтановске и шестнадцатого мая, его опознала по фотографии бортпроводница рейса Дарьинск — Салтановск... Так что же мог передать Галицкой в ту ночь Раимджан? Думаю, все, что было связано с публикацией отрывка из повести учителя Клычева в местной газете «Маяк». Я не уверен, что рукопись его книги сгорела во время пожара. Просто эту рукопись Галицкая — заметь, Веня, не Раимджан, не Ковальчук, не Зикен Бейсеев, а Галицкая! — отдала «С.». А дневник по какой-то причине оставила у себя.

— Ты так говоришь, будто все уже доказал! — возразил я, несколько задетый его словами.

— Что ты! Что ты! — замахал руками Минхан. — Это всего лишь моя фантазия выиграла. Но почему бы и не пофантазировать немного, а? Смотрите, что получается... — Минхан взял чистый лист бумаги и достал из кармана ручку. — Сделаем «разметку». Сначала по Клычеву. Тридцать первого мая был опубликован Указ Президиума Верховного Совета республики о награждении Святослава Павловича. Через день в «Маяке» — отрывок из его повести. Третьего июня — Барманкулову звонит «Симаков» и просит свести его с Клычевым. Кстати, я посмотрел в библиотеке последние книги, выпущенные издательством. Одну из них редактировал П. Симаков. Поэтому можно представить, что преступник воспользовался фамилией, просто-напросто прочитав эту фамилию в той же книге. Между прочим, это говорит и о том, что «Симаков» действительно живет где-то здесь, в Казахстане. Я навел справку: почти весь тираж этой книги был распространен в нашей республике. Ну, ладно... Третьего же июня, вероятно, «Симаков» снова звонит в Салтановск, на этот раз Клычеву. Телефонный звонок из квартиры Галицкой в квартиру Клычева, во всяком случае, зафиксирован. Так?

— Так, — киваю я.

— Четвертого июня банкет в ресторане «Весна». В ночь на пятое июня — пожар в доме Клычева. Шестого июня — понедельник. В понедельник, замечу, Раимджан Ходжаев не работает, его газетный киоск закрыт. Это из вашего рапорта Правильно?

— Правильно, — подтвердил Веня.

— Вы не забудьте, пожалуйста, о тяжелом дне — понедельник, — со значением сказал Минхан. — Он нам еще пригодится. И не раз. А теперь давайте вернемся ко второму июня. Вместе с отрывком в газете были опубликованы фотография Клычева и его краткие биографические данные. Могли ли эти данные и фотографии заинтересовать того, кто почему-то опасался учителя Клычева? Может быть, того же «Симакова»? А может быть, «Симаков» — это и есть «С.», он же «Колесниченко»...

— При таком пасьясе он имеет право быть и «Седым!» — ехидно ввернул Веня.

— Совершенно справедливо! — охотно согласился Минхан.

— Но уж ни в коем случае не Ковальчуком! — закончил свою мысль Веня.

— Если моя версия окажется плодотворной, — улыбнулся Минхан, — то «Симаков» поможет нам установить, где находится Ковальчук!..

— Минхан, не крути! — перебил я. — Выкладывай!

— Понимаете, по моим расчетам получается, что Раимджан Ходжаев уже в день побега Ковальчука узнал о случившемся. Когда сбежал Ковальчук? Восемнадцатого июля... Это был понедельник. Опять понедельник. Я читал ваш рапорт о встрече с женой Раимджана в больнице. Ее ведь увезли тоже в понедельник, с сердечным приступом. Чем он был вызван? Жена Раимджана объяснила вам. Она испугалась. Оказывается, между нею и Раимджаном произошел бурный скандал по поводу денег. Тогда Раимджан собрал чемодан и ушел из дома. И вот пожилая женщина испугалась, что муж решил бросить ее на старости лет. А что же Раимджан? На следующий день вернулся домой. Где он был в ту ночь?

— Да где угодно! — пожал плечами Веня.

— Согласен, — кивнул Минхан. — Но лично я полагаю, что восемнадцатого июля Раимджан Ходжаев должен был встретиться с Ковальчуком и передать ему что-то, то, что находилось у него в чемодане. Возможно, вполне, наркотик. И встреча у них была запланирована.

— Это несерьезно! — возразил я. — Не поверю, чтобы Раимджан при его осторожности сам повез наркотик Ковальчуку. Нет, это нереально!..

— Очень даже реально! — воскликнул упрямо Минхан. — Да именно потому, что Раимджан Ходжаев — осторожный человек, он и не мог доверить никому встречи с Ковальчуком. Не забывайте, чем они повязаны: двойным преступлением. Если принять мою версию за истину, то больше не будет вызывать удивления тот факт, что Ковальчука по фотографии никто из людей Раимджана и Тургая Кадырова не мог опознать. Либо он вообще ни разу не был в Дарьинске, либо имел выход только на Раимджана, а тот себя надежно законспирировал... Так вот, допустим, Ковальчук не пришел на встречу, чем сильно напугал Раимджана. Лететь в Салтановск он не хочет, там его могут случайно опознать. Звонить Ковальчуку некуда. Посылать телеграмму он не станет, потому что она может долететь «с хвостом». И тогда он должен был встретиться еще с кем-то. С человеком, который сообщил бы ему о Ковальчуке или, наоборот, которому Раимджан обязан был сказать, что Ковальчук на встречу не явился.

— «Симакову» или...

— Может быть, может быть. — не дослушав, перебил Минхан, — а может быть, есть еще кто-то — третий, четвертый, пятый... Назовем его «Икс», так будет точнее. Я думаю, что Раимджан восемнадцатого июля встретился с «Иксом», и тот сообщил ему о побеге Ковальчука. Они договорились, как себя вести Раимджану в случае ареста...

— Минуточку! — поднял руку Веня. — Если следовать твоей логике, то надо прийти к тому, что «Икс» и укрыв Ковальчука? Или помог ему скрыться?

— Значит, «Икс» — главарь? И полное подчинение ему со стороны Раимджана и Ковальчука? — сказал я. — Допустим. Но тогда что их связывает? Почему они пошли на убийство Галицкой и Клычева?

— Все правильно, Виктор! — заметил Минхан. — Хорошие вопросы. Но прежде надо выяснить, кто кому подчиняется и что в самом деле связывает их... К примеру, Ковальчук полностью зависим от Раимджана, ибо тот снабжает его наркотиком. А по-

чему Раимджан зависит от «Икса»? Этого мы пока не знаем. Раимджан, уже уверенный в том, что у нас нет Ковальчука и что мы пока не вышли на «Икса», ничего сам не скажет. В этом, к сожалению, сомневаться не приходится. Я такую категорию людей знаю. Значит, один-единственный у нас выход — найти «Икса». Вот так, ребята...

— А «пальцы» Раимджана в квартире Галицкой? — произнес Веня. — Если его на этом «поймать»? Он же убежден, что «не наследил»...

— Э-э,— небрежно отмахнулся Минхан. — Знаете, что я бы сделал на его месте, предъяви мне такую улику? Немедленно признался бы, что был в квартире Галицкой. Больше того, сказал бы, что был ее любовником и так далее. Словом, выдал бы «нагора» романтическую историю. Чем он рискует, пока у нас нет Ковальчука и «Икса»? Галицкая мертва, она ничего не опровергнет. Раимджан Ходжаев не мальчик, его на такие крючки не поймаешь!..

Минхан потянулся к графику, налил воды, выпил. — Давайте суммировать,— сказал он, поставив стакан. — Естественно — по этой версии, с точки зрения реальной фантастики. Если допустить, что Клычев написал повесть на основе документального материала и «высветил» того, кто хотел бы остаться в тени; если допустить, что Раимджан Ходжаев передал рукопись Галицкой, а также дневник комиссара Орла, и та не отдала дневник «Иксу», чтобы иметь возможность его держать в руках, за что и заплатила жизнью; если допустить, что Раимджан и Ковальчук были всего лишь рядовыми исполнителями, значит, надо искать ответ на вопросы: чем газетный отрывок и дневник комиссара Орла могли испугать «Икса» и кто такой «Икс»? И где он скрывается, хотя это уже более проблематично, как говорится, если иметь в виду, что последняя запись в дневнике сделана в двадцать восьмом году. Однако прежде чем ответить на все эти вопросы, мы должны получить исчерпывающий ответ на один вопрос — кто такой комиссар Орел? Мы должны узнать все подробности его жизни и смерти, если он умер. Не надо исключать того, что комиссар Орел жив...

21

...Мы ждали ответы на наши запросы. Розыск как бы затормозился. Но так могло показаться лишь человеку, не очень искусственному в наших делах, ибо каждый день шла незаметная, кропотливая работа по нашей операции, условно названной «Цепь». Множество людей было втянуто в нее — и те, кто участвовал в объявленном всесоюзном розыске сбежавшего из-под стражи Федора Ковальчука; и те, кто сейчас собирал информацию в Москве по нашим запросам о комиссаре Орле, чекисте Держинского, научном сотруднике академика Лазарева, командире отряда, принимавшем участие в разгроме басмаческих шаек в Средней Азии; и те, кто должен был прояснить для нас фигуры белогвардейских офицеров Маркелова и Маринкевича, а также инженера Жука, активно боровшихся с Советской властью в первые годы ее становления (а может быть, и не только в первые годы!..).

Полковник и Минхан согласились с моим мнением, что мы должны получить сведения по всем известным нам лицам, так или иначе упоминавшимся в дневнике комиссара Орла.

Да, много людей оказались причастными к нашему розыску.

...Первый же поступивший ответ — из Центрального партийного архива — дал серьезнейшую информацию. Нам сообщали: «...«Комиссар Орел» — партийный псевдоним члена РСДРП(б) с 1912 года Клычева Павла Егоровича, доктора физико-математических наук, профессора. Во время гражданской войны т. Клычев П. Е. был награжден орденом Красного Знамени. В 1940 году, будучи руководителем крупного научно-исследовательского института, награжден орденом Ленина за активное и выдающееся участие в создании оборонной техники...» Далее в справке говорилось, что Павел Егорович Клычев в том же 1940 году во время отдыха в Одессе погиб от рук врагов.

В конце ответа была фраза: «...рекомендуем связаться с ленинградским пенсионером Куликом Зиновием Михайловичем, занимающимся составлением биографий первых русских советских ученых...» И прилагался адрес Кулика.

Поступали ответы и о Маркелове, Маринкевиче и инженере Жуке.

Оказалось, что Маркелов и Маринкевич входили в группу, которой руководил Маркелов.

В частности, группа совершила убийство профессора Клычева в 1940 году в Одессе, при этом его сыну Святославу — свидетелю нападения на отца — чудом удалось остаться в живых. Были арестованы трое участников покушения, в том числе Лавр Зигмунтович Маринкевич (впоследствии расстрелянный по приговору военного трибунала). Сам же Маркелов скрылся, несмотря на то, что были приняты меры к его розыску и задержанию. Никто из арестованных участников группы не знал подлинной фамилии Маркелова, в то же самое время они утверждали, что Маркелов — это кличка преступника. Они сообщили приметы Маркелова: рост высокий, лицо длинное, глаза голубые, нос прямой, на правой щеке — небольшой шрам, вероятно, осколочного происхождения, заметно хромота на правую ногу.

Эти приметы полностью совпали с описанием, которое сделал сын покойного профессора Клычева — Клычев Святослав Павлович.

Нам сообщили и о том, что следы Маркелова прослеживались и в годы войны, когда он действовал как агент гитлеровцев.

Нам переслали также копию рапорта курсанта Клычева Святослава Павловича на имя начальника особого отдела дивизии, ведшей оборонительные бои в районе Киева. Из этого рапорта следовало, что Клычев случайно в самом начале войны столкнулся на Крещатике с мужчиной, в котором узнал террориста, принимавшего участие в убийстве его, Клычева, отца.

Этот человек известен ему под фамилией Маркелова, так называл его сотрудник НКВД, который вел следствие в 1940 году.

В связи с внезапным налетом немецких самолетов Клычеву не удалось задержать Маркелова, но к прежним приметам он добавил еще одну: у преступника совершенно седые волосы.

Итак, «Седой» — Маркелов? Но какова его настоящая фамилия? И где он скрывается? Судя по всему, действительно где-то рядом... Если, конечно, «Седой» — это и есть Маркелов. Допустим это — и сразу становится понятным, почему погиб учитель Клычев — верной оказывалась версия Минхана. Маркелов случайно прочитал в «Маяке» Указ Президиума Верховного Совета республики о награждении Клычева Почетной грамотой. Указ его настоятельно и вот, почти сразу, — отрывок из повести Клычева и фотография Святослава Павловича. Маркелов, вероятно, узнал сына убитого комиссара Орла. Но

что могло заставить Маркелова действовать, что испугало? Разумеется, и сам факт существования где-то поблизости человека, знающего его, мог настояжить, а подтолкнуть к решительному шагу... отрывок из повести. Отрывок?.. В таком случае, что могло испугать в этом отрывке преступника? Клычев упоминал в нем какие-то фамилии, имена. Начальник станции — Бородин Иван Григорьевич... рабочий Михайкин... «Поручик Викентий»... Стоп!.. В дневнике комиссара Орла есть и отчество поручика — Викентий Модестович... Был еще инженер Жук, второй муж Веры Остальской, племянницы профессора Остальского. Правда, он упоминался не в газетной публикации, а в дневнике комиссара Орла.

Но все равно интересно знать, какова судьба этого Жука?

Ответ мы тоже вскоре получили: в 1945 году после занятия советскими войсками Берлина инженер Жук, незаконно покинувший Советский Союз в середине двадцатых годов и в течение многих лет проводивший активную антисоветскую деятельность, был арестован и судим.

В 1952 году он умер.

Все, кто принимал самое непосредственное участие в расследовании «Цепи», на девяносто девять процентов склонялись к мысли, что теперь искать мы должны одного человека — «поручика Викентия».

И тогда найдем всех остальных, ибо они — все остальные — и есть, вероятнее всего, некто «поручик Викентий Модестович».

А тогда найдется и Ковальчук, и станет понятной роль в этом деле покойной Ксении Эдуардовны Галицкой.

Но был, был этот проклятый один процент из ста, что все может оказаться совпадением. В это никто не верил и не хотел верить. Но мы по роду своей профессии обязаны играть в «веселую» игру: «верись — не верись»...

...Вечером меня вызвал Полковник.

— Виктор Николаевич, завтра утром вы должны вылететь в Ленинград.

— К пенсионеру Кулику? — без большого энтузиазма в голосе уточнил я.

— Совершенно верно, Виктор Николаевич, — добродушно улыбнулся Полковник.

Конечно, я понимал, что он прекрасно видит, как вымотали меня эти командировки, иначе не было бы этого «Виктор Николаевич» и «вы». Мне больше нравится, когда Полковник называет меня «Шигарев» и обращается на «ты».

Ну что ж, в Ленинград, значит, в Ленинград...

22

...Голову Зиновия Михайловича Кулика венчает шевелюра курчавых медно-красных волос, на носу озорно и как-то понарошку блестят кругляшки очков в металллической оправе. И всякий раз, когда я задаю свой очередной вопрос, эти кругляшки вздрагивают у него на носу и начинают искриться. Наверное, из-за блеска живых карих глаз этого человека, которого никак не назовешь стариком, хотя он уже успел сообщить мне, что недавно ему «стукнуло что-то около семидесяти».

Я уже подробнейшим образом расспросил его о профессоре Клычеве.

И теперь он мне рассказывает о Генрихе Петровиче Остальском. Я узнаю, что у профессора Ос-

тальского был брат-неудачник Василий Петрович, от которого ушла жена, Алина Симеоновна Феррапонтова.

Собственно, она не ушла, а самым настоящим образом сбежала с богатым купцом Гордеевым, оставив на попечение мужа двухлетнюю дочь Верочку.

Василий Петрович, не выдержав измены жены, захворал, слег и вскоре умер. И профессор Остальский взял к себе племянницу, а так как он был холостяком, то и посвятил всю жизнь ей и науке...

Кулик время от времени подходит к полкам, вытаскивает то одну, то другую папку.

Сейчас он собирает по моей просьбе материал о семье Сауловых: о Глебе, первом муже Веры Остальской, о его отце...

Все папки в образцовом порядке — позавидуешь такому делопроизводству!.. Не удержавшись, я делаю ему комплимент:

— У вас прекрасный архив, Зиновий Михайлович!

— Да, — соглашается он, — у меня классифицированный архив. Но если посвятил многие годы такому непростому делу, как составление биографий ученых...

— Но ведь не всех же ученых? — перебиваю я.

— Безусловно! — откидывается он. — На это не хватило бы многих жизней таких чудачков, как я. Нет, голубчик, меня интересуют только те ученые, которые, порвав со своими сословными предрассудками, встали на сторону революции, на сторону большевиков.

— А как же профессор Клычев? — возражаю я. — Его ведь не отнесешь в разряд дореволюционных ученых?

— Тут особый случай, — улыбается Кулик. — Во-первых, он был вхож в дом профессора Остальского и, во-вторых, принимал самое непосредственное участие в спасении старой интеллигенции во время голодных дней Петрограда. Вы знаете, что такое Цекубу?

— Нет...

— Разумеется! Откуда вам знать, вы же совсем молодой человек. Цекубу — это Центральная комиссия улучшения быта ученых. Она была создана по указанию Владимира Ильича Ленина вскоре после революции. А возглавил эту комиссию Горький. Так вот, ваш покорный слуга — как и Павел Егорович Клычев — когда-то, много лет назад, с оружием в руках сопровождал продовольственные эшелоны для ученых, умиравших от голода. И вот, когда прошло время, я решил выяснить для себя, почему одни ученые, как, например, Тимирязев, с первых же дней стали защитниками дела революции; другие отрицали революцию, боролись против нее; а третьи — долго сомневались, выбирали, ворчали, да тот же Генрих Петрович Остальский. В то же время профессор Саулов, который вас тоже интересует, друг Остальского, — ученый с европейским именем, бывший царский генерал — без колебаний перешел на сторону рабоче-крестьянской диктатуры. Да, таким он был, Сергей Викторович Саулов. Ах, какую личную трагедию он пережил! Я вам расскажу, — поднял руку Кулик. — Я вам все расскажу, если вам это интересно знать. Итак, с чего начнем?.. Гм... Сергей Викторович Саулов — из разночинцев. У него была большая родня, но никто, как говорится, не достиг того, что удалось ему. Были среди Сауловых и физики — Михаил, Андрей; и военные — капитан первого ранга Ярослав; и модный петербургский парикмахер Модест Саулов, который страдал из-за того, что его единственный сын Викентий тратит все деньги на огромную коллекцию тряпичных «петрушек»; и зем-

лемер Александр Саулов, которого уважали крест-яне за доброту...

Я уже почти ничего не слышу, ибо поглощен одной мыслью: я знаю его подлинную фамилию... я знаю его фамилию... Модный парикмахер Модест Саулов и его единственный сын Викентий... Викентий Модестович Саулов... «поручик Викентий»...

Внезапно в памяти всплывают строчки из повести учителя Клычева, а вернее сказать, строчки из дневника его отца — комиссара Орла: «...Комиссар Орел спросил раненого, кто такой «поручик Викентий». Бандит, кривя губы от боли, прошептал: «Ирод он... блаженный... На пальцы напялит...» И умер на полуслове...»

Этот бандит хотел сказать, что «поручик Викентий» напяливал на пальцы тряпичную куклу, ну да, он же коллекционировал «петрушек»!..

Собственно, теперь мне надо весь наш разговор с Куликом сводить только к одному — к Викентию Модестовичу Саулову, так как он и есть тот человек, кто нас интересует.

Я с трудом удерживаюсь от искушения: свернуть разговор в этом направлении. Нет, нет, я должен — насколько удастся — определить ценность источника информации Кулика, откуда ему так хорошо известно все о родне Сауловых?

Черт возьми, прав майор Сенюшкин, в нашей работе надо быть артистом!

Я изображаю на лице почти подобострастное удивление:

— Поразительно, Зиновий Михайлович! Вы все знаете об огромной родне Сауловых?! И вот так о каждом ученом, о котором собираете материал?

— Ну что вы! — Кулик явно польщен моей наивностью и восторгом. — Конечно же, нет. В данном случае мне просто повезло. Дело в том, что жив еще младший сын профессора Саулова — Сергей Сергеевич. Он-то и рассказал мне многое. Несчастный человек... Сережа почти всю свою жизнь прикован к постели. Но какой оптимизм, какое удивительное чувство веры в Человека, в его силы, в его дух!..

— Вы дадите его адрес?

— Конечно! Он живет в старой петербургской квартире отца.

...Я ушел от Зиновия Михайловича под вечер. И тут же отправился звонить Полковнику.

23

Сергей Сергеевич Саулов жил на Крюковом канале, недалеко от Театральной площади.

Я шел по тротуару и размышлял о том, как странно сплетаются нити человеческих судеб. Я думал о том, сколь коротка оказалась жизнь отца и сына Клычевых и сколь несправедливо долго живет на белом свете человек по имени Викентий Модестович Саулов. Еще в 1919 году его банда активно сражалась с Советской властью. Комиссар Орел — отец учителя Клычева — написал в своем дневнике, что уничтожил «поручика Викентия», швырнул в него гранату. Увы, не всегда наша уверенность — истина.

Викентий Саулов остался жив и, вероятно, именно после взрыва гранаты и начал хромать. Потом их

пути снова пересеклись, в 1940 году. И комиссар Орел погиб. Но жив был его сын, он видел убийцу отца, и мог — даже через двадцать лет — узнать его при личной встрече. И по этой причине тоже погиб.

Конечно же, Саулов живет под какой-нибудь вымышленной фамилией, как жил долгие годы, называясь Маркеловым. Видимо, он позаботился о других фальшивых документах. Ничего, теперь мы знаем, кого искать!..

...Я пытаюсь унять предательскую дрожь в теле, когда подхожу к дверям, на которых висит позеленевшая от времени медная табличка: «Профессор С. В. Саулов».

Сын в память об отце не снял старинную табличку.

...Сергею Сергеевичу недавно исполнилось шестьдесят лет. У него высокий лоб, живые глаза и полный рот своих зубов. И это после ленинградской блокады, которую он перенес!

Какой сильный организм...

Меня занимает, по существу, один лишь родственник Сергея Сергеевича — Викентий Модестович. Я же пока и не заикнулся о нем. Собственно, я пришел по рекомендации Зиновия Михайловича Кулика.

Я — журналист. Меня заинтересовала судьба семьи Сауловых. Правдоподобно?

А почему бы и нет, почему бы журналисту не заинтересоваться судьбой семьи бывшего царского генерала, без колебаний перешедшего на сторону большевиков?..

Мы беседуем уже несколько часов, я старательно записываю сведения о семье Сауловых, об отце, о старшем брате Сергея Сергеевича — Глебе, почти сорок лет тому назад умершем в Берлине от туберкулеза.

Сергей Сергеевич рассказывает о жене Глеба — Вере Остальской, говорит о ней с нежностью. Она тоже умерла в 1928 году. Один раз была в Советском Союзе, а он, как назло, в то время находился в Крыму. И они не встретились. Вера Васильевна после смерти Глеба вышла замуж вторично, но это не повлияло на ее взаимоотношения с Сергеем Сергеевичем. Они по-прежнему поддерживали дружескую переписку. Да, Сергей Сергеевич и сам прекрасно понимал, что Верочка должна была выйти снова замуж: она ведь осталась с дочерью Алиной на руках. К сожалению, ему ничего не известно о судьбе его племянницы Алины. Как в воду канула, все следы затерялись в жизненном море. Да, имя и в самом деле редкое — Алина. Верочка решила так назвать свою дочь в честь бабушки, то есть своей матери. Кто бабушка? Алина Симеоновна Ферапонтова... Вообще-то непутевая была женщина. И мужа бросила и дочь. И конец ее был страшен. Дело в том, что и ее и человека, ради которого она покинула свою семью — русского богача-эмигранта Гордеева, — зверски убили в Берлине в 1932 году и ограбили квартиру.

— Полиция нашла убийц? — спросил я.

— Нет, — покачал он головой. — Подозревали, что это преступление совершили тоже эмигранты из числа белогвардейских офицеров. Даже привлекали к ответственности какого-то Маркелова, но он сумел доказать свое алиби. Я узнал об этом из газет. Мне любезно приносили немецкие и французские газеты мои юные друзья пионеры.

— Значит, Вера Васильевна и ее мать встречались, будучи в Берлине?

— Да, правда, очень редко. Я полагаю, Верочка и назвала-то дочь именем своей матери по той причине, что надеялась сблизиться с ней. Но Алина

Симеоновна, судя по всему, была сверх меры занята собой... Н-да... Бедняжка Верочка... Спасибо Викентию..

Я едва не вздрагиваю, так неожиданно он заговорил о человеке, ради которого я и пришел к нему.

— Кто такой Викентий? — равнодушно спрашиваю я.

— Это мой двоюродный брат — Викентий Модестович Саулов..

И Сергей Сергеевич начинает с подробностями рассказывать о семье модного петербургского парикмахера Модеста Саулова. Я напрягаю всю свою память, чтобы не забыть ничего из этого рассказа. Я отключаю себя от всего, я, как губка, впитываю в себя каждое слово...

Так вот он какой был — Викентий Саулов!.. Улыбчивый, добрый, мягкий, нежный — в семье. Главное увлечение в жизни — кукольный театр. Словом, мирный человек, с содроганием смотревший на оружие. И какая нелепость! Именно его — пацифиста! — призвали на фронт в 1917 году, определили при каком-то генерал-квартирмейстере и даже дали небольшой офицерский чин.

Да, он сразу признал Советскую власть и не раз говорил Сергею Сергеевичу, что служил в каком-то наркомате. Они виделись редко, потому что Викентий часто разъезжал по командировкам. В двадцатых годах он работал в Средней Азии, потом его направили в Германию. И он встретил там Верочку Остальскую. Викентий Модестович очень много сделал для нее, но все-таки не советовал ей возвращаться в Советский Союз. Он буквально опекал Верочку все те годы, что жил в Германии. Потом он на много лет исчез и, как объяснил впоследствии Сергею Сергеевичу... Когда? Да уж после войны... Так вот, все эти годы, когда они ничего не знали друг о друге, Викентий Модестович выполнял какое-то важное государственное задание. Ну, что-то там секретное...

...А мне хотелось вскочить на ноги и крикнуть этому бесхитростному, доброму человеку: «Это же все ложь, Сергей Сергеевич!.. Его командировки в Среднюю Азию — это кровь невинных людей! Все те годы, когда вы о нем ничего не слышали, — это годы его прислужничества фашизму, жизнь убийцы и провокатора!..» Но нам нельзя проявлять свои эмоции, как это трудно ни бывает...

— Вы понимаете, конечно, — продолжал Сергей Сергеевич, — что я никогда не расспрашивал Викентия о его работе. Я просто всегда рад и счастлив, когда он навещает меня. Ведь из всей нашей большой родни мы остались вдвоем — он и я.

— И часто он навещает вас? — спрашиваю я.

— Нет, он занятой человек. Но раз пять за последние годы бывал. И за это большое спасибо. Ведь с годами у него стала сохнуть нога...

— Сохнуть нога? От чего же?

— Еще в годы гражданской войны он получил ранение в бедро. И вот, кроме хромоты, нога стала еще и сохнуть...

— Понятно...

— Но каждый праздник Викентий обязательно присылает поздравительную телеграмму или письмо.

— А где он живет? — спросил я, еще не до конца веря в удачу.

— Последнее время он жил в Новосибирске, но вот уже два года в Казахстане. Он работает преподавателем в институте. На кафедре радиотехники. И Сергей Сергеевич назвал наш город.

— Как вы считаете, ему не покажется бестактным, если я при случае приду к нему? — спросил я.

— Ну что вы? — возразил Сергей Сергеевич. —

Викентий — очень радушный человек. Хотите, я напишу вам сопроводительное письмо?

— Буду вам крайне признателен. И адрес, пожалуйста.

— Да, да, разумеется...

...Я иду по вечернему Ленинграду. Ни о чем думать не хочется. Я устал. И мечтаю об одном — войти в свою комнату, включить бра и, прислонившись к стене, закрыть глаза.

...Я уже позвонил Кириллу Борисовичу.

Он, не перебивая, выслушал меня и сдержанно похвалил, а в конце разговора сказал, что они тоже вышли на Саулова. Он не стал объяснять, каким образом.

Саулова арестуют, наверное, сегодня, если он, разумеется, не скрылся. Да куда ему скрыться? Теперь уже некуда!..

Что ж, у него был по-своему верный расчет: он жил под своей настоящей фамилией. Потому что, по существу, настоящая фамилия сделалась для него очередной кличкой: он часто менял ее на другие.

Итак, возьмем «одного», найдем «всех». Но Галицкая? Какова была ее роль во всем этом клубке преступления? Кто она — жертва или преступница?..

24

Веня Бизин потом рассказал мне, что, когда пришли за Сауловым, он, кажется, и не удивился; попросил позволения переодеться. И тут наши едва не допустили роковой ошибки: ему разрешили подойти к письменному столу. Но Веня все-таки оказался проворнее, он успел подскочить и выбить из рук Саулова коробочку, как выяснилось, с цианистым калием.

Нет, господин Саулов, так легко вам не позволят уйти из жизни. Сначала вас будут судить. От лица тех людей, которых уже нет в живых, которых убили вы, которых убили по вашему приказанию.

Дело передано в КГБ, но нам с Веней разрешили присутствовать на первом допросе.

Вот его вводят в кабинет следователя.

Высокий, седовласый, красивый человек с умными, пронзительными глазами.

Он довольно заметно хромает.

Саулову шестьдесят два года, но выглядит он моложе своих лет: ухоженное гладкое лицо, аккуратно подстриженные волосы, подтянутая фигура.

Они разные бывают, преступники. Некоторые из них могут показаться учеными или артистами в амплу «положительных героев».

Они разные бывают...

Но суть их одна. Преступная.

— Садитесь! — говорит следователь.

— Благодарю вас, — с достоинством отвечает Саулов.

— Фамилия, имя, отчество?

— Саулов Викентий Модестович.

— Год рождения? Число, месяц?

— Тысяча восемьсот девяносто восьмой. Двенадцатое января.

— Место рождения?

— Петербург.

— Хочу предупредить вас, что за...

— Простите, — мягко перебивает Саулов, — не надо меня ни о чем предупреждать. У меня вопрос.

— Да, слушаю вас.

-Вы хотите сказать, что когда в тридцать
втором году вы тайно, через "окно" на границе
привезли ее с собой в Советский Союз...

после того, как вы
и убили чету
Гордеевых в Берлине

В годы войны
они были моими
помощниками.

Как же я ненавижу
вас!.. Я вас всю
жизнь ненавидел!
Всю жизнь!..

- Кстати, по поводу драгоценностей,
у вас они оказались
отрабили

Я шел по
тротуару и размышлял о том,
как странно сплетаются нити
человеческих судеб.



— Что будет с моей женой и моим сыном? Они будут привлекаться, будут репрессироваться?

— Если будет установлено, что они не знали о вашем преступном прошлом и настоящем, они не будут привлекаться к уголовной ответственности.

— Благодарю вас. Они ничего не знали.

— Гражданин Саулов, вы признаете себя виновным в том, что...

— Гражданин следователь,— снова перебивает Саулов,— я достиг того возраста, когда для человека... моего плана уже не имеет никакого значения признание чего-либо или отрицание чего-либо. Самых очевидных фактов и самой ужасной лжи. Все это мне совершенно безразлично: ваши слова, ваши факты, ваше решение, ваш суд. С девятнадцатого года по сорок пятый год я боролся против вашего строя всеми доступными мне средствами, в чем ни в малейшей степени не раскаиваюсь. Последние пятнадцать лет я не причинил урона Советскому Союзу.

— А убийство Святослава Павловича Клычева и Ксении Эдуардовны Галицкой?

— Это частные лица...

— За что вы приказали убить Клычева и Галицкую?

— Учитель мог опознать меня, а ее... Она попыталась меня шантажировать, заявив, что у нее в руках дневник комиссара Орла и что она не отдаст его мне. Я предупредил, что это плохо кончится для нее.

— Галицкая все знала о вас?

— Практически ничего. Так, самую малость, конечно...

— Кто такая Галицкая?

— Моя племянница — урожденная Алина Глебова Саулова.

— Дочь вашего двоюродного брата Глеба Сергеевича Саулова и Веры Васильевны Сауловой, урожденной Остальской?

— Да.

— Но об этом-то она знала, надеюсь?

— Разумеется... После того, как умерли ее родители, она осталась с отчимом...

— Владимиром Петровичем Жуком?

— Да,— кивнул Саулов.— Я взял ее к себе и отослал, как к дочери. Алина была славной и послушной девочкой...

— Вы хотите сказать, что когда в тридцать второй году вы тайно, через «окно» на границе привезли ее с собой в Советский Союз, она послушно согласилась забыть, кто были ее родители? И согласилась жить, как сирота, три года в детском доме?

— Совершенно справедливо,— кивнул Саулов.— Вы позволите закурить?

— Пожалуйста,— следователь подвинул к Саулову пепельницу.— Скажите, а чем вы занимались эти три года — с тридцать второго по тридцать пятый?

— Устраивал свои дела, скажем так. Большого я вам говорить не намерен. О моей племяннице Алине — сделайте одолжение, поговорим. О моих делах — увольте. Это неинтересно.

— Значит, вы всю жизнь возили ее с собой?

— Да, по возможности. Мы слишком тесно были связаны друг с другом. Как говорится, кровными узами. К тому же она долгие годы зависела от меня: я помогал ей советами, деньгами, многое покупал — и кооперативную квартиру и мебель. Собственно, она и в фиктивный брак с этим... Галицким вступила по моему настоянию. Мне нужна была квартира... И я дарил племяннице драгоценности. Да, те драгоценности, которые она так любила, принадлежали мне...

— Кстати, по поводу драгоценностей,— перебил следователь,— у вас они оказались после того, как вы ограбили и убили чету Гордеевых в Берлине, не правда ли? Очевидно, тоже не своими руками?

Саулов метнул на следователя злобный взгляд и промолчал.

— Ну, ладно,— усмехнулся следователь,— продолжим об Алине Сауловой-Галицкой. Вы сказали, что она была послушным ребенком. А став взрослой, она тоже беспрекословно подчинялась вам?

— Да,— кивнул Саулов.— Когда же она проявила серьезное непослушание, ее не стало...

Все это говорилось им бесстрастно, как будто не живой человек, а бездушный механический робот-убийца сидел перед ними. Мне приходилось в своей жизни видеть убийц — циничных, разбитых, нахальных,— такого я видел впервые.

— Насколько я вас понял,— сказал следователь,— Алина Саулова-Галицкая, прочитав дневник, впервые поняла, кто вы и что вы за человек, верно?

— Да, вероятно, она что-то поняла. Я пришел к ней... накануне, в пятницу... Принес две газеты «Маяк»...

— Как у вас оказались эти газеты?

— Их привез мой студент Гусев. Он месяц находился на практике в Салтановске. Меня заинтересовал кроссворд на последней странице. Ну, а потом я увидел Указ... Н-да... В другом же номере был опубликован отрывок из повести Клычева...

— А номер «Маяка»,— сурово перебил следователь,— в котором был помещен некролог о смерти Клычева, вам кто привез? Раимджан Ходжаев или Федор Ковальчук?

Саулов не ответил. Он сидел все так же прямо, спокойно положив руки на колени.

Веня уже рассказал мне, что именно через версию «Командированный» капитан Садыков и вышел на Саулова. Сначала их было двенадцать человек — жителей нашего города, находящихся в командировке или на практике в Салтановске. Постепенно одиннадцать отпали, пока не остался студент Гусев. И он отпал. Вернее, почти отпал, потому что рассказал Садыкову, что привез из Салтановска несколько экземпляров «Маяка», и их у него взял преподаватель Викентий Модестович Саулов — любитель кроссвордов и занимательного юмора.

Вот так — параллельно — мы с капитаном Садыковым и вышли на него.

— Не хотите говорить, что ж,— пожал плечами следователь,— странная позиция. Сказав «А», гражданин Саулов, надо говорить и «Б».

— Благодарю за совет, гражданин следователь.

— Итак, вы прочитали отрывок из книги учителя Клычева, поняли, что находитесь на краю пропасти, пришли к вашей племяннице и сказали, что Клычев опасен для вас? Так было?

— Примерно так,— ответил Саулов.— Правда, я добавил, что Клычев может быть опасен и для нее. Она удивилась и начала расспрашивать, чем он может быть опасен для нее. Алина с годами становилась все более эгоистичной... Я ответил, что со временем расскажу ей подробнее. Конечно, я допустил большую оплошность, когда позвонил из ее квартиры в Салтановск. Это я уже потом понял. Да, разумеется, не стоило звонить ни редактору «Маяка», ни самому Клычеву... К сожалению, я растерялся. Что подделаешь, старость... Н-да, старость... Думаю, что моя сегодняшняя болтливость тоже вызвана именно этим обстоятельством.

— А вы полагаете, что вы болтливы? — улыбнулся следователь.— Сегодня?

— Приятно иметь дело с профессионалом,— усмехнулся Саулов.— Ну-с, что еще?.. В ту ночь, с

четвертого на пятое июня, Алина должна была быть в Салтановске и взять для меня в аэропорте портфель...

— У кого? — перебил следователь.

— Это не имеет значения. Я же сказал вам все, что касается моей племянницы... и без имен, конечно...

— Хорошо... Ей переданы были все материалы книги Клычева?

— Да.

— Разумеется, вы уничтожили их?

— Разумеется.

— А каким образом у Алины остался дневник комиссара Орла?

— Думаю, женское любопытство заставило ее открыть портфель. И дневник заинтересовал Алину, скажем так, ведь там говорилось о ее матери. Она узнала кое-что из того, о чем не должна была знать. Захотела, естественно, узнать все, потребовала от меня объяснений... Кстати, гражданин следователь, вы дадите мне возможность ознакомиться с дневником комиссара Орла? В повести Клычева я нашел некоторые неточности... Впрочем, он имел право на домысливание. Так-так... Словом, я попросил Алину вернуть мне дневник. Она отказалась. Видит бог, я уговаривал ее. Потом пригрозил. Вообще я тогда разгорячился, это со мной редко бывает, стал кричать на Алину, размахивал у нее перед носом газетами. Она выхватила в пылу ссоры эти газеты и сказала, что если я немедленно не уйду, она поднимет крик на весь дом. Мне оставалось только одно — убрать ее. На следующий день она умерла. К сожалению, мои люди не нашли этих двух газет. Насколько я понимаю, газеты и дали вам какую-то ниточку...

— Разве у вас было только две газеты?

— Ах да, вы имеете в виду газету, где был опубликован отрывок из повести? Ну, ту я уничтожил сразу, потому что не люблю заводить архивы на самого себя.

— Саулову-Галицкую, как и учителя Клычева, убили Раимджан Ходжаев и Федор Ковальчук?

— Я уже сказал вам, гражданин следователь, тут я вам не помощник.

— Где в настоящее время Ковальчук?

— Извините, но зачем задавать подобный вопрос?

— Вы и его убрали? Вы убили Ковальчука?

— Я никого не убивал.

— Ковальчук был наркоманом, Саулов. Так что рано или поздно, но он выползет из норы, в какую бы вы его ни засунули. Если он жив, конечно... Ну, ладно... А в каких отношениях вы находились с Раимджаном Ходжаевым и Тургаем Кадыровым?

— Вас все время интересуют какие-то частности, детали. Разве все это теперь столь уж и важно?

— Я жду, гражданин Саулов.

— Хорошо, я и это скажу вам. В годы войны они были моими помощниками. Но к чему все это? Ни одного документа, подтверждающего мое прошлое, мои связи, не сохранилось. Ни одного человека, который лично бы показал против меня, тоже не осталось в живых. А Ходжаев и Кадыров?.. Не переоценивайте, они будут подтверждать лишь то, что я скажу. Им нет никакого смысла вести себя иначе. Мы всегда ненавидели друг друга и всегда заботливо охраняли друг друга. Не правда ли, забавный альянс! И мы всегда заботились о том, чтобы не было свидетелей. Да, вот еще что, гражданин следователь... Видите ли, от всего того, что я вам рассказываю, разумеется, я откажусь во время суда. Два этих молодых человека, — Саулов кивнул в сторону Вени и меня, — не в счет. Это же инсцени-

ровка, не правда ли? Вы, очевидно, включили магнитофон. Что ж, пишите себе на здоровье. Для суда эта пленка не явится документом. Верно ведь?

— Я не записываю ваш допрос на пленку, — отозвался следователь, — я предупредил бы вас об этом.

— Тем лучше! — насмешливо вскинул Саулов. — Так вот, перед вами Студоз, Валентий Модестович Саулов. Он хороший человек, честный, добпорядочный. Мухи не обидит. Нелюбопытен со странностями — любит, например, тряпичные куклы. Но скажите, у кого их нет, странностей-то? А гадости всякие проделывали другие — поручик Викентий, Маркелов, Колесниченко... Господи, сколько же их было — разных-то!.. Но ни в одном вашем архиве не хранится ни моих фотографий, ни такой, например, пустяковины, как отпечатки пальцев. Нет у вас отпечатков пальцев Викентия Модестовича Саулова, нет!.. Поэтому все улики, все доказательства, которые вы предъявите суду, — это блеф. Единственное, в чем я признаюсь, запомните, только в том, что незаконно перешел в тысяча девятьсот тридцать втором году границу Советского Союза вместе с десятилетней племянницей. Но кто же меня осудит за любовь к родине и желание вернуться на родину, в Россию. А?.. Безусловно, вы сможете осудить меня на смерть. Это в ваших силах, и к этому я готов...

— Судить вас будет суд, — тихо возразил следователь.

— Да, да... Все равно... Но в памяти людей, которые знали меня, я останусь честным русским человеком, добрым, мягким, прекрасным преподавателем. Запомните!.. Все мертвы — и Юсуп-Бек, и комиссар Орел, и Бородин, и учитель Клычев, и Алина... Все... И те, кто знал меня в девятнадцатом году, и в сороковом, и в сорок третьем... Все! Больше вы от меня не услышите ничего, ни одного слова, ни одного признания, ни одной фамилии. Ищите, докапывайтесь, а я посмотрю!.. Прошу отправить меня в камеру...

Сознаюсь, этот взрыв выглядел весьма эффектным, даже для нас с Веней, людей, достаточно повидавших на своем веку преступников разных мастей и рангов.

Следователь внимательно посмотрел на Саулова.

— Прежде чем вас уведут в камеру, — заговорил он, — я хотел бы сказать вам, гражданин Саулов, вот что... На этом стуле, на котором вы сейчас сидите, в разное время саживали разные государственные преступники. Одни говорили еще «складнее» вас, другие юлили, изворачивались, закатывали истерики, умоляли. Но все они в конце концов признавались в своих преступлениях. Они вынуждены были признаваться. Им, как и вам сейчас, казалось, что прошлое осталось в прошлом, что им удалось уничтожить всех свидетелей, скрыть все факты, замести все следы своих преступлений. Нет, это не было их самоуверенностью или заблуждением. Это была их надежда!.. И они хотели эту надежду сохранить. Ведь она давала им силы юлить, изворачиваться, лгать. Вы не оригинальны, гражданин Саулов. Сейчас вы играете в свою неуязвимость, ибо она дает вам хоть какую-то надежду. Но вы не мышка, а мы не кошки. И здесь не играют в игры. Мы работаем, гражданин Саулов. И, можете быть уверены, работаем не за страх, а за совесть. Для всех нас было самым трудным разыскать вас. Разыскать, понимаете? И это удалось сделать, а остальное... Стоит ли мне уверять вас, что вы все расскажете? Вы и сами в глубине души это осознаете. Вам хочется покуражиться? Бога ради!.. Мы терпеливые люди, нас хватит на ваш кураж! И еще... Вам хочется ос-

таться в глазах вашей семьи и тех, кто вас знал, «чистеньким», «жертвой»? Вот этот фокус у вас не выйдет. Мы постараемся раскрыть все ваши преступления, день за днем, месяц за месяцем мы пройдем по следам, оставленным вами в жизни. Их много, этих следов, и далеко не все вы их стерли. Остались люди — они вас будут обвинять. В архивах остались документы — мы их найдем, ведь вы нечаянно так ненавидите эти самые архивы! Остались родные, близкие тех людей, которые были уничтожены вами или по вашему приказу, и их память окажется самым страшным и главным вашим обвинением на процессе. Ваша семья... Возможно, они и в самом деле честные люди...

— Да, — глухо обронил Саулов. — Честные... Да!..

— Мы заканчиваем нашу предварительную беседу... Но я все-таки хочу задать вам еще несколько вопросов.

Саулов, опустив голову, молчал. На висках у него набухли жилы. Руки судорожно обхватили колено.

Следователь достал из стола фотографию. На ней была изображена Ксения Эдуардовна Галицкая, то есть Алина Глебовна Саулова: высокая прическа, высокий стоячий воротник глухо застегнутого платья.

Очевидно, эту фотографию Галицкой и видела в свое время Ангелина Федоровна Пономарева, достав из секретера Клычева семейный альбом. Странно, каким образом эта фотография могла попасть к учителю Клычеву: ведь он не знал Галицкой, как теперь выяснилось.

— Скажите, гражданин Саулов, — произнес следователь, — когда была сделана эта фотография?

Саулов долго и внимательно рассматривал фотографию, потом, возвращая ее следователю, ответил:

— Наверное, в двадцатых годах. А что?

— Но ведь Алина Саулова родилась в...

— При чем здесь Алина, — пожал плечами Саулов, — это же Вера Васильевна Остальская, мать Алины! А-а, да-да, они были поразительно похожи... Я часто смотрел на Алину и вспоминал Верочку... Да-да...

Ну вот, и еще одна загадка разрешилась. Кажется, последняя. Именно фотография этой женщины и хранилась в семейном альбоме покойного учителя Клычева, в альбоме, который, видимо, принадлежал еще отцу Клычева — комиссару Орлу.

— Ответьте, — продолжал следователь, — зачем вы возили с собой Алину Саулову? Кстати, во время оккупации она жила в Киеве вместе с вами?

— Нет. Вместе со своим учреждением она эвакуировалась в Уфу. Мы встретились уже после войны. Я нашел ее. Почему возил?.. Когда Алина была ребенком, она служила мне хорошим прикрытием. Ну, уже молодой человек с девичьей подростком. Это вызывает у людей расположение. Так, во всяком случае, было задумано. А потом я как-то привязался к ней. Она ведь была последним звеном в цепи моей старой жизни, как-то связывала меня с другой Россией, старой. Россией Остальских и Сауловых...

— Да, но Сауловы и Остальские продолжали жить и в новой России!

— Для меня единственной Россией была та, что осталась до Октября.

— А ваш двоюродный брат? Сергей Сергеевич Саулов?

— Не трогайте калеку! — вдруг закричал Саулов, его лицо покрылось красноватыми пятнами. — Господи! Как же я ненавижу вас!.. Я вас всю жизнь ненавидел!.. Всю жизнь!..

— Это нам известно, — усмехнулся следователь. — Воды дать?

— Что?.. — Саулов бессильно опустился на стул. — Нет, не надо воды...

— И еще, почему вы остались в Советском Союзе? Не попытались уйти с отступающими немецко-фашистскими частями? Или не удалось? Насколько нам известно, вы под фамилией Маркелова служили преподавателем в одной из разведшкол абвера. Что же, вас так мало ценили, что даже не предложили уехать, не взяли с собой?

Саулов долго молчал, потом поднял глаза на следователя, усмехнулся.

— Да нет, думаю, что ценили. Я мог уехать...

— Что, ностальгия? — спросил следователь.

— Какая там к черту ностальгия! — махнул рукой Саулов. — Это для слабонервных и нытиков. А я всегда был человеком действия. Просто в Киеве у меня были запрятаны кое-какие драгоценности, я не мог их бросить. Кроме того, там жила женщина, от которой у меня был сын. Потом она стала моей женой.

— Вашей нынешней женой? — уточнил следователь.

— Да.

— А в наш город зачем вы приехали? Заметали следы?

— Естественно. Но было и еще одно обстоятельство. Я знал, что здесь находится гордеевский клад.

— Клад купца Гордеева?

— Да... Но меня, кажется, провели... Ну, а потом я как-то привык к городу...

— Клад — это ваша новая «легенда»? — в упор глядя на Саулова, спросил следователь. — Ваши бывшие хозяева вряд ли вас забыли. Вернее сказать, они передали вас новым, не так ли, гражданин Саулов?

— Что вы хотите этим сказать? — пробормотал он.

— Во время обыска у вас найдена вот эта шифровальная тетрадь. Таких тетрадей не было во время войны, во всяком случае, абвер ими не пользовался. Я думаю, что не гордеевский клад вас интересовал, а некоторые предприятия в нашем городе... Ну, ладно, для первого знакомства достаточно...

Следователь вызвал конвоира, и Саулова увели.

...В автобусе, в который мы с Веней с трудом втиснулись, много народа. Впереди плачет ребенок. Рядом с нами раздраженно пререкается супружеская пара. Мы с Веней молча держимся за поскрипывающий поручень.

Мы свое дело сделали. Теперь пусть Сауловым занимается следствие.

Но я думаю о Галицкой, о том, кто же она все-таки — преступница или жертва? Наверное, преступница, скорее соучастница в преступлении. Но и жертва!.. Представляю, какво ей было прочитать дневник комиссара Орла, человека, который всю жизнь любил ее мать. Прочитать и внезапно осознать, что она — Алина Саулова-Галицкая — из тридцати восьми лет своей жизни двадцать восемь лет жила обманутой...



ФЕЛИКС ЧУЕВ

☆☆☆

Идет бедовый, в гимнастерке фронтовой,
мой батя юный по московской мостовой.

Идет, в потерях миллионных не учтен,
поскольку дожил, победил, вернулся он,

в лихой пилотке, возвращенный, молодой,
как День Победы, повторяемый, живой.

А я держу в руке букет парадных роз,
ведь я цветов ему ни разу не принес,

не говорил ему трибунные слова —
спасибо, батя, дескать, Родина жива.

Идет вдали от горизонта мостовой,
все ближе, ближе — и сливается с толпой.

В железной армии погибших и живых
шагает батя, русский летчик, большевик.

Пройдет по площади, как Сорок Пятый год,
и за Блаженным в Сорок Первом пропадет.

☆☆☆

И все же ты придешь на то же место
в той самой, непридуманной Одессе,
на желтый пляж, где на песке горячем
читали мы про дочку Спартака.

Среди акаций ты отыщешь две,
те, что держали старую палатку,
и землю ты потрогаешь руками
и наши там почувствуешь следы.

Здесь мы бродили, ссорились, любили,
как будто что-то в жизни понимали,
и вспомнишь ты, как здорово нам было,
и как могло быть просто хорошо.

☆☆☆

Сельвинскому я очень благодарен.
Нахлынуло такое — свет не мил.
Мои стихи печатно обругали,
а он, Сельвинский, взял да похвалил.

Не знал меня, а все-таки проникся.
С авоськой яблок я к нему примчал.

— Куда бежишь?
— К Сельвинскому в больницу.—
Товарища в метро я повстречал.

Он странно посмотрел, соображая...
Я долго собирался. Опоздал...
...Мои стихи на тумбочке лежали —
пометками продавленный журнал.

☆☆☆

Нас тянет в те места, где юности начало,
где все еще цветет обманная сирень,
где вечер выпускной, и ты не замечала.
как я шагаю в зал в кепчонке набекрень.

Да здравствует озноб июньских поцелуев,
и что там впереди, и кем я стану сам,
и на руках тебя почти квартал несу я,
и нравится тебе — я вижу по глазам.

Сейчас я не грущу, я просто счастлив очень,
что были ты и я в те школьные года,
что вечер выпускной закончился не ночью,
еще взошел рассвет с дорогой в навсегда.

☆☆☆

Душа по-детски не глуха
к тому, что будет со страной.
Досужих споров чепуха
шуршит донные стороныю —
кого избрали и куда,
кто получил какое благо...
Хочу, как в школьные года,
встать у мальчишечьего флага
и, как забытый часовой,
не ждать ни смены, ни награды,
стоять стоять перед страной
и твердо знать, что это надо.

☆☆☆

Семьдесят тысяч пленных солдат
строили в Альпах дорогу.
Семьдесят тысяч наших ребят.
Семьдесят тысяч. Немного
рядом с потерями в прошлой войне.

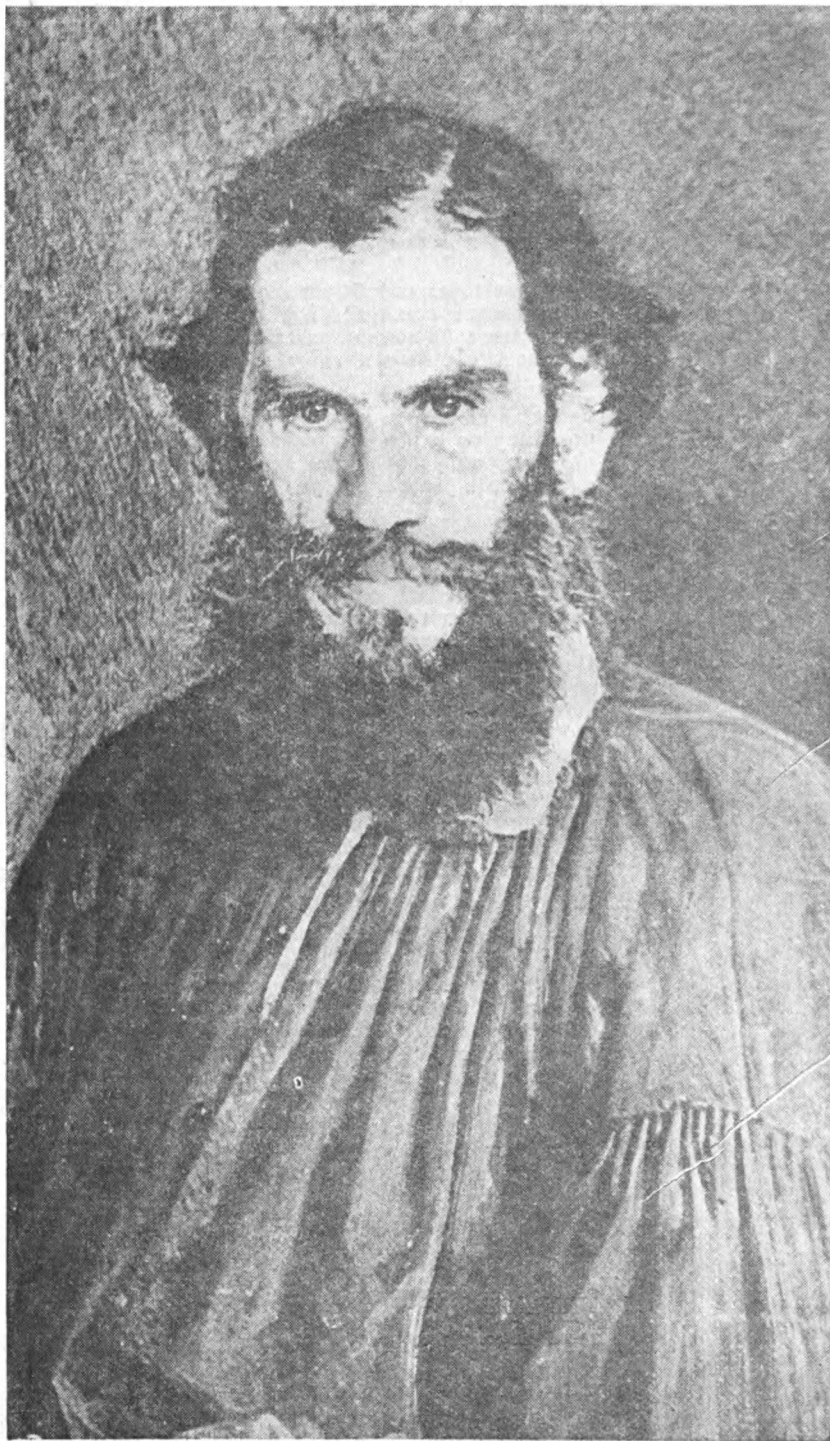
Эта канатная трасса
между хрустальных вершин в вышине
служит туристам прекрасно.

Без вертолетов, без кранов —
вот так,
голыми, злыми руками —
те, что в сынах и во внуках —
в веках
так и не станут рабами.

В шляпах тирольских беспечный народ
пробки швыряет на камни.
Сказочен в Альпах канатный полет!
Голыми, злыми руками...



«К ДУХОВНОМУ



Лев Толстой...
Это имя облетело
весь мир
еще при жизни
писателя,
до начала нашего
столетия. Но поистине
мировым оно стало
только после победы
Октября.
Творчество великого
русского писателя,
вся его жизнь
и деятельность были
предвестием
революционного
преобразования жизни.
Могучий и честный талант,
нравственная
непримиримость,
требовательный
и страстный гуманизм —
вот залог бессмертной
силы воздействия
толстовского слова, силы,
перекрывающей
противоречия
его мировоззрения.
Лев Толстой —
это гневное осуждение
социального гнета,
лицемерия, насилия,
и сегодня еще остающихся
законом
в немалой части мира.
Лев Толстой —
гордость нашего народа.
Он родился 150 лет назад,
вскоре после восстания
декабристов,
умер незадолго до
Великой Октябрьской
социалистической
революции — сами даты
его жизни охватывают
эпоху великого подъема
русской культуры.
Имя Льва Николаевича
Толстого
неотделимо от имени
России.

(По страницам дневника Льва ТОЛСТОГО).

Есть в огромном литературном наследии Толстого, просторно расположившемся в 90 томах Юбилейного издания его сочинений, одна книга, известность которой не идет ни в какое сравнение с «Войной и миром» или «Анной Карениной».

А между тем эта книга заслуживает нашего благодарного внимания. Писавшаяся с перерывами 63 года и занимающая ныне 13 томов в собрании толстовских сочинений, она, пожалуй, не имеет себе равных во всей мировой литературе: книга жизни великого писателя.

Ее не станешь читать подряд, безотрывно, как роман или повесть, но значение ее огромно, смысл высок. И тот, кто решит с нею познакомиться, уж наверное будет вознагражден: каскад ярких мыслей, острых впечатлений, свежих картин обрушится на вас со страниц толстовского «Дневника».

Первые его страницы заполняла рука безусого студента Казанского университета. Последние строчки запесены в тетрадь 83-летним стариком за три дня до смерти.

Тетради дневника были с Толстым и в деревенском уединении, и в Петербурге, и во время службы на Кавказе, и в осажденном Севастополе, и в путешествиях по Европе. В последние годы жизни в Ясной Поляне на ночном столике писателя всегда лежала маленькая записная книжка. Она была с Толстым и во время его пеших прогулок или поездок верхом по окрестностям усадьбы. Пристроившись на лесном пеньке или просто остановив лошадь и склонившись на седле, Толстой наскоро записывал для памяти промелькнувшие в его воображении наблюдения, догадки, чтобы потом подробно развить их в дневнике.

Личность Толстого неотделима от его искусства. Мы дивимся разнообразию тем, щедрости образов, богатству мыслей в его книгах. Но ведь все это, в том числе и счастливый труд воображения, родилось из опыта собственных чувств, сокровенной работы ума и сердца. Дневник — правдивое ее зеркало.

Толстой так дорожил искренностью своих записей, что, когда после женитьбы юная Софья Андреевна, от которой у него не было тайн, стала заглядывать в его дневник, он потерял покой: знать, что пишешь в расчете еще на чьи-то глаза, значит — писать не совсем откровенно. В последние же годы, когда вся жизнь его была на виду и из дневника уже делались выписки для близких и друзей, Толстой, чтобы сохранить чистоту и неприкосновенность этой своей исповедальни, начинает вести «Тайный дневник» (1908) и «Дневник для одного себя» (1910), прячет его от любопытных глаз под обшивку старого кресла или за голенище сапога.

Это надо понять. Дневник для Толстого — мало того что профессиональный инструмент. Это еще и примета его личности. Представить Толстого без

дневника — все равно, что вообразить поэта-гусара Дениса Давыдова без сабли и ментика.

Дневник — форма непритязательная. И, наверное, все мы от случая к случаю ведем или когда-нибудь в юности вели дневник. Но дневник дневнику рознь. Если это дневник писателя, в нем не редкость найти планы будущих сочинений, сюжеты, художественные заготовки, наблюдения и словечки, подхваченные в гуще человеческой толпы.

Все это встретит нас и на страницах дневника Толстого. Но не только это. Его дневник — и зеркало событий, и календарь встреч, и творческая тетрадь. Но, пожалуй, больше всего — орудие перемены самого себя, школа самовоспитания и душевного роста.

«По дневнику весьма удобно судить о самом себе», — напишет 22-летний Толстой. Он начинает вести дневник в 1847 году в Казани. На больничной койке, томясь вынужденным бездельем клиники, куда он ненадолго попал, Толстой затевает разборки книг: «Духа Законов» Монтескье и «Наказа» Екатерины. Студент-юрист имеет в виду подогнать свои довольно запущенные университетские дела, в книгах разбираться ему интересно. Но очень скоро и незаметно для него самого эти разборки переходят в изложение собственных соображений и наблюдений, а вскоре и вовсе обращаются на себя: уединенное созерцание чужой мудрости подстрекает лучше разобраться в своей душе.

Смолоду чертой Толстого была самостоятельность суждений, желание до всего дойти своим умом и не брать взаймы готового. Но дорога познания камениста и длинна. А между тем Толстой чувствует невозможность жить дальше без осознанной и крупной цели. Она нужна ему неотложно. «Я бы был несчастливейший из людей, — записывает Толстой студент в дневнике 17 апреля 1847 года, — ежели бы я не нашел цели для моей жизни, — цели общей и полезной». Ему кажется даже, что стоит расписать свою жизнь заранее, и все пойдет как по маслу: «Хотелось бы привыкнуть, — пишет он, — определять свой образ жизни вперед не на один день, а на год, на несколько лет, на всю жизнь даже...»

Стоит ли говорить, что Толстого не обошли все искушения и приманки ранней молодости. Как и перед героем «Детства» Николенькой Иртневым, перед ним маячит идеал человека светского, *comme il faut* — с отменными манерами, безупречным французским выговором и умением ловко танцевать мазурку. Ему надо одеваться по моде, иметь свой выезд и овладеть светским искусством обольстительной холодности. Но это ненадолго.

Жить беспечно, как трава растет, подобно большинству сверстников, Толстой не может. Он вступает в отчаянный поединок со своими недостатками, еще не сознавая, что в них личное, а что наносы пороков всего сословного круга. Он думает изжить все дурное в себе усилием разума, направляющим его к совершенству. Совершенным же стать ему помогут составленные им правила, программы, в которые он верит со всем максималистским пылом юности.

«1) Что назначено непременно исполнить, то исполняй, несмотря ни на что. 2) Что исполняешь, исполняй хорошо. 3) Никогда не справляйся в книге, ежели что-нибудь забыл, а старайся сам припомнить. 4) Заставь постоянно ум твой действовать со всею ему возможною силою. 5) Читай и думай всегда громко. 6) Не стыдись говорить людям, которые тебе мешают, что они мешают...» и т. п.

На страницах дневника появляются целые своды нравственных уставов, предписаний самому себе. Толстому кажется, что логикой, прямым рассудком можно все победить, и тогда откроется верный путь к совершенству. Только вот как переделать свою природу? Как приблизить себя к идеалу? Прежде всего, по-видимому, стать человеком образованным.

Замыслы молодого Толстого в части самообразования поражают своей грандиозностью. Его не удовлетворяют занятия в Казанском университете, и, решив далее учиться самостоятельно, Толстой разрабатывает в дневнике программу, которую намерен осуществить за два года. Он предполагает:

«1) Изучить весь курс юридических наук, нужных для окончательного экзамена в университете. 2) Изучить практическую медицину и часть теоретической. 3) Изучить языки: французский, русский, немецкий, английский, итальянский и латинский. 4) Изучить сельское хозяйство, как теоретическое, так и практическое. 5) Изучить историю, географию и статистику. 6) Изучить математику, гимназический курс. 7) Написать диссертацию. 8) Достигнуть средней степени совершенства в музыке и живописи».

Первое, чему научился (или с рождения умел?) Толстой, — это говорить себе правду без утайки. Он преследует в самом себе любой оттенок фальши, всякий намек на неискренность, потому что без этого условия — откровенности с собой самим — нечего и думать о том, чтобы стать лучше.

Он не добился еще крупных успехов в самосовершенствовании, когда сделал на страницах дневника важное открытие: «Легче написать десять томов философии, чем приложить какое-нибудь одно начало к практике».

После записей 1847 года дневник почти на три года обрывается, чтобы возродиться лишь в 1850 году. Вспоминая потом эти три года, Толстой с огорчением называл их беспутными: юношу закрутил водоворот светской и богемной жизни — балы и журфикисы, вино, карты, цыгане. Все было внове, и душе нельзя было защититься от того, в чем чудилась блаженная погибель. В эти годы Толстой как бы забыл правила дневника...

Толстой возвращается к дневнику в 23 года, когда, как ему кажется, он уже «перебесился и постарел», перестал конфузиться на балах, «стал уже слишком холоден» и порастерял веру в то, что, сочинив и записав правило поведения, ты наполовину его исполнил.

«Большой переворот сделался во мне в это время, — пишет Толстой 8 декабря 1850 года... — Перестал я делать испанские замки и планы, для исполнения которых не достанет никаких сил человеческих». Он не надеется больше «одним своим рассудком дойти до чего-либо» и кажется самому себе основательно помудревшим, хотя способен еще часа два проторчать перед зеркалом, огорчаясь, что у него «левый ус хуже правого».

Если невозможно одним рассудком, логикой призвать в свою жизнь идеал, осмысленную добродетель, то, может быть, легче бороться с отклонениями от добра? — размышляет автор дневника. А бороться есть с чем.

Похоже, что в ранней юности Толстому сильно вредит бесхарактерность. Во всяком случае, именно в этом недостатке он постоянно упрекает себя. И тут автор дневника дает нам первый урок.

Великая жизнь в глазах потомства — всегда неоспоримый и блистательный результат. Но на жизнь Толстого благодаря дневнику мы можем взглянуть как на становление, процесс. Мы увидим, как молодой человек, воспитанный хоть и без родителей, но в изнеживающей среде тетюшек и мамушек и не обладавший от природы стальной волей, побеждает лень и инерцию.

Характер — необходимая часть таланта. Сколько гениев погибло в безвестности из-за отсутствия воли в осуществлении себя! Толстой не погиб, потому что свою слабость обратил в силу, сделал ее предметом исследования и, воспитывая себя, изучал человека вообще.

Для молодого Толстого упрямое преследование своих слабостей становится почти манией. И если он опасался, что природой не было ему дано сильного характера, то непрестанной моральной штудировкой он его вылепил, выделал из себя. Движение к добродетельной цели, как понимает теперь автор дневника, неотделимо от самосовершенствования, а совершенствование невозможно без самой крепкой узды воли. Главное же, не следует жалеть себя, успокаивать, ласкать свое самолюбие, как свойственно многим людям.

Юноша Толстой себя не щадит: «Один из главных и более всего неприятных для меня моих пороков есть ложь. Побудительная причина большей частью — хвастовство, желание выказать себя с выгодной точки. Поэтому... даю себе правило: как только почувствую щекотание самолюбия, предшествующее желанию рассказать что-нибудь о себе, одумайся. Молчи и помни, что никакая выдумка не даст тебе в глазах других больше веса, как истина, которая для всех имеет осязательный и убедительный характер».

Разглядывая себя как бы со стороны, Толстой не отказывает себе лишь в двух добрых качествах — уме и честности (он лишен ханжества и оттого говорит об этом спокойно). Зато в остальном он дает себе в дневнике самые уничтожающие характеристики:

«Я невоздержан, нерешителен, непостоянен, глупо тщеславен и пылок, как все бесхарактерные люди. Я не храбр. Я неаккуратен в жизни и так ленив, что праздность сделалась для меня почти neodолимой привычкой».

Мы готовы рассердиться: зачем он так разочаровывает нас в себе? И правда, у Толстого такое желание быть искренним до доньшка, не покривить душою и в малом, такая боязнь быть заподозренным (кем? самим собою?) в фальши, что, направляя в эту сторону все напряжение совести и стремительный бег пера, он склонен и к самооговорам.

Бунин посмеивался над беллетристом Боборыкиным, тем самым, коего Щедрин ядовито называл Бобо, за близорукое чтение «Дневника молодости». Все самобичевания Толстого, каждую вырвавшуюся у него в дневнике горькую строку Боборыкин принял за зеркально точную исповедь и изумился саморазоблачению «великого грешника». «Исповеди, дневники — замечал Бунин. — Все-таки надо уметь читать их».

Да, не всякое лыко в строку. Но есть и другая крайность. Первый талантливейший исследователь молодого Толстого Борис Михайлович Эйхенбаум полагал, что самобичевание в дневнике — одна «литература», преувеличение, выдумывание себя Толстым, постоянное «искажение своей духовной жизни». Эйхенбаум ошибался. Мучительная искренность и це-

довольство собой не надуманы Толстым — они часть его живой души. Другое дело, что важнее всего для нас, пожалуй, то, как побеги внутреннего, духовного роста Толстого в дневнике прорастают в его творчество.

«Кто не изучил человека в самом себе, никогда не достигнет глубокого знания людей», — замечал Чернышевский в рецензии на литературные дебюты Толстого. «Диалектика души», прежде чем она была воплощена в толстовском творчестве, оказалась предметом ошеломляющего личного открытия. Толстой сделал его в потаенном юношеском дневнике, когда бился над тем, как улучшить себя.

Вспоминая впоследствии два года, проведенные им в молодости на Кавказе, Толстой говорил, что никогда потом всю жизнь он не думал обо всем на свете так высоко по мысли и напряженно, как в ту пору, и что все главные свои идеи вынес оттуда.

В 24 года он решил, что сделался «стар» и все познал, «пора развития или прошла, или проходит». Но в 27 лет он все еще вел «франклиновский журнал» своих слабостей, учил себя быть «деятельным, рассудительным и скромным», «никогда ни про кого не говорить дурно» и тотчас, спохватившись, обрывал себя: «Смешно, 15-ти лет начавши писать правила, около 30 все еще делать их...»

Он наверняка не поверил, если б ему сказали тогда, что он не оставит давать себе правила до седых волос и в старости так же горько будет корить себя за малейшее отступление от того, что положил себе нравственным законом.

Но нельзя все только заглядывать в себя да рассуждать. Молодого Толстого томит жажда деятельности. «Ежели пройдет три дня, во время которых я ничего не сделаю для пользы людей, я убью себя», — записывает он 15 июня 1854 года.

Время от времени Толстого как молния поражает мысль о своем призвании и поприще, мгновенной вспышкой освещающая сумрак будущего. То он собирается посвятить жизнь «на составление плана аристократического избирательного, соединенного с монархическим, правления», то есть, попросту говоря, реформировать государственную власть в России. То видит себя основателем «новой религии, соответствующей развитию человечества, религии Христа, но очищенной от веры и таинственности». То формулирует для себя категорически ясно и просто: «Цель жизни есть добро», — и собирается впредь строить свои отношения с людьми на величайшей терпимости.

Но, главное, ему самому хочется изведать жизнь, стать архитектором своей судьбы. «Пора перестать ждать неожиданных подарков от жизни и самому делать жизнь», — записывает он в дневнике.

Легко понять, отчего молодой Толстой так стремился на военную службу, да еще норовит попасть на боевые линии, участвует в стычках с горцами, мечтает отличиться. С началом Крымской кампании в осажденном Севастополе молодой офицер оказывается в самом пекле войны на знаменитом 4-м бастионе.

Даже в самые трудные дни севастопольской обороны он не бросает дневника. «Велика моральная сила русского народа», — записывает он. — Чувство пылкой любви к отечеству, восставшее и вылившееся из несчастий России, оставит надолго следы в ней. Те люди, которые теперь жертвуют жизнью, будут гражданами России и не забудут своей жертвы». Из этих мыслей, впечатлений росли «Севастопольские рассказы».

Толстой смолodu страстно просил судьбу, чтобы она ставила его в положения трудные, для которых пот-



Л. Н. Толстой с братом Николаем Николаевичем перед их отъездом на Кавказ. 1851 г.

ребны все силы души. Действием, деянием стало для Толстого и его писание. С того дня, как в 1852 году в журнале Некрасова «Современник» под скромными литерами Л. Н. появилась повесть «Детство», он сделал свой выбор пути. Но литературы, одной литературы, всегда все-таки было ему мало.

В пору реформы 1861 года, уничтожившей крепостное право, он принимает на себя должность мирового посредника, разрешает споры между помещиками и мужиками, притом неизменно в пользу последних. (Рассерженные дворяне Крапивенского уезда вскоре отзывали его с этой должности.) Открывает в Ясной Поляне школу для крестьянских ребят-тишек, причем сам берет на себя обязанности учителя не только литературы, истории, но и физики, математики...

Страницы его записных книжек покрываются в эту пору математическими формулами, чертежами. Толстой ищет самостоятельных и простых решений сложных теорем. Современные ученые, расшифровавшие эти записи при первой их публикации, нашли, что в отдельных вопросах писатель шел впереди точных наук своего времени. Так, например, в его дневнике обнаружены остроумные догадки, вплотную подводящие к положениям теории относительности, оригинальные соображения о давлении световых лучей, то есть вопросах, поставленных наукой значительно позже.

В старости, оглядываясь на прожитую жизнь, Толстой записывал в дневнике: «Счастливые периоды моей жизни были только те, когда я всю жизнь отдавал на служение людям». И он помнил добрым словом годы посредничества, яснополянскую школу, помощь голодающим в неурожайные годы.

Жизнь и литература всегда шли для него рука об руку.

К себе как к писателю Толстой, судя по дневнику, с ранних пор тоже относится без тени самолюбования.



Л. Н. Толстой и А. М. Горький
в Ясной Поляне. 1900 г.

Работая над «Детством», он пишет в дневнике такую авторецензию: «Слог слишком небрежен и слишком мало мыслей, чтобы можно было простить пустоту содержания». И это об одной из лучших повестей в русской литературе!

Такие признания ничуть не означают, что Толстой не ценит своего труда. Иначе не сидел бы он вечерами, не разгибаясь, над рукописью, десятки раз перемарывая чистый лист, и не связывал бы со своей литературной будущностью таких надежд. Но самообольщения у молодого автора — ни на грош: «Есть ли у меня талант сравнительно с новыми русскими литераторами? Положительно нету», — огорчается он в дневнике. А спустя два дня: «У меня, мне кажется, нет терпения, навыка и отчетливости, тоже нет ничего великого ни в слоге, ни в чувствах, ни в мыслях. В последнем я еще сомневаюсь, однако».

А между тем его дневник с той поры, как он понял свое призвание, становится вратами в творческую мастерскую: десятки сюжетов, острых и смелых характеристик, пейзажных набросков, среди которых встречаются законченные художественные миниатюры.

Дневник путешествия Толстого по Швейцарии в 1857 году Бунин назвал «одним из самых пленительных его произведений». В самом деле, прогулка

Толстого по альпийским лугам со своим спутником — мальчиком Сашей, когда они рвут дикие нарциссы, описана так, будто пьешь глотками кристальный горный воздух. «Столько в этом дневнике свежести, смелости, счастливой, поэтической прелести», — писал, прочитав его впервые, Бунин. Те же слова можно отнести и ко многим страницам более раннего кавказского дневника.

Вот, к примеру, набросок пейзажа, переходящий в рассуждение о том, что названо «муками слова»:

«Сейчас лежал я за лагерем. Чудная ночь! Луна только что выбиралась из-за бугра и освещала две маленькие, тонкие, низкие тучки; за мной свистел свою заунывную, непрерывную песнь сверчок; вдали слышна лягушка, и около аула то раздается крик татар, то лай собаки; и опять все затихнет, и опять слышен один только свист сверчка и катится легенькая, прозрачная тучка мимо дальних и ближних звезд.

Я подумал: пойду опишу я, что вижу. Но как написать это. Надо пойти, сесть за закапанный чернилами стол, взять серую бумагу, чернила; пачкать пальцы и чертить по бумаге буквы. Буквы составят слова, слова — фразы; но разве можно передать чувство. Нельзя ли как-нибудь перелить в другого свой взгляд при виде природы? Описание недостаточно. Зачем так тесно связана поэзия с прозой, счастье с несчастьем? Как надо жить? Стараться ли соединить вдруг поэзию с прозой, или насладиться одною и потом пуститься жить на произвол другой?»

И так всегда: от впечатления искусства — к вопросу «как жить?», а от жизненной задачи — к попытке овладеть ею по-новому и запечатлеть в слове.

Если нам кажется, что Толстой слишком часто доволен собой как художником, то это лишь потому, что всякий раз он ставит себе задачу крупнее, берет барьер выше, почти на пределе сил. На созданное вчера он не привык оглядываться с самолюбивым умилением. Все главное — завтра!

По дневникам видно, как за несколько лет до создания «Войны и мира» Толстой начинает внутренне изглаживать к этому подвигу творческой жизни. Все малые, частные литературные задачи становятся вдруг постылы, скучны ему.

«Лень писать с подробностями, хотелось бы все писать огненными чертами», — записывает он 16 августа 1857 года. И еще спустя месяц: «О своем писанье решил, что мой главный порок — робость. Надо дерзать». В 1858 году он обещает издателю Коршу описать лето, проведенное в деревне, но сокрушенно записывает в дневнике, что не исполнил обещанного, и объясняет почему: «...узость задачи претит мне».

Некоторое время он пишет еще как бы по инерции небольшие рассказы, повесть «Семейное счастье», но внутри созревает жажда всепоглощающего, большого труда, требующего напряжения всех душевных сил. Толстой садится за роман, как он любил говорить, «долгого дыхания», писание которого растянулось на 7 лет, но который на столетия закрепил славу русской литературы.

Черта, заслуживающая быть отмеченной: Толстой забрасывает свой дневник как раз тогда, когда начинает создавать большие романы. В разгар работы над «Войной и миром» (1863—1869) мы почти не встречаем дневниковых записей. Угасает дневник и в годы, когда пишется «Анна Каренина».

Роман вытесняет собою дневник, замещает его собою. Но ведь душевная жизнь Толстого не останавливается. То, что должно было осесть в дневнике,

конечно же, не пропадает без следа. Кстати, любопытная подробность: дневники ведут и любимые толстовские герои. Мы читаем страницы дневника Пьера Безухова в главах, посвященных его увлечению масонством. Константин Левин в «Анне Карениной» — не автобиографическая ли черта? — в знак полного доверия дает читать Кити, своей невесте, дневник холостой жизни.

Но дело не только в этом: письмо, дневник, как уже говорилось, — самые повседневные и доступные любому жанры творчества. Бывает, что эти «личные» и непрофессиональные формы писания дают толчок движению «большой» художественной литературы, входят в состав ее плоти и крови назло иерархии литературных жанров. Так могут обрисоваться в литературе рассказ-письмо или роман-дневник.

Романы Толстого в этом условном смысле — романы-дневники по преимуществу. Конечно, и объективный, зримый мир, история, быт и судьбы людей воссозданы Толстым с поразительной объемностью. Но обратим внимание на другое: в душевных поисках героев Толстого есть то немеркнувшее свечение внутреннего их мира, текучее движение сознания и открытость с самими собою, какие по природе напоминают дневник, и именно дневник толстовский.

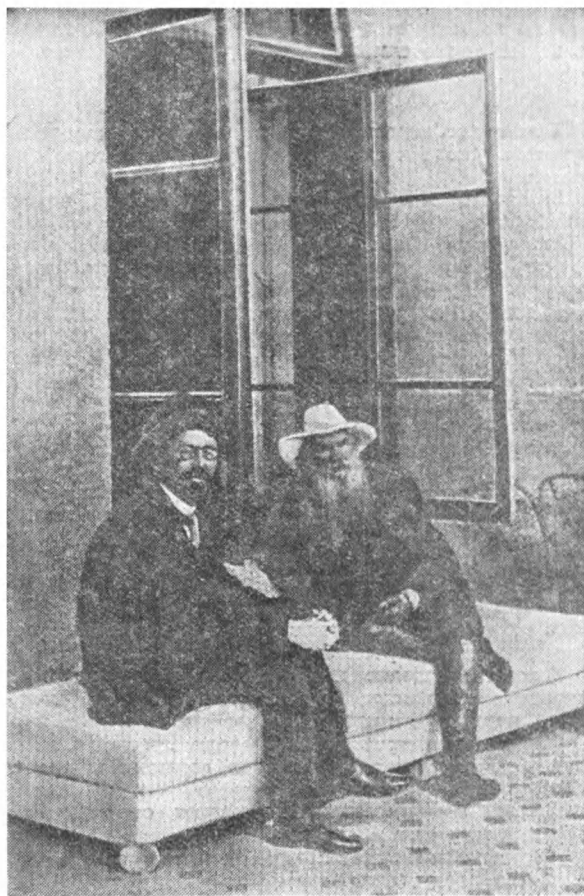
Безухов, Болконский, Левин, Нехлюдов... Каждый из них сам по себе характер, но узор их судеб расшит по одной тканевой основе — духовной биографии автора.

Создатель «Войны и мира» позаботился, чтобы резко отделить Пьера Безухова и Андрея Болконского и друг от друга и от себя самого. Князь Андрей — это «тихий мерный шаг», «усталый скупаящий взгляд», «маленькие белые ручки» и т. п. Точно так же, как Пьер — неуклюжая фигура увальня, большие, красные руки, доброе, с детским выражением лицо в очках. И нет ни черты в их внешних портретах, напоминающей Толстого... Но если проследить за законами тайной душевной жизни героев, то не стоит труда заметить: Пьер Безухов, совсем как молодой Толстой, страдает от бесхарактерности и борется с недостатком воли, ищет духовную опору, мечась от одного увлечения к другому. А князь Андрей изживает мечту о славе, мучительную болезнь тщеславия, о которой не раз пишет как о моральной «проказе» автор знакомого нам дневника.

Начиная работу над «Войной и миром», Толстой сформулировал в дневнике 1863 года еще одно свое открытие: «Такой же закон тяготенья, как материи к земле, существует для того, что мы называем духом, к духовному солнцу». К «Духовному солнцу», спотыкаясь, падая, снова обретая надежду на счастье и душевный мир и снова ее теряя, движутся любимые толстовские герои.

Тему духовных исканий — главную тему дневника подхватывает в «Анне Карениной» Константин Левин. Левин — фамилия не случайная. Мне посчастливилось еще видеть и слышать многих современников и друзей Толстого — А. Б. Гольденвейзера, Н. Н. Гусева, А. П. Сергеевко. Некоторые из них называли Толстого Лёв Николаевич, а героя «Анны Карениной» — Лёвин. В непривычном старинном произношении резче обозначалась связь имени героя с его создателем.

И дело не в том, конечно, что записи толстовского дневника, запечатлевшие его жизнь в деревне и первые месяцы семейного счастья, в поразительных подробностях совпадают со страницами романа: размовка молодых супругов, рождение первенца, косьба на Калиновом лугу — в дневнике словно бы готовый конспект этих глав. Главное, что толстовская личная нота слышна в страстных раздумьях Левина



Л. Н. Толстой и А. П. Чехов в Крыму на даче Паниной в Гаспре. 1901 г.

о цели и смысле жизни, о тщете одного личного счастья, о своем долге перед крестьянами, вообще перед людьми.

Тему толстовских исканий, толстовской совести подхватит и завершит в «Воскресении» князь Нехлюдов, герой, впервые явившийся у Толстого в «Отрочестве», ставший действующим лицом еще по меньшей мере пяти его произведений и временами, как в рассказе «Люцерн» (1857), неотличимо сливавшийся с автором дневника.

«Искусство есть микроскоп, — записал Толстой в дневнике в поздние годы, — который наводит художник на тайны своей души и показывает эти общие всем тайны людям».

Толстой-романист в разных состояниях застает душу своих героев, у каждого из них свой лик и характер. Но в себе он хочет понять других, а в других — увидеть себя. Толстовская художественная идея гениально проста, и она есть в то же время идея нравственная: в людях больше общего между собою, чем они думают, и важно ломать перегородки, разделяющие их души. Все люди одинаковы, но каждый человек — неповторим, и нам важна особенная и единственная его личность, тем более, если это личность художника.

«В художественном произведении главное — душа автора... — повторял Толстой на склоне лет в дневнике. — Когда автор пишет, мы — читатели, прикладываем ухо к его груди и слушаем и говорим: дышите».

Следуя воображением и мыслью по перепутьям жизни за Пьером Безуховым, Левиным, Нехлюдовым, мы точно слышим живое дыхание Толстого.

Такой необходимый Толстому в пору молодости дневник снова оказывается ему нужен в годы старости.

Возвращение к регулярным, с перерывами, подневным записям в 1881 году имеет, однако, другой, чем прежде, смысл и интерес. Со страниц дневника исчезают на время тонкие самоанализы, художественные наблюдения и заготовки. Стушевываются лица светских и литературных знакомых Толстого. Зато страницы дневника заполняются пестрой и шумной гурьбой народа, прежде здесь никогда не бывавшего: погорельцы, крестьянские вдовы, одоевские плотники, яснополянские мужики. Что ни день, Толстой выходит на большую пыльную дорогу за усадьбой, заговаривает с женщинами, возвращающимися с поленки, пешими странниками и богомольцами, мужиками, бьющими камень на шоссе. Идет самая горячая пора перестройки всего его мировоззрения, окончательный разрыв с традициями барства.

«У нас обед огромный с шампанским, Тани наряжены,— записывает он с горечью 28 июня 1881 года.— Пояса пятирублевые на всех детях. Обедают, а уже телега едет на пикник промежду мужицких телег, везущих измученный работой народ».

Толстого нещадно печет стыд этой жизни, и в дневнике возникают саркастические замыслы написать, например, книгу «Жрание»: «Валтасаров пир, архиереи, цари, трактиры. Свиданья, прощанья, юбилеи. Люди думают, что заняты разными важными делами, они заняты только жраньем».

Толстой почти физически страдает от того, что сам вынужден жить обеспеченной жизнью усадебного барина. Чтобы стать ближе к крестьянам, он занимается простым трудом: косит, пашет, шьет сапоги, и всем этим новым его увлечениям тоже посвящены строки дневника.

В последние два десятилетия жизни дневник Толстого подробен, как никогда. Выйдя из самой острой полосы своего кризиса, Толстой уже не избегает тем литературных и житейских, отмечает встречи с самыми разными людьми и прочитанные им книги, купанье в речке Воронке или прогулку в лес по грибы. В нем и в старости не иссякает молодая, острая жадность к жизни. В 67 лет он учится кататься на велосипеде, в 72 года находит удовольствие бегать на коньках по замерзшему пруду, на 82-м году жизни еще ездит верхом на лошади и, выйдя за околицу Ясной Поляны, на шоссе, с любопытством наблюдает один из первых в России автопробегов.

В зените мировой славы он живет, если судить по дневнику, как будто самой простой, обычной для любого современника жизнью: к старости чаще болеет, страдает мнительностью и боится смерти, ссорится с женой, сердится на детей, ведущих себя с ним не всегда почитательно,— нет пророка в отечестве своем, ни в своем доме. Но вместе с тем почти зримо видно, как течет на страницах позднего толстовского дневника, то расширяясь до разлива, то сужаясь в стремительном течении, живая река его духовной жизни.

Казалось бы, автору дневника давно все уяснилось, можно успокоиться на сознании постигнутой истины и только учить. Вокруг Толстого в последние годы росло число приверженцев его философии добра и «непротивления», и это могло располагать к правоучительности, величавому проповедничеству. Да, и такие страницы найдутся в дневнике. Но

несравненно чаще нас посещает другое видение. Читая эти, написанные старческой рукой строки, то и дело ловишь себя на том, что с Толстого будто сваливается знаменитая борода, разглаживаются морщины на челе... Перед нами тот же юнкер из станицы Старогладковской, который сомневается во всякой готовой истине, передумывает прежде найденное, строго и горько судит себя. Всякий раз ему кажется, что разрешение главных загадок впереди, и хотя жизнь прожита, а с ним все то же молодое чувство н а ч а л а.

Всего за год до смерти, пробившись всю сознательную жизнь над загадкой мироздания, Толстой замечает в дневнике: «Очень ясно, живо понял, странно сказать, в первый раз, что бога или нет, или нет ничего, кроме бога». И это вероучитель Толстой! И это в 1909 году!

Но неуспынная работа мысли вовсе не означает, что в душе Толстого остается мало места для нетронутого сомнением идеала. Еще в 1873 году он записывает в дневнике: «Я смолоду стал преждевременно анализировать все и немилостиво разрушать. Я часто боялся, думал — у меня ничего не останется целого; но вот я стареюсь, а у меня целого и невредимого много, больше, чем у других людей». И Толстой перечисляет добытые им и сбереженные ценности: любовь к одной женщине, отношение к детям, наука и искусство, верность деревне. «Это ужасно много. У моих сверстников, веривших во все, когда я все разрушал, нет и 1/100 того».

К старости этих непоколебленных ценностей, пожалуй, еще прибавилось у Толстого, или они стали для него несомненнее. Но отношения с другими людьми и со своей совестью продолжали волновать его, как в юные годы: его любимым занятием остается «чистить душу».

Он давно осознал «текучесть» людей, изменчивость их во времени и обстоятельствах, и то, что люди обычно бывают не герои и не злодеи, а «пегие», то есть и дурные, и хорошие вместе. И оттого все больше страдал от чужой самоуверенности, невозможности передать, перелить в другого открывшееся ему знание. Он сетует на «ужасные заслонки», отделяющие людей друг от друга. Неприятнее всего ему «красивые, внушительные интонации людей, говоривших глупости». Он снова и снова изобретает в дневнике обидные определения для самоуверенности и глупости, которые для него почти синонимы:

«Как у глаза есть веко, так у дурака есть самоуверенность для защиты от возможности поранения своего тщеславия», — записывает он. Или: «Люди малообразованные бывают часто дерзки и упорны в мыслях. Это оттого, что они не знают, какими разными путями может работать мысль».

Толстым открыты законы самозащиты глупости и подлости, обычно упрямо обороняющей себя. И наряду с институтами казенного суда, государства, церкви Толстой обличает и эти, распоряжающиеся частной жизнью людей, законы. Автор дневника ясно видит разрыв не только между тем, что человек говорит и как чувствует — в конце концов это заурядное лицемерие. Его занимает и самообман чувств, все виды оправдательной маскировки сознания.

«Человек добрый, — записывает Толстой в дневнике 1899 года, — если только он не признает своих ошибок и старается оправдывать себя, может сделаться извергом». Вот пример испепеляющей нравственной диалектики, знакомой нам по саркастическим портретам судейских и сановников в романе «Воскресение»!

Об искусстве в поздние годы Толстой пишет в

дневнике уже не как новичок, робко нащупывающий для себя его законы, но как умудренный мастер. Он знает его несомненности, но продолжает открывать в своем деле такие тонкости, какие ведомы лишь зрелому опыту художника. Главные требования его к литературе, печатному слову неизменны и выступают лишь в разной словесной одежде.

Бывает, что брошенное вскользь отрицательное замечание ярче выношенных логических определений. Об одной неудачной статье философа Грота Толстой замечает в дневнике: «Страшная дребедень: ни содержания, ни ясности, ни искренности». Чтобы удовлетворить Толстого, литератор должен писать содержательно, ясно, искренне, иначе получается писание «с чучелой вместо сердца, это то, чем полны журналы и книги».

В оценках результатов творческого труда Толстой не привык церемониться ни с собой, ни с другими. Его закон — правда в глаза.

Гений Толстого поражает не только вспышками острых прозрений, но и просто количеством, изобильностью неожиданных мыслей. У Толстого была привычка, часть его духовной природы — думать всегда. И давать себе отчет в своих мыслях, проверить, опровергать, закреплять на бумаге, хотя бы в беглых строках дневника.

Одна прогулка неподалеку от дома — в «Клины» или дубовый лесок Чепыж, и вот уже в записной книжке после слов: «Думал...» или «не забыть записать...» обозначены кратко пять, десять, пятнадцать криду ярких наблюдений, рассуждений, афоризмов.

«Лучше ничего не делать, чем делать ничего».

«Совесть есть память общества, усвояемая отдельным лицом».

«Для того, чтобы попасть в цель, надо целить выше и дальше ее».

«Большинство людей живут так, как будто бы идут задом к пропасти».

«Простота — необходимое условие и признак истины».

Толстой, как известно, очень ценил французских мастеров острого афоризма. В своем дневнике он, помимо всего иного, — наш русский Монтень и Ларошфуко. Дневник — настоящая сокровищница метких речений. И здесь не то что надо глубоко нырять за одной жемчужиной, преодолевая толщу воды. Нет, ты словно оказываешься на волшебном берегу и ходишь по жемчужинам мысли, как по песку. Нагнись, возьми горсть в ладонь и рассматривай на свет любую.

Читаешь эти записи великого старца — и словно живое, трепетное сердце стучит рядом. Редкостная, ни с чем ни сравнимая честность мысли. Бесстрашие. Откровенность. Ни перед каким вопросом не дрогнуть, высказать, что думаешь.

Великий и всепризнанный, он перед самим собою, наедине с совестью всегда просто человек — заблуждающийся, огорченный, часто больно упрекающий себя, порою слабый — и вдруг взлетающий на непостижимую, головокружительную духовную высоту.

То же и со страстью художника: дар его воображения, изобретения положений и характеров кажется неиссякаемым. Он черпает живую воду творчества в глубоком колодезе, но никогда не скажешь, что его бадня стукнула о дно.

Не один, два — десять, тринадцать маяющих его сюжетов находим иной раз на одной лишь странице дневника. «Задумал три новые вещи, — пишет он 9 июня 1903 года. — Умирать пора, а я все задумываю». А за три месяца до смерти перечисляет в



Л. Н. Толстой рассказывает внукам Соне и Илюше сказку. Крекшино. 1909 г.

дневнике 13 интересующих его типов — ученого, честолюбца, корыстолюбца, верующего консерватора, кутилы и т. д., и, переведя дыхание на цифре 14, замечает удивленно: «Нет конца этим чувствуемым мною типам». За месяц до смерти он вынашивает новый художественный сюжет о духовном человеке в пошлой среде, и словно потирает руки, заранее предвкушая радость работы: «Какая могла бы быть великая вещь».

Могучая сила, душевное здоровье и изобилие — вот что остается главным впечатлением от чтения толстовского дневника. И пусть противоречивейший автор его хочет слыть порою строгим аскетом, проповедником непротivления, недовольным новизной и обратившим взор в прошлое. Радость мира вечно спорит в нем с морально унылого долга, ожиданием потустороннего блаженства. Оттого в дневнике его поздних лет находим и такое:

«Смотрел, подходя к Овсянникову, на прелестный солнечный закат. В нагроможденных облаках просвет, и там, как красный неправильный уголь — солнце. Все это над лесом, рожью. Радостно. И подумал: нет, этот мир не шутка, не юдоль испытания только и перехода в мир лучший, вечный, а это один из вечных миров, который прекрасен, радостен, и который мы не только можем, но должны сделать прекраснее и радостнее для живущих с нами и для тех, кто после нас будет жить в нем».

Последние строки Толстой заносил в свой дневник, лежа на смертном одре, в полубреду, на кровати, уступленной ему начальником станции Астапово. Строчка оборвалась на полуслове. Это был его любимый смолоду девиз: «Делай, что должно, и пусть будет, что будет».

Великой жизнью, прожитой так полно, исполненной такого стремления к «духовному солнцу» и так щедро им запечатленной, Толстой оставил навеки памятный дар и своим современникам, и всем нам, его ближайшим и отдаленным потомкам.



ВИКТОР ЛИПАТОВ

ЗОВ ИКАРА



«...мы пишем не только красками, а жертвуя самими собой, разбитым сердцем».

Винсент Ван Гог

Может быть, жизнь художника Ван Гога на земле — это рвано-зияющий, никогда не заживающий шрам...

На одном из автопортретов мы видим человека пылающего. Глаза воспалены, усы и борода — как языки пламени. Он сгорает на светлом фоне бесстрастной стены, к которой его оттеснили. Кисти в руках — единственное оружие, мольберт — единственный щит. Он смотрит на нас обреченным взглядом последнего сражающегося солдата.

Чего он хотел?

«...хочется пожить на клочке луга, под уголком солнца, хочется ручейка и общества других».

Только и всего. А впоследствии просил лишь об одном: «Ах, если бы меня не топтали в грязи!»

Ему хотелось стать сеятелем. Помните его «Сеятеля» — этот гимн вечному произрастанию живого. Размахисто и торжественно шагает сеятель по голубоватому ковру еще мертвой земли, бросая в нее семена жизни. Он посланец царя-солнца, огромного, полновластного и могучего, захватившего лучами своей короны весь видимый небосвод...

Но добрый гражданин буржуа еще устами отца предупредил будущего художника: «Не забывай только об Икаре...»

Но ему пришлось обжигаться. И уже в родную семью неохотно выпускают Ван Гога — «большого лохматого пса... будет попадаться под ноги, — да и лает уж очень громко». А в дальнейшем пса сочтут бродячим. Где-то — не видно, но слышно — постоянно ехала телега с будкой, куда его пытались отловить; и он всю жизнь слышал приближающийся перестук этой телеги, представлял жадные руки, готовые швырнуть его на свалку.

За что же был гоним Ван Гог? Может быть, за вот эту фразу: «нет ничего более художественного, чем любить людей!» Любовь как достоинство человека и долг художника. Любовь — сострадание к обездоленным. Это было в Бори́наже — крае шахтеров и ткачей, на котором лежала «печать какой-то печали

и смерти». Странный проповедник Ван Гог не проявляет казенного оптимизма, не признает здравого смысла и «пристойных манер», говорит то, что думает, и довольно громко. Поражает стремительностью своей жизни. Проходит, а кажется — проносится, и вокруг возникают очаги бурь. Сочувствует восставшим, ссорится с дирекцией шахт. Бурно, неистово, самоотверженно приходит на помощь. Не проходит мимо голодающего — накормит последним куском хлеба и голодает сам. В его каморке пусто и голо — роздал все, что мог. Месяц не отходил от ложа изувеченного шахтера и заставил последнего жить...

Всегда и постоянно Ван Гог говорит, что он труженик, рабочий человек.

Художник внимательно и, пожалуй, восхищенно изучает процессы труда — как люди копают картошку, моют рыбу, собирают хворост и тряпье... Ощущает глубокое единение людей труда и природы. Его «черные» женщины, несущие уголь по белому снегу, придавлены поклажей, как бременем жизни. Черными силуэтами бредут они по замороженной пустыне. А на другом рисунке художника — очень похожие силуэты старых ветл. Люди-деревья. Впрочем, он и сам сравнивает ветлы с процессией стариков из богадельни.

Любимые персонажи его картин — крестьяне. Он даже называет себя крестьянским художником. Взгляд женщины («Голова крестьянки в белом чепце») исполнен милости к жизни, напряженного желания понять. На фоне полуденного марева рисует художник «Старого крестьянина» — красочные токи жизни кругами пульсируют на лице и замерзают белыми сосульками усов и бороды.

Ван Гог дивится, как глубоко умеют чувствовать эти люди. В сарае, где телится корова, он наблюдает за крестьянской девушкой. В глазах у девушки «...стояли слезы... Это было нечто чистое, святое, дивно прекрасное, как Корреджо, как Милле, Израэльс...»

«Едоков картофеля» называли ужасным полотном. Картина обжигает. Пир бедняков. В глазах лю-

Рисунок Ван Гога Сеятель 1888 г.



Автопортрет. 1887 г.

Из произведений ВИНЦЕНТА ВАН-ГОГА (1853—1890).



**Пейзаж в Овере
после дождя.
1890 г.**



**Едоки картофеля.
1889 г.**



Терраса кафе вечером. 1888 г.



Большая дорога в Провансе. 1890 г.

дей — оцепенение молитвы. Они священнодействуют, поклоняясь картошке — магической, насыщающей силе. Корявые, обветренные, иссеченные в повседневном сражении за жизнь руки-крюки как бы живут отдельно, «они праведно заработали свою пищу».

Когда художник заходит в хижину и беседует с бедняками «у камелька», он думает: «...откуда у них берется силы?»

«Искусство в полном смысле слова делается для тебя, народ». Разве не слышна в этой фразе чеканная стилистика времен революции 1789 года и Парижской коммуны!

«...мы находимся в последней четверти столетия, которая снова кончится огромной революцией...» Он заявлял: я «революционер и бунтовщик». Мог горячо спорить о социализме на улице и в пылу спора мазал прохожих свежим холстом. Это, конечно, только декларация, но возникни баррикада — он бы ее защищал. Его лучшие друзья исповедуют те же взгляды.

Когда проповедник Ван Гог превратился в художника, он почувствовал в себе «бурлящую силу». Лишь в двадцать семь лет утверждает он в своем призвании. Хотя достаточно прочесть его письма, чтобы понять: человек одержим живописью. Стволы деревьев напоминают ему Дюрера, небо — Рейсдаля, море — Добиньи, девушка — Перуджино... Работает самозабвенно, иступленно. Следует совету Милле: «В искусстве надо жертвовать своей шкурой» — почти буквально. Находит прекрасными слова Доре: «...у меня терпение вола» — и готов десять лет писать только этюды, чтобы затем одним взмахом кисти сотворить совершенство. Он начал в двадцать семь, а через десять лет уже писал картину за день, случалось — за час.

Неустанная работа подарила его рисунку ясность и одухотворенность линии. Рисунок подобен ртути — переливается, рассыпается, соединяется; линии перетекают в другие, разбегаются штрихами и пятнами, чтобы возникнуть гармоничным, точным изображением пейзажа или фигуры. Рисунок сочетает поэтику и дотошную правдивость. Любовь к детали обостряет фантазию настроения.

В живописи он любил все: краски и кисти, модель и пейзаж. Мог сочинять в письме целую поэму горному мелу и плотничьему карандашу...

Что бы там ни было — а в четыре утра он уже сидит у окна или шагает по улице со своим мольбертом. И не отходит от него по двенадцать часов в сутки.

«...работаю, как паровая машина».

Ничто не могло ему помешать.

Солнце не сгонит с солнцепека, мистраль не сшибет с ног, буря не отвлечет внимания от цветущей сливы. Влюбился в кусок почвы, и гроза не смогла прогнать — обрадовался грозе: «такой роскошный глубокий тон приняла почва леса после дождя». Только пришлось снова плюхнуться на колени в болото — до грозы начал «вещь с низким горизонтом».

Приходит ночь, он водружает на шляпе корону из горящих свечей и пишет отражение звезд в реке.

Быстрота, почти молниеносность его работы в последние годы — это результат огромного труда и мастерства. Потому что «...картины являются как во сне...». Потому чудотворен его нервный, порывистый, вибрирующий мазок. Несколько прикосновений кисти — и возникают контуры лошади и телеги, следы на болотистой дороге («Пейзаж в Овере после дождя»). Потому велика пластическая выразительность его картин. Массы воды достигают скульптурной отчетливости — ощутима вязкая плотность моря («Побережье в Схевенингене»).

Но одного мастерства мало. Вслушайтесь, какая радостная гордость звучит: «природа говорила со мной». Только тогда он начинает писать картину. Природа говорила с ним, понимающим мастером. Природа говорила с ним, потому что он шел к ней, обдирая руки и ноги, голодая и холодая, не жалея себя.

Его поразительные рыжие, серебристые, стальные дороги — это беспрерывно текущие реки, артерии жизни.

Его растрепанные, вырывающиеся из вазы подсолнухи — маленькие солнца.

Природа говорила с ним, и случалось, восхищенный художник падал в обморок.

Грабвер писал: «...только одному Ван Гогу природа ответила взаимностью».

Ван Гог утверждал, что художник грядущего будет великим колористом. Таким художником он стал сам, проникая в глубину цвета и заставляя его звучать музыкой и источать аромат.

Взгляните на его мостовую у «Террасы ночного кафе» — как она прекрасна, как богато переливается цветами.

Красные виноградники в Арле — «как красное вино». Резко интенсивные цветовые контрасты — столкновения желтого — жизни и синего, почти черного — неизбежности. Дорога вытекает из солнца и мерцает красками. Все струится — из этого переливающегося движения вырывается пламя красных виноградников. Собирая урожай, крестьяне словно гасят пожар.

Художник знал, какие цвета расскажут о влюбленных, а какие кричат злыми врагами: мог разделить цвет на бесчисленное количество градаций. Помогал цвету вспыхнуть ярчайше или сводил его к свечению в глубокой тени. Понимал отношение цвета к добру и злу. Пришлось бы переметить красками все человечество — по его нравственным достоинствам, — не смутился бы.

Палитра Ван Гога вначале темноватая, к концу жизни стала искрящейся, играющей, хохочущей и рыдающей.

«Ночное кафе в Арле» называли жутким. Художник именовал его местом, «где можно сойти с ума или совершить преступление». Перед нами изображение «раскаленной бездны», ожидающей пришествия сатаны. Дверь до жути тихой комнаты приоткрыта. В комнате разлилось остановившееся ночное время. Желтые блики ламп плывут в нем, как в густой воде. И тонут одинокие дремлющие фигуры — мотыльки, попавшиеся в ловушку.

Ван Гог был великим цветовочувствителем (слово, открытое Петровым-Водкиным).

Однажды он воскликнул:

«...если бы я осмелился дать себе волю... начал бы цветом создавать подобие музыки».

У нас Скрябин хотел превратить музыку в живопись.

...Если хотите узнать, каков был голодный Ван Гог, посмотрите на «Едоков картофеля». Добрый гражданин буржуа запрещает прихожанам и жителям позировать: художник нечист, заразен, опасен — социально!

Обстоятельства гонят его по всей Европе: Голландия — первая родина, Франция — вторая. Иногда приходится странствовать пешком. Ноги стерты в кровь, спит в сене, на телеге и хворосте.

«Все время у меня в мозгу и в теле оставалось ощущение голода...»

Ему не давали есть и не разрешали любить.

«...полюбить всерьез — ...открыть новую часть света».

Женщину, которую он полюбил, отдаляют от него. Ван Гог пытается доказать силу и серьезность своей любви, кладет руку в огонь лампы: «Дайте мне повидаться с ней на то хотя бы время, сколько я выдержу руку в пламени...»

Его отлучили от любви. Его, человека остро и тонко чувствующего, заставляли еще сильнее страдать.

Оттого его «Улица» пустынная, длинная, однообразная, как жизнь, которую не хочется пройти.

Его нежность, мечта о жизни, подобной песне жаворонка, обращается на цветы. Он многократно рисует маки, васильки, незабудки, хризантемы, ирисы, розы. «Букет в медной вазе» сияет на голубом фоне, мерцающем белыми блестками, как утреннее море. Цветы безмятежны, написаны без мук, с признательностью отдохновения. Художник называл их «символами благодарности».

Конечно, были у Ван Гога и свои праздники.

Когда к нему в мастерскую впервые пришел настоящий художник.

Когда он купил хороший ящик с хорошими красками.

Когда наконец-то появляются крепкие штаны и такие же крепкие ботинки. Он пройдет в этих ботинках много дорог и навсегда останется им благодарен — напишет на холсте старые, истоптанные, но все еще несокрушимые ботинки-битюги...

Главный праздник — письмо от Тео. Брат — это все: отец, мать, единственный друг.

Из месяца в месяц, из года в год Тео шлет ему деньги и свое слово, неизменно исполненное добра, тепла и веры.

Тео принимает на свои плечи частицу его страданий. Ведь письма Винсента — молнии, и брат безропотно и терпеливо выносит их разряды.

История человечества навсегда сохранит память о двух сердцах, бившихся почти в унисон.

Вдохновенный агитатор и неумелый организатор, Винсент пытается объединить хотя бы малую группу, чтобы легче выживать, совместно писать картины, распространять среди рабочих и крестьян рисунки. Девизом возглашаются «честность, наивность и верность».

Последняя надежда — «желтый домик» в Арле, где он поселяется, чтобы отсюда, с юга Франции, начать поход Возрождения под знаменами новой живописи. Ему нужны большие деньги — для хороших и бедных художников, которые отовсюду придут в Арль, в артель, где воцарится дружба, братство, любовь.

Но денег нет, силы подорваны, и «ателье юга» терпит крах. Приходит болезнь, и добрый гражданин-буржуа требует упрячь художника за решетку лечебницы. В «Виде Арля» три синих голых ствола деревьев на первом плане кажутся гигантскими прутьями этой решетки: за ними сады и дома города, так и не ставшего родным. Клетка оказалась невероятно крепкой. Мир сворачивается в спираль. Но по-прежнему художник притаскивает после тяжелого трудового дня холст — «маленький походный музей», где собирались «куски» жизни. Мазки пляшут в хороводах, возникает танец цвета — свободный, буйный, неустойчивый. Беспорочно ворочающаяся почва («Оливковая роща») рождает живые, извивающиеся, стонущие деревья. Они корчатся в родах. Помните у поэта: «Улица корчится безязыкая...» Голубовато-стальные стволы, горя нетерпением, рожают зелень листы, буквально кричащую в небо — крик этот рождает движение небесной материи...

В небе проносятся торжественные вихри («Звездная ночь»), бешено скачут разгулявшиеся светила над тихим, спокойным городком. Космос встречается с землей, их соединяет взрывающееся из земли и из-

вергающееся к звездам зеленовато-коричневое пламя любимого Ван Гогом кипариса.

«Дорогу в Провансе» и вовсе называли фантастическим пейзажем. Дорога рекой времени течет к кипарису, мимо кипариса. А он устремляется в синеглубое небо, где сияют огромные светила. Создается впечатление единого бесконечно движущегося мироздания.

Заточенный в лечебницу, художник наблюдает сквозь решетку необозримые хлебные поля, видит в них «всю мою печаль, крайнее мое одиночество». Оно бежит, это неуютное, дикое одиночество, словно обжигаясь желтым огнем хлеба, повернутое в смятение порывистой, нервной дорогой, напуганное злоеющим вороньем, вылетающим из нависающего темносинего неба («Стая ворон над хлебным полем»).

Оно было гулким и звенящим, как если бы он сидел на дне глубокой металлической бочки. Или каменной. Это оттуда так отчаянно, с надеждой и безнадёжностью повернуто к нам рыжая голова художника — из цепи заключенных, кружащихся меж неоодолимых ржаво-плесенных стен тюрьмы («Прогулка заключенных»). Шаг — шаг. Руки за спину. Скользят тени по отполированному полу каменного мешка. Бесконечность обреченности.

Иногда он жил радостно. В это трудно поверить, глядя в его недоверчивые, тоскливые, «глухие» глаза («Автопортрет»). Без гроша, без хороших штанов, с коркой черствого хлеба и горстью каштанов, одинокий в кипящем людском море — он жил радостно, когда возжигал масло в светильниках искусства. Ради этого ему хотелось прожить не одну жизнь — хотя бы две. Ван Гог когда-то написал такую простую и емкую, как формула, фразу: «кто любит — живет; кто живет — работает; кто работает — имеет хлеб». Любовь отняли и объявили его — рабочего человека! — неспособным зарабатывать хлеб. Неспособным внести свою лепту в искусство будущего — гасили его светильники. Объявили его Никто.

И он разучился смеяться.

Начал падать в пропасть, хватаясь, впрочем, за любые соломинки.

Как измерить глубину его отчаяния?

Ван Гог вынимает пистолет.

Контурная, почти исчезающая в солнечных лучах фигура — тень спешно, трудолюбиво и неумолимо убирается с поля жизни: клубящиеся хлеба («Жнец»).

Пистолет выстрелил.

Пришел «жнец, который молчит под палящим солнцем», и сжал колос.

Художник сказал на прощанье: «Как я хочу домой». До конца ему претило быть странником и мучеником.

В последний путь провожали картины. Они склонились у его праха, как боевые знамена.

«Живописцы... беседуют, лежа мертвыми в земле, со следующими поколениями при помощи своих произведений».

В последний путь его провожало солнце, такое безжалостное и такое жизнотворческое; солнце, которому, как писали, он хотел посмотреть прямо в глаза.

☆☆☆

Величайший голландский живописец XIX века Винсент Ван Гог оставил нам около 900 картин и 800 рисунков. Работал он только десять лет. Благодарное человечество открывает его музеи и воздвигает ему памятники.



ЮРИЙ ПАШКОВ

☆☆☆

С юга
 плывут и плывут облака —
Чад отплавших дерев.
Яблони наши белеют пока,
Перегореть не успеv.

Запоминай
 отцветающий сад,
Пальцами веточку тронь,
Чтобы тебя согревал в листопад
Памяти белый огонь.

Запоминай
 этот запах цветка,
Пчел басовитый напев.
С юга плывут и плывут облака —
Чад отплавших дерев.

Неумолимо
 подходит пора
С южных горячих широт:
Облако, словно воздушный корабль,
В синее небо уйдет.
Знаем:

 на том корабле уплывет
Лучшая наша весна.
Запоминай, как играет, цветет,
С нами прощаясь, она.

☆☆☆

Темнота.
 Только эти двое
Вкруг себя удержали день,
Словно облако пало сквозное,
Белым светом налитое вслень.

Что такое любовь, по сути!
Не досужих вымыслов плод!
Это —
 пламя в телесном сосуде.
Это —
 солнцем ставшая плоть.

Здесь,
 под сенью не вечных растений,
Под высокою вечной звездой,
Эти двое вдыхают темень,
Выдыхают свет золотой.

☆☆☆

Прикосновенье к детским голосам —
Прикосновенье к веткам на рассвете.
И то,
 что неподвластно мудрецам,
Прекрасно все улаживают дети.

Нас детством окружают малыши,
Как доброю
 и солнечной погодой.
Просторы нашей стынувшей души
Горячий их заполняет гомон.

Пусть радостью чужой
 душа красна,
Пусть не своим она теплом полна,
Пусть заблуждается,
 себя считая вешней...
Так ветхая убеждена скворечня,
Что вместе со скворцом поет она.

☆☆☆

Когда с отважной нежностью смычка
Божественная женская рука
Коснется многомудрого виска —
Какой-то позабытый ритм вернет,

Озвучит ночь,
 утратившую звуки,
Отзывчивое сердце отцветет,
Благословив спасительные руки.

Рассудок стал с годами холодней,
В трудах ладони наши огрубели,
Но сердце до последних самых дней
Нуждаться будет в детской колыбели.

☆☆☆

Как в реке успокоенно-доброй
Бродит струйка ручья-сорванца,
Так таится девический образ
В глубине пожилого лица.

И в часы безгрозовоv погоды,
Как души неувядшей залог —
Лик девичий пробьется сквозь годы,
Словно дивный подводный цветок.

Пусть из возраста дерзостный выход,
Как из сумерек тесных на свет —
Просто сердца счастливого прихоть,
Что грустит под владычеством лет.

Разве этого, милая, мало —
Знать, что время не все отберет,
Что за возрастом, как за туманом,
Солнце юности нашей цветет!



Но призраки прошлого тянутся к маленькой Анне, к той, что «в память бабки Анны Анною наречена. На земле от бабки Анны только карточка одна». Боль за своих детей — всегда боль за всех детей. Нельзя, невозможно, недопустимо, чтобы хоть от кого-

то осталась только фотография, — и это тоже «главные слова» Дмитрия Сухарева.

Доброта, как правило, сопутствует юмору, ироническому взгляду на мир и на себя самого. Юмор Дмитрия Сухарева незлобив и сердечен, это веселая грусть, от которой в жизни теплее:

У души моей вот-вот
Загремят раздоры с телом,
Намекнула между делом
Душа телу на развод...

В короткой заметке трудно передать все впечатления от этой по-настоящему доброй и умной книги, трудно дать почувствовать все ее обаяние. Но тот, кто эту книжку прочтет, будет вознагражден.

Виктор
КОРКИЯ

КАК РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА...

«...Мне семнадцать лет, у меня красивые ноги, и я люблю носить короткие платья... Я считаю, что по мере возможности надо прожигать жизнь, любить и быть любимой...» — пишет в своем письме Таня Гром (это псевдоним).

Стоит ли прожигать жизнь? Стоит, отвечает автор книги «Банан за чуткость» писатель Леонид Жуховицкий (М., «Молодая гвардия», 1977). Стоит, добавляет он, и не только в семнадцать, но и в двадцать семь, и в пятьдесят, и дальше. Автор не шутит — просто он напоминает, что по-настоящему «прожечь» жизнь можно лишь на сильном, ярком, чистом огне.

Так начинается серьезный разговор о жизни. В книгу входят произведения разножанровые — здесь можно встретить новеллу и статью, ответ на письмо и рассказ, очерк и зарисовку, а все, вместе взятое, представляет собой интересную публицистическую прозу, объединенную недюжинной личностью писателя.

Публицистика Жуховицкого не оставляет давно известное, она занимается поиском. Писатель ищет сложные вопросы (вернее, они сами находят его) и остро их решает. Смелость мышления, парадоксальность суждений и привлекают читателя, причем читателя любого возраста.

Если тебе подсказывают — не поучаю! — как стать счастливым, как стать личностью, при этом ничего не навязывая, не резонерствуя и не занудствуя, то хочешь — хочешь — прислушаешься.

Писатель не терпит равнодушных и никого равнодушным не оставляет. Он не устает размышлять о том, что человек сам может сделать себя. «Есть один вид творчества, сложный, увлекательный, доступный практически каждому. Вот я и предлагаю тебе: сотвори собственную личность и собственную судьбу. Поработай на себя и на общество — ведь и ему ты тоже нужен состоявшимся».

Почему так много несостоявшихся судеб? Что такое любовь, и можно ли, если она не удалась, перчеркнуть свою жизнь? Что та-

кое личност и как стать ею? Что важнее — сила или ум? Масса важных, иногда болезненных вопросов и — откровенные на них ответы. И это не надоевшие прописные истины, а серьезный разговор с умным собеседником. И хотя некоторые страницы книги звучат зло, основное качество прозы Жуховицкого — доброта. Доброта требовательная, деятельная. Именно с позиций доброты, уважительного внимания к человеческой личности рассматривает он не совсем обычную бытовую историю. Его тревожит и не дает покоя вопрос: кто виноват в том, что из-за неудачной любви повелась двадцатипятилетняя работница ткацкой фабрики? А что такое «вещизм»? Писатель детально разбирает проблему другой молодой женщины: уже полгода та живет только одной мечтой — мечтой о дубленке с вышитыми по подолу цветами.

Ответы спорны. Трудно найти положение, выдвинутое Жуховицким, с которым можно было бы сразу согласиться. Не спорить с писателем невозможно, а ему только того и нужно.

Но подобный разговор не только втягивает в спор, он и учит мыслить. И это — самое главное.

Алла
КИРЕЕВА

ОБЛАСТЬ СЕРДЦА

«Мое отечество Россия, мое призвание — Сибирь» — таков лейтмотив книги (восьмой по счету) Анатолия Преловского «Смешанный лес» (Иркутск, Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1977). Название ее не случайно, оно выражает и единство и неоднородность состава как хронологического (тут собраны стихи — итог более двадцати лет работы автора), так и тематического.

Его стихи не так просты, как может показаться с первого взгляда, — для того, чтобы правильно понимать их, нужна, пожалуй, немалая поэтическая подготовка, которую позволительно будет сравнить с умением держаться на большой воде, — пишет в предисловии к книге Валентин Распутин и приводит полностью очень характерное стихотворение поэта — «Дерев»:

Моя работа тихая, как рост
живого дерева в невырубленной
чаще,

что каждой веточкой,
зеленой и дрожащей,
пытается достать до звезд.

Достать. Соединить. Объединить
родную землю с необжитым
небом.

В призванье этом,
дерзком и нелепом,
кто может дерево винить?

И вот тянусь, тянусь.
Перебрещаю реки,
осиливаю молнию и гром.
Я делом занят. Что мне
дровосеки
с их вездесущим топором!

Преловский — поэт, не замыкающий свою лирику только на

внутренних переживаниях, но раскрытый для всех примет внешнего, действительного мира: «...строитель мне родней, чем скиталец любой, потому что дорогу строитель, как ребенка, ведет за собой». Дорогу, свой путь поэт выводит из Сибири, приверженность к которой ощущается чуть ли не в каждом его стихотворении, и снова приводит в Сибирь уже обогащенной в жизненных поисках: поэт исходил и изъездил огромные пространства нашей Родины. И эти огромные пространства и мелкие детали, встречающиеся на пути, зорко фиксируются вниманием во всем заинтересованного человека: «Ядреные босые ноги баб ступали по вечернему проселку, на золотую лепку икр могучих ленивой вязью оседала пыль...»

Но, помимо умения выявить, «вылепить» мир в деталях, автору присуща способность мастерски дать психологический портрет современника во всей его сложности и противоречивости («Старуха», «Счастливец», «Мэтр»).

С особым проникновенным лиризмом поэт вспоминает о своем военном детстве. Лучшие грани его творчества в стихах об этой поре стали отправной точкой дальнейшего пути. Небольшой цикл «Эхо войны» наиболее показателен в этом отношении. Он выявляет у поэта счастливый дар, переболев чужой болью, заставить переболеть ею читателя. Дар сопереживания, присущий Преловскому, дает возможность читателю как бы прожить чужую жизнь вместе с ним, с поэтом, который принимает чужую боль на себя и делится ею. В этом его незащищенность, открытость всему миру. «Мое спасение — в первоудивлении», — признается поэт. Открытость, искренность — пожалуй, самое важное условие того, что и действительность предстает перед поэтом в откровенности, полноте, весомости. И сам поэт понимает свое предназначение в гармоническом слиянии с родной землей: «О Родина! О Мать!» — смешно мне величать тебя так пышно, когда меня в тебе не слышно, а без тебя совсем темно. Именно это дает ему право говорить о судьбе родной природы («Лось», «Лошадь», «Медведь»), именно благодаря этому счастливому качеству мы обязаны поэту тем, что видим в его стихах, как идет по земле человек, строитель и созидатель.

Чего-чего, а шири всем хватает:
владей и строй, в ком сердце
не мертво.

Не чувство ли простора отличает
историю народа моего?

Всю беспредельность — реки
и озера,
леса и горы — жизнью не
обнять

Не потому ли вне того простора
и негде жить и негде умирать?
(«Родина»)

Иван
ЖДАНОВ



**ГРИГОРИЙ
МЕДЫНСКИЙ**

О НАШЕЙ ПЕРЕПИСКЕ

Наша переписка с Юрием Ковригаром, напечатанная в предыдущих номерах «Юности» (№№ 3 и 6), привлекла большое внимание читателей, от которых поступило много откликов. Отклики интересные и очень разные, и мне хочется подвести здесь некоторые итоги.

«Большое спасибо за публикацию переписки. Эти письма заставляют проанализировать свою жизнь, ценить и беречь то, что мы иной раз не замечаем, как должное,—приобретенное с рождения советское гражданство,—пишет один из авторов этих писем.—Ужасно хочется помочь Юре, хотя бы духовно поддержать его. Не подумайте, что это жалость. Нет. Это естественный порыв души советского человека. Я уверена, что Вас «завалят» письмами, в которых будет все: и сочувствие, и упреки, и даже зло. Я обращаюсь к Вам с просьбой: выберите из всех писем самые душевные, самые идейные и перешлите Юре. Ему обязательно нужно почувствовать локоть друга».

(Наташа Бутакова, поселок Новомичуринск
Рязанской обл.)

Вот так отзывалась в наших читателях эта переписка.

«Здравствуй, «Юность»!

Меня глубоко взволновала публикация Г. А. Медынского «Незаконченная переписка» («Юность», 1978 г., № 3). Я знала Юру Ковригара, мы вместе занимались в шахматном клубе Львовского Дворца пионеров. Он, конечно, едва ли помнит десятилет-

нюю девочку, у которой выиграл партию на первенстве Дворца.

Жаль Юру. «Что имеем — не храним, потерявши — плачем». Действительно, мы за повседневными делами не всегда чувствуем, что такое Родина, какое это счастье — быть советским человеком.

...Больше всего жаль детей, которых родители увозят с собой. Малыши вырастут в другой среде и получат соответствующее воспитание. Но подростки уже никогда не забудут Родину, родной язык, родной быт. И многих рано или поздно ждет трагическое прозрение, как Юру Ковригара. И ведь вина-то не их, а родителей...

На моих глазах произошла подобная трагедия. Родители обманом заставили семнадцатилетнего парня подписать согласие на выезд, потом он понял, что наделал, заметался, но было поздно. Он посидел от горя, но его увезли за два месяца до совершеннолетия, когда он мог бы отказаться от своей подписи, да и от таких родителей тоже.

Родина — на всю жизнь, и надо быть достойными ее...

(Ольга Рейфман, ученица 10-го кл., Львов)

«Мне скоро 26. Мое поколение послевоенное, но мы не забыли о войне, не забыли о 20 миллионах загубленных жизнью советских людей: старых, детей, молодых и сильных, у которых впереди было прекрасное будущее, не забыли о цветущих городах и деревнях, которые были разрушены и сожжены.

Наша страна как добрая, заботливая мать воспитывала нас. За эту любовь и заботу мы преданы ей беспредельно... Каждый из нас стремится к тому, чтобы страна наша стала богаче и красивее.

...Ковригар пишет о том, что он в худшем положении, чем герои Ваших книг. Он прав, так как хуже предательства ничего быть не может...»

(Ира, Москва)

«Прочла в «Юности» переписку с Юрой Ковригаром. И стало мне горько за Юру. Не стала бы я ему писать. Нет! Да, он предал Родину. И Зою Космодемьянскую предал. И всех нас, советских людей.

Хорошо, что сейчас он сознает это. А когда уезжал, о чем думал? По письмам Юры чувствуется, что, возможно, ему и его родным разрешат вернуться в Советский Союз.

А если бы там было хорошо? Написал бы он Вам эти письма? Нет!

Я лично против его возвращения. А вдруг что-нибудь случится с нашей Родной Землей? Где будет Юра?

Извините, очень-очень волнуюсь, даже руки трясутся.

(Ученица 9-го класса Лена Попова, г. Мурманск)

А вот, по-видимому, письмо ее ровесницы. И ей тоже, как она пишет, «захотелось излить свои чувства», вызванные нашей перепиской, только чувства эти оказались совершенно другими.

«Может, я не все еще понимаю в жизни, но мне кажется, что назвать Юру изменником или предателем своей Родины может только человек, не захотевший понять его душевный мир, все то, что Юра пережил вдали от всех друзей, товарищей. Его можно понять, если учесть, что фактически он был «молокососом» (простите за грубое слово)...

Григорий Александрович! Вы ведь будете, наверное, писать еще Юре. Напишите ему, пожалуйста, чтобы он не мучил себя вымышленным предательством. Я не верю, что такой человек, как он, может

быть преступником. Пусть он не думает, что у него нет друзей. Хочется ему сказать: не теряй надежды! Ведь пять лет — это еще не вся жизнь! Ты еще сможешь быть счастливым, приносить пользу Родине...

(Лена Крючкова)

А вот еще одно письмо, адресованное мне, но обращенное к Юре:

«Я с большим волнением прочитала Вашу переписку с этим человеком. По-моему, нет ничего тяжелее такой вот тоски и жизни на чужой, неродной земле. Ведь нашу землю, наш воздух, наше небо забыть нельзя. И хотя в повседневной жизни это самое «чувство Родины» невольно притупляется, оно всегда в человеке. Даже в не очень хорошем.

Не знаю, вполне ли искренни чувства Юры, но его письма вызывают человеческое сочувствие. И, думаю, не только во мне. Поэтому хочу, чтобы он узнал это. Не знаю, правильно ли я делаю, что пишу об этом, но я не хочу сделать ему больно. Ведь он еще молод, и надо надеяться...»

(Полина Иткина, Алма-Ата)

И еще одно письмо, подобное:

«Я человек веселый и общительный, у меня много друзей и подруг. Мне слишком легко живется, у меня всегда все хорошо. Но мне постоянно приходится сталкиваться с людьми, у которых не все так гладко, и чувствовать неловкость за свое благополучие. Тогда по мере возможности стараюсь помочь им.

Я много слышала о том, что некоторые евреи, да и не только они, покидают Советский Союз и отправляются в капиталистический «рай». Я никогда не могла понять таких людей. В школе мы сами доказываем преимущество социалистической системы. Нас воспитывают на примерах мужества и героизма, во имя любви к Родине, и все мы искренне верим в свою готовность к подвигу не только в военные годы, но и в трудовые будни.

Юра Ковригар учился в советской школе, но я не могу осуждать его. Здесь все значительно сложнее, и его переселение нельзя назвать сознательной изменой Родине, но это и не просто поездка к родственникам. Главное здесь то, что Юра все понял. Сам. Его письма усталые, но не безнадёжные. Он устал так жить, но жить надо, и Юра не потерял веры в будущее».

(Алла Князева, г. Ковров)

Таким образом, попав на страницы печати, Юра оказался перед судом ровесников, и пусть он примет этот суд так, как есть, и с его сочувствием и требовательностью. Приведу еще одно место из письма Наташи Бутаковой:

«Мы с Юрой ровесники, и мне до жути страшно подумать, что я могла бы оказаться на его месте...

Мы живем, не ощущая, не замечая своего счастья, — поймешь и оценишь, когда потеряешь. Этим еще раз подтверждаются мудрые слова Сергея Есенина: «Большое видится на расстоянии». Письма Юры заставляют нас и помогают, не удаляясь на расстояние, ценить и беречь наше большое счастье. И спасибо ему за то, что, испытав одиночество, он не озлобился на весь мир, а нашел в себе силы предостеречь и других от беды».

А в заключение хочу сказать несколько слов и о себе, так как я тоже ведь не простой почтальон, а живой и заинтересованный участник переписки.

Та книга, которая послужила толчком к переписке — «Разговор всерьез», — является завершением большого, двадцатилетнего периода в моей работе и жизни, когда я целиком ушел в тягчайшие проблемы трудного детства, трудных судеб и в конечном счете преступности. («Честь», «Трудная книга», «Пути и поиски», «Разговор всерьез», журнальная публицистика и громадная личная переписка.) Нет, я не раскаиваюсь в этом. Это помогло мне что-то понять и чем-то помочь людям в понимании некоторых явлений нашей жизни. Но, скажу откровенно, для меня все это было очень нелегким и психологически тягостным делом, это держало меня в общественно важном, но довольно узком круге людей, идей и настроений.

И это создало несколько превратное представление обо мне, как писателя. Современный читатель забыл о моем первом романе «Самстрой», о книгах «Девятый «А» и «Повесть о юности», посвященных жизни школы и вопросам воспитания не «трудной», а «нормальной» молодежи, так же как он забыл о моем любимом романе «Марья» — о женщине-колхознице времен Великой Отечественной войны.

И вот теперь молодая девушка пишет: «Я знаю, что ваша «специализация» — юный преступник и его перевоспитание, но я обращаюсь к вам совсем по другому вопросу».

Этот «другой вопрос» — ее спор с дедушкой по вопросам искусства. «Я очень люблю работы наших советских художников. Но мне всегда бывает больно, когда люди, причем высокообразованные, не понимают современного изобразительного искусства».

И мне, нареченному «специалисту» по преступности, очень приятно, даже радостно, когда в этой переписке передо мной раскрываются совсем другие, светлые стороны нашей молодежи и ее полнокровная духовная жизнь.

«Мне 18 лет, — пишет девушка, — я комсомолка, учусь заочно в институте легкой промышленности, увлекаюсь чтением, спортом, поэзией».

«Сейчас у меня все определено, — сообщает другая. — Я уверена в завтрашнем дне. Я знаю, что после окончания десятого класса я буду учиться дальше или работать для того, чтобы внести свой вклад в наше общее дело, дело нашей Родины».

(Ирина Панькова, Якутия)

Вот еще одно письмо:

«Я не русская, но не могу себе представить Родину лучше, чем Россия. Страна беззастенчивых озер, страна сказок, страна будущего. Я не совершила такой ошибки, как Юра, потому что мои родители, школа, общество дали мне прочную основу жизни. Нет, ни за что я не променяю свою Родину. Это моя Родина, мои реки, мои цветы, моя Москва».

(А. Коренблуд, Днепропетровск)

Наша переписка принесла пользу нам всем — мне в том, о чем я только что сказал, читателям — тем, что она помогла им разносторонне осмыслить специфическое явление, появившееся в нашей жизни. Принесет она, на мой взгляд, пользу и самому Юре Ковригару, если он серьезно, по-граждански осмыслит ее. Конечно, некоторые высказывания могут его огорчить, даже обидеть, но будем надеяться, что он поймет их. Пожелаем ему мудрости и успехов в осуществлении его больших надежд.



ГАЛИНА НИКУЛИНА

НА ДАЛЕКОМ- БЛИЗКОМ ОСТРОВЕ

...Седьмого июля 1890 года Антон Павлович Чехов поднялся на корабль в дальневосточном порту Николаевске и, переплыв Татарский пролив, ступил на сахалинскую землю, в Александровске.

Младший брат писателя Михаил рассказывал: «Как ни было неожиданно решение брата Антона ехать на Сахалин, но оно было твердо и крепко основывалось на его глубоком убеждении в том, что он должен ехать туда во что бы то ни стало...»

Меня поразили те твердость и легкость, с которыми Чехов решил отправиться на сахалинскую каторгу. Та тщательность, с которой он готовился к поездке.

С университетских лет манил меня поэтому Сахалин. Чтят ли сахалинцы Чехова, помнят ли его поездку? Ведь она была не то чтобы трудной. Она была подвигом. Уже больной, Чехов отправился в тяжелейший путь, считая своим нравственным, гражданским долгом рассказать о невыносимой участи каторжан. Правду — ценой собственной жизни.

Чехов добирался до Сахалина — сейчас это кажется неправдоподобно долго — 82 дня. Холодной

весной Антон Павлович сел в Ярославле в поезд, потом плыл до Казани по Волге, потом по Каме до Перми и оттуда по железной дороге до Тюмени. А дальше через всю Сибирь на тарантасе и по рекам. Ехал Чехов с невероятными лишениями, по половодью и распутице. Другого пути не было.

«В Тымовский округ из Александровска ездят теперь через Арковскую долину и меняют лошадей в Арковском Станке», — писал Чехов. И теперь из Тымовского в Александровск и из Александровска в Тымовское ездят через Арковскую долину и на полпути автобус останавливается. Отдыхает несколько минут водитель, отдыхают пассажиры, пьют горную чистую воду. Путь от Тымовского до Александровска вдоль горной речки, будто по спирали, очень хорош. По обе стороны дороги пышное разнотравье, необъятные поляны желтых одуванчиков. И знаменитые сахалинские лопухи, лопухи-громадины, лопухи-зонты. Чехов писал: «Гигантские лопухи начинают казаться тропическими растениями...»

Живописны и причудливы скалы, окаймляющие восточное побережье острова Монерон Сахалинской области.

Александровск при Чехове был «городком, в котором нет ни одной каменной постройки, а все сделано из дерева, главным образом из лиственницы: и церковь, и дома, и тротуары». Теперь Александровск — обычный небольшой современный город. С новыми многоэтажными домами из серого камня, большими магазинами, стандартно-нарядными киосками. Особые приметы? В гостинице — благоустроенной и новой — не было таблички «Свободных мест нет». Были действительно места, и меня любезно спросили, какой номер я хочу. Но, говорят, что и здесь не всегда так случается.

Еще что? Около домов, старых, сложенных «елочкой», сушатся ожерелья из корюшки. Еще? Очень доброжелательные люди. С готовностью вступают в разговор. Когда же узнают, что человек с материка, начинают хвалить свой остров.

Чехов писал о «печальной особенности» сахалинской толпы: в ней «совершенно отсутствовали юноши. Казалось, будто возраста от 13 до 20 на Сахалине вовсе не существует». И — словно специально, в доказательство благополучия сегодняшней сахалинской жизни, — в Александровск съезжаются молодые люди со всего острова. Почти четвертая часть жителей — молодежь, которая учится в пяти средних и профессионально-технических учебных заведениях. Кстати сказать, первая комсомольская ячейка и первый пионерский отряд на Сахалине были созданы в 1925 году в Александровске.

Совсем московский вид у молодых александровцев: те же прически в моде. И тот же джинсовый «бум».

В Александровске я решила не спрашивать, где стоит дом, в котором останавливался Чехов. Я шла и шла по длинной улице, ведущей к морю, но дом все не обнаруживался. Я уже собиралась бросить свой детский эксперимент и спросить дорогу, как вдруг справа увидела аккуратный деревянный дом с большим садом. Сюда-то и привез под вечер возница Антона Павловича. На фасаде дома укреплены две доски с надписями: «Александровско-Сахалинский народный музей имени Чехова» и «В этом доме в июле 1890 года жил великий русский писатель-патриот А. П. Чехов».

Близился вечер. Музей был закрыт. Я постояла около дома. Посмотрела на большой сад, в глубине которого высится бюст Чехова.

Я пошла дальше по улице, вверх на крутой холм. И тут увидела море. С берега отчетливо прорисовывались острые скалы «Три брата», о которых писал Чехов: «Когда в девятом часу бросали якорь, на берегу в пяти метрах большими кострами горела сахалинская тайга... Страшная картина, грубо скроенная из потемок, силуэтов гор, дыма, пламени и огненных искр, казалась фантастическою... Внизу, в воде, между нами и берегом стоят три острокопечных рифа — «Три брата». И все в дыму, как в аду... Возле пристани по берегу, по-видимому, без дела, бродило с полсотни каторжных: одни в халатах, другие в куртках или пиджаках из серого сукна».

На этом берегу Чехов и сошел с корабля «Байкал». Сошел, чтобы своими глазами увидеть, из первых рук узнать, как живет сахалинская каторга.

Море спокойно. Не охает, не вздыхает. Шумит деловито. Плоские волны зарываются в песок задолго до большого теплого закопченного камня, на котором я сижу. Уходящее солнце высеребрило огромный ликующий конус на море. Пахнет рыбой. По самой кромке берега гуда и сюда ездят ребята на мопедах. Два мальчика, весело болтая, вдавливают

босые пятки в песок. Как-то незаметно начинает холодать. Луна вот-вот сменит солнце.

На следующее утро, когда я вошла в чеховский музей, там уже были люди. Школьники-экскурсанты слушали рассказ седого, тщательно одетого человека. Это был Илья Григорьевич Мироманов.

Взмахивая рукой, слегка наклоняясь в такт этому движению, он говорил с жаром, с завораживающим эмоциональным взлетом. Как некоторые люди обладают счастливым даром читать хорошо знакомую книгу во второй и в третий раз, как бы заново, удивляясь, радуясь, открывая для себя новое, так и Илья Григорьевич обладает способностью — замечательной и редкой — рассказывать о хорошо ему известном, сотни раз рассказанном будто в первый раз, заново переживая перипетии, содержание того, о чем он говорит.

Неожиданно к концу рассказа о сахалинской каторге Илья Григорьевич сказал:

— Вот, ребята, мне 75 лет, а я еще бодр, крепок. И знаете, что мне силы придает? Общение с людьми.

И потом снова, прерывая свой рассказ:

— Я вас утомил? Если что не так, говорите, мне полезно и замечания послушать.

Его загоревшее лицо стало обезоруживающе добрым. Такие тихие, бластные лица бывают только у стариков, у мудрых стариков. Правду сказать, стариком-то этого человека не назовешь. Живой, подвижный. Ни седые волосы, ни морщины, ни старомодные очки с маленькими стеклами — ничто не в состоянии заслонить его молодых глаз, его энергии, которой и юноши-то редкий раз наделены.

Он 36 лет учительствовал на Сахалине, в Александровске. Преподával литературу. И когда вышел на пенсию, десять лет назад (а, заметьте, пенсионный возраст для работающих на Сахалине на 5 лет раньше наступает: для мужчин в 55 лет, для женщин — в 50), предложили ему заняться домом Чехова. Он и согласился.

Дом этот существовал просто как дом. И мемориальная доска на нем. Музея ни худого, ни хорошего — никакого не было. И вот за десять лет этот человек один, совсем один создал интересный, полноценный музей, который теперь из ранга народного собираются перевести в государственный. И вырастил еще этот человек сад — большой сад (в саду Илье Григорьевичу только одна женщина помогала, та, что работает в музее уборщицей). Растет в саду 35 видов деревьев и кустарников — настоящий дендрарий. А цветов! 150 кустов георгинов, грядки нарциссов, лупинусы, пионы и у самого бюста Чехова — гладиолусы. Их сюда, на Сахалин, из Ялты прислали.

Когда Чехов спросил у хозяйки дома, как им тут живется, она ответила: «...Глаза бы мои не глядели». «И в самом деле, — заключает писатель, — не интересно глядеть: в окно видны грядки с капустною рассадой, около них безобразные канавы, вдали маячит тощая, засыхающая лиственница».

Теперь в просторной комнате, в той, где останавливался Чехов, — интересная экспозиция: личные вещи писателя (показывая их, Илья Григорьевич с горечью сказал: «Была у нас чеховская лупа, к великому нашему огорчению, какой-то негодяй украл»). В музее собрано много книг, включая и редкие издания, в частности старейшее прижизненное издание книги «Остров Сахалин». Интересны фотозаксепция, живописные работы, серия линогравюр, выполненная племянником писателя С. М. Чеховым. Есть

в этой комнате даже кактус — отросток от чеховского кактуса в Ялте.

Илья Григорьевич присел ненадолго у небольшого письменного стола. Я попросила посмотреть толстую папку, на которой написано «Текущая документация и переписка». Это переписка со многими частными лицами и организациями, с чеховскими музеями и родственниками писателя. Какие обстоятельные, интересные письма изысканным слогом пишет Илья Григорьевич. Во многом именно благодаря этим письмам удается пополнять фонды музея.

— Как официально называется ваша должность: директор музея или заведующий музеем?

Илья Григорьевич всплеснул руками и засмеялся своим чудесным смехом: веселым и застенчивым.

— Да я все тут: и хранитель фондов, и садовник, и экскурсовод, и кассир, ну, и директор. В первые три года работал на общественных началах, а теперь моя ставка называется сторож-уборщик. — Илья Григорьевич опять рассмеялся.

Сейчас один из ближайших планов И. Г. Мироманова: организация работ, которые позволят придать дому первозданный вид, занять все пять комнат чеховскими материалами. И есть еще одно дело, за которое давно бьется И. Г. Мироманов, обращается в редакции, к местным властям... Были в Александровске старые деревянные крепкие дома, построенные более ста лет назад. И вот стали их сносить. Теперь осталось одно здание — бывшего казначейства, в котором расположен ныне Госбанк. Его решили тоже снести. А здание в самом деле интересное: прочное, ладное, с расписными деревянными балками на высоком потолке. Если Общество по охране памятников истории откликнется на просьбу Ильи Григорьевича, мне кажется, это поможет сохранить интересное сооружение. Последний оставшийся дом из тех, что видел здесь Чехов.

Не смолкая, звонит телефон на столе И. Г. Мироманова. Приходят учителя, которые привели на экскурсию школьников. Пришли малыши семи-восьми лет. И дружно, весело:

— Здравствуйте!

— Вот молодцы! — радостно сказал старый учитель. — Проходите.

Илья Григорьевич заражает ребят добром, любовью к земле своей, к людям, к книге.

Ведь не в одних сказках любовь способна творить чудеса. И в жизни и в сказках любовь способна на жертвенность, которую сам человек воспринимает радостно и естественно. Без любви жизнь бессмысленна и пуста, как пуст и бессмыслен бассейн, в котором нет воды. Что же, как не любовь, заставляет пожилого человека Илью Григорьевича Мироманова работать с утра до вечера, без выходных дней, из года в год, уставать, нередко огорчаться и при этом чувствовать себя счастливым?

Когда я добралась до вокзала в Тымовском, поезд уже ушел. Следующий поезд в Южно-Сахалинск отправлялся через десять часов. Ночь наступила быстро. Сопки стояли близкие и темные, сразу же за железнодорожными путями. В привокзальной комнате было чисто и тихо. Молодой крепыш, вытянув во всю длину ноги в кедах, сетовал на свою судьбу:

— Второй раз вот так из-за друзей-приятелей опаздываю. Первый раз на «Мысе Сениявине» должен был пойти с самим Бармутой.

В три часа ночи пришли еще несколько человек. Молодые, солидного вида мужчины стали по очереди бриться электробритвой, чувствовалась привычка

и этой дороги, и этой процедуры для них на вокзале.

На маленькой станции Тымовское, возле ночных сопок, злясь на свою нерасторопность, ощущая эту даль-дальнюю, я вдруг почувствовала тесную связь со всеми, кто сидит рядом со мной. Затих разговор трех матросов, слушавших теперь магнитофон. Громко пел песню Высоцкий, и она не мешала густой тишине ночного острова. А в поезде, словно еще раз вознаграждая меня за долгий путь, славный железнодорожник, севший в Поронайске, подарил мне «Кладбище в Скулянах» Катаева.

Обилие впечатлений затрудняет писание так же, как и другая крайность — скудость их. И картины сахалинской природы, и особенности островной жизни, и многие встречи — все просится в строку. Но пишу о самом значимом все-таки: о нескольких ярких сахалинских характерах, о нескольких людях — очень непохожих, но близких своей цельностью.

Он оказался гораздо моложе, чем я представляла себе его, совсем еще молодой. Большой, крепкого вида человек. На Сахалин Юрий Москальцов приехал после окончания астраханского рыбопромышленного техникума. В институте учился заочно. Работал он и в научном учреждении, и в море. И вот теперь заместитель генерального директора «Сахалинрыбпрома». Ответственная это должность. Уже потому, что рыбная промышленность — одна из основных отраслей хозяйства в Сахалинской области.

Юрий Иванович сидит в большом кабинете. За спиной его во всю стену карта. На ней в самых разных точках Мирового океана — крошечные суда. Каждый день после капитанского часа магнитные кораблики перемещаются. Окинет начальник взглядом карту — и сразу видно, где трудится рыбная флотилия.

9 часов утра. На столе у Москальцова микрофон. Сильный низкий голос Юрия Ивановича — в полной гармонии с его комплекцией и большим кабинетом. Начинается капитанский час: разговаривает Москальцов с капитанами. Так бывает и по субботам и часто по воскресеньям: море.

Только во время третьей встречи нам удалось поговорить более или менее спокойно: выдался наконец такой момент, когда меньше звонили телефоны и реже заходили люди.

— Чем отличается сахалинский лов и обработка рыбы от лова в других районах страны?

— Масштабностью. Одна треть всей промысловой рыбы в стране добывается на Дальнем Востоке. В том числе сахалинским флотом. Рыбная промышленность на Сахалине начала развиваться с 1952 года. В Невельске тогда было создано Управление тралового флота. И всего было в ту пору 4 судна и 10 маленьких сейнеров. За 26 лет произошли изменения исключительные. Теперь наша рыбная флотилия — это высокомеханизированные, высокопроизводительные, оснащенные современной поисковой техникой БМРТ (большие морозильные траулеры), зверобойно-рыболовецкие суда, плавучие базы... Мы добываем 35 видов рыбы: треску, минтай, навагу, скумбрию, сайру, горбушу, лемонему... Немало мы выпускаем и рыбных изделий: более 60 видов консервов.

От Юрия Ивановича Москальцова я во второй раз услышала имя Бармуты.

— Он как раз сейчас не в море. Человек он, правда, не очень разговорчивый, но попробуйте...

— Современный корабль строят за месяцы, а чтобы «вылепить» настоящего рыбака, лет 8 надо,— размышляет Владимир Иванович.— И рыбный флот сам по себе сложен. Нужно обладать знаниями и навыками и моряка и промысловика (собственно рыбака) и знать производство. Что в нашей работе самое трудное? Трудно все, все без исключения. Для капитана самое трудное и самое важное — создать коллектив. Сделать так, чтобы все люди (на корабле у нас 91 человек) жили единой жизнью, чтобы у них была духовная общность. Для этого каждый должен знать, зачем он идет в море, какова его личная роль в общем деле. Я уверен, что без полной осмысленности никогда успеха не добьешься. В море мы бываем 160—185 суток. Полгода без берега, без семьи, на глазах друг у друга. А условия работы? Мы ведь работаем и в дождь и в шторм. Бывает ли страшно? Да. Бывает. Судно надежное, и нет, конечно, страха гибели. Но иногда такой туман — не различишь, день это или ночь. Или шторм. Хочется от всего этого спрятаться. Быть может, самое тяжелое — перебороть себя, когда меняется дата возвращения на землю. Но настроения капитана люди не должны видеть. Власть — штука щепетильная. У меня дверь в каюту всегда открыта — днем и ночью. А море? Вот все спрашивают: можете ли вы жить без моря? Я бы так сказал: поначалу море — это романтика, потом — необходимость, потом — безвыходность.

И Владимир Иванович улыбнулся. За этой жесткой и шутилой формулой, безусловно, стоит большая доля правды.

Комсомольско-молодежный коллектив БМРТ «Мыс Сеньявина» — один из лучших в стране. Два раза он завоевывал звание «Герои пятилетки, ветераны труда» — лучшему комсомольско-молодежному коллективу и записан в Летопись комсомольской славы. За 10 промысловых рейсов на траулере под руководством его капитан-директора В. И. Бармута выпущено товарной продукции на 25,5 миллиона рублей и из них — 5 миллионов сверхплановые. Я разговариваю с Владимиром Ивановичем и не перестаю про себя восхищаться им, его спокойной манерой говорить, сдержанностью, способностью точно и емко формулировать мысль, его способностью слушать, тем покоем, который излучает этот плотный, сильный человек, герой, лидер, всегда первый. Мне жаль, что два вечера ему приходится говорить со мной, вместо того чтобы пойти в кино или в театр, не часто у него бывает такая возможность.

В. И. Бармута — кавалер орденов Ленина и Октябрьской Революции, Герой Социалистического Труда.

Его без конца спрашивают не только журналисты, но и коллеги: в чем же все-таки секрет успеха? Ведь другие корабли работают в точно таких же условиях. А он отвечает: «Не знаю» — и иногда добавляет: «Знаю только, что всегда буду первый». И в этих словах нет никакого хвастовства, просто осознание своей силы, вера в себя.

Я молчу, я не спрашиваю, в чем секрет успеха, уловив особенности Владимира Ивановича — собеседника, я жду, что он сам что-то расскажет. И потом мне кажется: вопрос этот вполне логичен, но ведь и ответ на него ясен. Можно ведь описать особенности характера, пытаться выяснить слагаемые успеха, но как до конца раскрыть смысл могучего понятия «талант»?

Но капитан все-таки сам сказал:

— Я пытаюсь проанализировать, в чем причина

успеха. Очень не люблю, когда говорят: удачливый рыбак. Удача-то эта никогда случайно не приходит. Ведь иногда ловим на одном месте, у нас все в порядке, а другое судно пустое Или вытаским трал: 30 тонн, и добыча целехонькая, не повредим ни одной рыбешки. При чем же тут удачливость? Все складывается из мелочей, а вот мелочей, выходит, в нашем деле нет. Даже внешний вид команды — и то не мелочь, это же настроение людей. Может быть, это вообще самое главное. Иногда я думаю, что мне помогает мой характер, то, что еще во мне в детстве было. У нас в Белоруссии — грибов, ягод! А рыбака какая! Я всегда больше других и грибов, и ягод, и рыбы приносил. Так я устроен: если начал что-то, надо выполнить, хорошо выполнить, обязательно в первые ряды выйти. Стыдно как-то по-другому. Именно стыдно. Стыдно плохо работать, плохо учиться, как невозможно мне пользоваться шпаргалкой: карман жжет. Вот сейчас окончил заочно Высшую партийную школу, имею высшее образование и думаю: что дальше? Надо ведь и дальше учиться.

Записанные на бумаге эти слова не так могут звучать, как из уст капитана. А когда он произносил их, размышляя вслух, часто замолкая, в них не только не было самолюбования, напротив, в спокойных глазах капитана то и дело сквозила застенчивость. Неожиданно он сказал:

— Чувствую, характер у меня делается необщительным. Специфика работы ой как сказалась! Все молчком, молчком. Капитан-то, я же говорю, на всякие там настроения в море не имеет никакого права.

Трудно ли растить смену? Мне сразу видно, выйдет ли из человека настоящий судоводитель и рыбак или нет. Учиться необходимо много лет, но в основе дар какой-то должен быть: и быстрота реакции, и способность оценить обстановку, и чутье, и много что требуется, чтобы освоить наше дело. Без этого сколько ни учись... Ученики-то, конечно, есть способные: В. М. Бураков, А. П. Курочкин, А. П. Мишулин, А. А. Арбузов...

Рассказывают, что даже опытные капитаны иногда не понимают действий В. И. Бармута. Он вдруг снимается с места, и за сутки уходит очень далеко, и потом непременно оказывается с богатым уловом. Подойдут в этот район другие корабли — даже половины его добычи не возьмут. Я вот и спросила Владимира Ивановича:

— Кто первый приходит, тот и ловит?

— Да,— сказал он. И добавил, помолчав: — Правда, некоторые всегда первые приходят, а некоторые — всегда вторые.

Он очень интересно о рыбе рассказывает. Ну вот хотя бы:

— Рыбы, как люди, расселяются. Есть у них города, поселки. На месте рыба никогда не стоит, постоянно в движении. Зная рыбу и умея по-настоящему пользоваться приборами, можно вычислить ее маршруты и встречать ее там, где она пойдет. И еще. У каждой рыбы ведь свой, особый характер. Скумбрия, например, собирается ночью — в толще воды образуются большие ее скопления. Иваси держатся, как скумбрия, но ловить их еще тяжелее, нрав у них еще более живой. Хек (мне, как и минтай, очень нравится эта рыба) ночью, наоборот, рассеивается, пытается поспать, отдохнуть. До прошлого года поэтому мы его ловили только днем, казалось, невозможно сделать это ночью. А теперь и ночью не даем бедолаге отдохнуть. Опускаем трал прямо на землю — добыча очень богатая. За лемонемой (хорошая рыба, типа налима) трал опускаем на глубину 1100 метров.

— Можно ли ловить рыбы больше, чем вы сейчас ловите?

— Для этого хотелось бы иметь более совершенное судно. Наше очень надежное, но все-таки не хватает мощности главного двигателя. Траловые лодки не могут тащить против ветра слишком тяжелый трал.

— Есть ли у вас на памяти случаи, когда вы испугались или оробели? — спрашиваю я.

— Хорошо один такой помню. Только произошло это на суше. Когда я первый раз по телевидению у нас на Сахалине выступал, у меня язык прямо-таки одеревенел и слова с него едва слетали.

Я думаю, что во второй раз у телекамеры Владимир Иванович чувствовал себя спокойно, во всяком случае, телезритель его волнения не почувствовал: сильная натура — во всем сильная.

Я ехала автобусом в Корсаков и по пути во все глаза глядела в окна, читала названия те же, что при Чехове: Соловьевка, Первая Падь, Вторая Падь... В Корсакове (город небольшой, расположен, как и Холмск, ярусами, поднимающимися вверх от берега моря) была я в порту. Смотрела БМРТ. Конечно, захотелось выйти в море, тогда писала бы о море и о капитане, сама испытав многое из того, что рыбаки испытывают.

Хорошо запомнились мне люди, садившиеся на разные остановки в автобус, шедший из Корсакова в Южный. Они, словно не замечая дождя, ехали из леса с черемшой, папоротником, охапками влажных цветов. Папоротник сдают на заготовительные пункты, его широко экспортируют в Японию. Папоротник-орляк, хорошо приготовленный, напоминает по вкусу грибы. Вообще на Сахалине много самобытных блюд. Корейская капуста — чемча, например. По сравнению с ней острая грузинская аджика может показаться диетическим питанием. А салат «островной»: морская капуста, сметана и морские гребешки — по-моему, редкий деликатес. Я теперь и в Москве покупаю морскую капусту и все удивляюсь: до чего же мы консервативны в пище!

В Корсакове я, конечно, вспомнила Илью Григорьевича Мироманова: жаль, что ничего здесь не свидетельствует о пребывании Чехова. Память о прошлом нужна потомкам — она как мост в будущее.

Вечером после возвращения из Корсакова я встретилась еще с одним сахалинцем — Григорием Песачинским. Он из тех, кто сохраняет эту память для людей.

Бывает, что легко и ясно прочерчивается судьба человека, его путь к профессии, к делу его жизни. Иногда же трудно понять, что сформировало интересы человека, что заставило его не сложившихся обстоятельств ради, а по склонности душевной заняться каким-то делом, лежащим в стороне от того, чем были заняты его близкие, друзья, сверстники. В самом деле, почему мальчик, сын врача и летчика, оставшийся рано сиротой, живший в детском доме, вдали от больших музеев, окончивший Астраханский рыбопромышленный техникум, увлекся западноевропейским искусством? Вот и сейчас, когда прошло время после нашей встречи, я не могу отыскать той нити, которая привела его к увлечению, — увлечению серьезному, занимающему значительное место в его жизни. А ведь есть эта ниточка, и, быть может, если бы мы встретились еще и еще раз, она бы и обозначилась.

На Сахалин Гриша приехал 12 лет назад, сразу

после окончания техникума. Здесь он и начал собирать свою коллекцию: теперь самому большому на Сахалине (а может быть, и на всем Дальнем Востоке) собранию книг, открыток с репродукциями, слайдов по западноевропейскому изобразительному искусству — с эпохи Возрождения по XIX век.

На меня коллекция Г. Песачинского и то, как он хранит ее и как ею пользуется, произвели большое впечатление. Дело ведь не в формальном количестве книг, но в той поразительной тщательности, осмысленности, с которой они собраны, собираются и используются. Микеланджело и Леонардо да Винчи, Джорджоне, Гойя, Боттичелли... больше 1200 книг, 4 тысячи открыток. Есть в этой библиотеке и редкие книги — русские, советские, зарубежные издания. В строгой системе, как, впрочем, и все здесь, хранятся каталоги картинных галерей мира, в частности большинство из каталогов (картины, пастели, рисунки) Эрмитажа начиная с 1902 года. В маленькой комнатке Гриши (сколько изобретательности потребовалось, чтобы все это разместить и содержать в таком порядке) стоят и специально сконструированные ящики с картотекой. Они помогают быстро найти нужную иллюстрацию (карточек 20 тысяч, а репродукций, конечно, больше: они повторяются).

Григорий Песачинский выступает в Южно-Сахалинске с лекциями, сопровождая их показом иллюстраций, устраивает выставки, пишет статьи. Охотно делится он всем, что составляет его коллекцию. В этом и видит смысл собирательства. Он так и сказал мне: было бы преступно просто владеть такими книгами.

Рассматривая коллекцию, я заметила письмо из Государственного Эрмитажа. Его содержание вполне может служить оценкой труда Г. Песачинского. Хранитель фламандской экспозиции Государственного Эрмитажа старший научный сотрудник М. Я. Варшавская пишет: «...Должна сказать, что составленный Вами список литературы о Рубенсе на русском языке включает решительно все наиболее существенное. Наша молодая сотрудница добавила кое-что, уже не специально о Рубенсе, а из общих работ. Мы с ней просто поражены были, насколько полно сумели Вы учесть всю имеющуюся литературу по этому вопросу. Пишите нам, если возникнут еще какие-нибудь вопросы».

В 1976 году в Южно-Сахалинске был организован городской клуб книголюбов. Председателем его избрали Г. Г. Песачинского.

Столь серьезное увлечение сахалинского книголюбца удивляется с его полным приятием основной работы, далекой от искусства. После техникума работал Григорий в море, но уже давно он инженер Сахалинского филиала ЦПКТБ «Дальрыба».

В комнате Гриши было тепло и уютно. Он напоил меня кофе. Я все сокрушалась, что вот-де, мол, за окном дождь, да ветер, да холод. И Гриша сказал:

— Да, погода!.. Но вы рано приехали. Вот осень на Сахалине! Такой красивой осени нигде нет. Разве что на Курилах...

О Володе Фомичеве мне рассказывали с восторгом. Восхищали людей не только работоспособность Володы, не только его поразительные успехи, но и его обаяние, его верность решению, быть может, не вполне обычному. В школе он танцевал, участвовал в художественной самодеятельности, думал стать артистом, но в 10-м классе точно решил: будет джором. Мать, женщина властная, с мнением которой Володя очень считается, никак не могла примириться с этим решением, хоть именно она во многом и была его причиной — это по стопам матери со-

бирался идти сын. Никакие силы не могли заставить Володю отказаться от его планов. Но и огорчение матери тоже легко понять: не мужским это казалось делом. В ту пору, 12 лет назад, на Сахалине было, кроме Фомичева, только два дояра, два мастера машинного доения.

Ново-Александровка в 30 минутах езды от Южно-Сахалинска. Ровная, широкая улица Горького такая долгая, что, кажется, упирается она в самые сопки. По левую ее сторону — дома одноэтажные, с палисадниками, по правую — двухэтажные, благоустроенные, городского типа. Именно в таком доме живет семья Фомичевых. Дверь мне открыл крепкий молодой мужчина, очень приветливый (оказалось, это брат Володи — Анатолий, капитан буксирного судна). Вышла в переднюю, опершись на палку, старенькая бабушка, приветливо покивала головой. Выбежали девочки — дочери брата (так уж сложилась жизнь: когда отец в море, живут они с бабушкой, прабабушкой и дядей). Тут же, в дверях, и щенок покрутился, и кошка приветственно спину выгнула, потянулася. Володя же в ответ на мои извинения сказал: «Гость в доме — это хорошо».

Вскоре мы с Володей пошли на ферму (на Сахалинскую государственную комплексную сельскохозяйственную опытную станцию, где работают Фомичевы) — предстояла вечерняя дойка. Как только мы вышли на улицу, стал мне Володя рассказывать о животных. Какое у него лицо сделалось... Не просто доброе, а добро-радостно-отрешенное!

Был когда-то около старого дома Фомичевых инкубатор. И вот выбросят, бывало, оттуда яйца — те, из которых в положенные 21 день цыплята не вылупились, — Володя с бабушкой их подберут, тепло укутают, и наперекор судьбе вылупятся из них живые существа и заживут своей хлопотливой цыпличьей жизнью.

Володя столько интересных историй о животных рассказывает — их просто отдельно нужно записывать.

Огромные черно-белые и бело-черные коровы возвращались на ферму не спеша, громко «переговаривались», требуя пищи и ухода. И для каждой из них, зная их характеры, Володя находит свои слова.

Так все ладно у Володи выходит, так спорится все в его руках, как легко и артистично он двигается (это по коровнику-то!) — я и уследить не успевала, как он, напевая, оказывался уже в другом конце комплекса. Володя недоволен этим новым комплексом: слишком короткое место для каждой коровы («в старом было гораздо удобнее»), животное бьет ноги о металлическую решетку, которая под деревянным настилом. (Какие надои, когда ей, бедной, жизнь на таком месте не мила? — с горечью говорит молодой, опытный мастер).

Живой, пыливый ум Володи, его отношение к животным заставляли и заставляли его прочитывать множество книг, разговаривать с опытными людьми (очень считается он с мнениями стариков, практиков). Постоянно возникают вопросы, требующие немедленных решений, бессонных ночей: то нездоровье коровы, то неожиданное снижение удоев... Есть вопросы и более общего характера, в частности, как продлить срок жизни и хозяйственного использования животных с повышенной удойностью. Работает мастер аппаратом, сделанным по его собственной схеме, соединившим лучшие качества двух доильных систем — «Волги» и «Даугавы». И, конечно же, все время думает, как еще модернизировать его.

Сахалинская область не только на Дальнем Востоке, но и по всей России славится высокими надоями

молока. И Владимир Фомичев среди первых первых. Он единственный в Сахалинской области получает более 7 тысяч килограммов молока от фуражной коровы. Цифра ошеломляющая, и пришел он к ней, разумеется, не сразу. Опыт его работы обобщен специалистами, опубликован — и не раз. Но забот и проблем, разумеется, не уменьшается; в усложнении их, должно быть, и есть поступательное движение жизни.

Дойку Володя кончает позже других, последним выходит из коровника, и, конечно же, при его виртуозной технике и знании дела происходит это только оттого, что делает он все с особой тщательностью.

Живая, с охапкой кудрявых волос на голове, племянница Володи — Анжелика (тоже уже помощница в свои 10 лет) спрашивает:

— А вы молока хотите, у нас есть особая корова — Лимонка.

Ну, и вправду особая. Я такого молока в жизни не пила, прямо какой-то необыкновенный напиток, бальзам. У этой Лимонки не молоко — сливки. Да и просто вкусовые качества его исключительны. На мои восторги Володя сказал:

— Один поэт молоко Лимонки назвал бархатным...

Лимонка не признает доильного аппарата — только Володины руки. Вообще доярки не любят, когда их молодой коллега уезжает: очень животные к нему привязаны, и удои сразу снижаются. Володя и сам по этой причине уезжать не любит. А приходится: он студент сельскохозяйственного техникума, да и нередко участвует в соревнованиях дояров. А вот в отпуск он по несколько лет не ездит, хоть и сам говорит, что работники сельского хозяйства, конечно, испытывают духовный голод: цветной телевизор — это хорошо, но всего он заменить не может.

Я не видела, чтобы животные так радовались человеку, как они радуются Володе, все без исключения животные, не только те, что обитают в его доме и на станции. Когда мы вышли из коровника, было уже около десяти часов, почти стемнело, и вдруг какая-то собачонка кинулась к Володе и с бешеной радостью закружилась вокруг него на задних лапах. Он остановился, потрепал ее, что-то проговорил, и она все следовала за ним, бурно изъясняя свой восторг. Кошка же, сидящая у него на коленях, превращается в истого хищника, если кто-то даже руку к ее хозяйну протянет.

Когда Володя проводил меня до автобусной остановки, совсем стемнело, шел мелкий, частый дождь.

Он сказал:

— Мне нравится дождь. Люблю такую погоду: думается хорошо, мечтается. Вспоминаю разные случаи из жизни. А как хорошо на Сахалине осенью!..

Все эти люди — Владимир Фомичев, Владимир Бармута, Юрий Москальцов, Григорий Песачинский, Илья Григорьевич Миromanов — и есть образ сегодняшнего Сахалина. А со сколькими новыми знаковыми-сахалинцами мне хотелось бы еще раз познакомиться и потом рассказать о них. Это их трудом далекий остров год от года становится все более обжитым и притягательным. И потому — более близким.



ВИКТОР ПИМЕНОВ: «МЕЧТЫ СМЕНЯЮТСЯ ДЕЛАМИ»

Я перечитал письма ребят-артековцев¹, откликнувшихся на обращение в «Юность» Наташи Крамаренко, и понял: брошу летом все дела и поеду туда, где, будь то Москва, или Артек, или любое другое место, решат встретиться бывшие пионеры «Алмазной», которые подружились десять лет назад на III Всесоюзном слете. Думаю, не ошибусь — нам всем очень важно больше знать друг о друге и просто необходимо увидеться.

Попробую рассказать о себе. Хотя, признаться, не уверен, помнят ли меня ребята. Ведь запоминаются самые общительные, активные, а я в Артеке был в числе тех, кто держался робко, больше смотрел на других, составлял, что называется, общую массу. Не то, что, например, Валера Целера — председатель нашего совета отряда, заводила. Он был прирожденным

организатором. Поражали своей раскованностью ребята-москвичи — Ира Макарова и Рафик Айзин. Ну, а я подружился с двумя сельскими мальчишками — Сашей Коровиным и Никитой Шумейко, добрыми, веселыми, очень исполнительными, но такими же диковатыми, как я, людьми. Я был тогда склонен к одиночеству, любил посидеть с книгой или часами рыбалить в маленькой речушке у родного села. Предпочитал большой компании общество одного друга, соседа Саши Пименова. Правда, видимо, характер у меня противоречивый: одиночество любил, но при этом председательствовал у себя в классном отряде, выступал на спортивных соревнованиях, редактировал стенную газету, а на школьных вечерах читал стихи.

И вот наша маленькая школа заняла первое место по району во всесоюзном соревновании «Сияйте, Ленинские звезды». А я, делегат слета пионеров, еду в Артек.

У каждого в жизни есть такие моменты, которые потом определяют, кем и каким быть. Так вот, если многие ребята приехали в Артек, зная уже, чего они хотят в дальнейшем, то для меня это был момент, когда я только искал себя. Лето между седьмым и восьмым классами для сельского парня время очень важное: кончишь восьмилетку через год — и ты взрослый. Именно тогда, в Артеке, я присматривался к ребятам — что они умеют и что думают о жизни? Старался стать более раскованным, избавиться от стеснительности, перенимал у ребят, если так можно сказать, жизненную смелость и веру в себя.

Наверное, в эти дни складывался характер. Я становился увереннее в себе и понял, что обязательно сделаю все, чтобы исполнить свою мечту. Ее я и изложил в записке на прощальном вечере «Твоя мечта» и положил в бутылку, которую мы закопали под кипарисом на берегу Черного моря. Всего пять слов: «Я буду строителем или летчиком».

Когда я приехал из Артека, жизнь моя заметно переменилась. Меня словно сдвинуло с какой-то точки: я стал общительнее, активнее, так что от бывшей скованности вскоре не осталось и следа. В районе собирали пионерский актив, и я много рассказывал обо всем, что увидел и чему научился в Артеке. Я заметил, как переменилось тогда ко мне отношение. С меня стали спрашивать больше, словно то, что я артековец, наложило на меня какие-то новые обязанности. Мне это нравилось. И потом: ведь теперь у меня был план. Я решил после 8-го класса учиться дальше, а затем поступить в институт. Выбрал окончательно — буду строителем.

Мне кажется, преимущество многих сельских ребят перед городскими в их умении и привычке постигать разные сложные вещи и понятия самостоятельно. Это сказывается потом и в институтской учебе и в жизни не дает пасовать перед обстоятельствами. Когда я кончал школу в большом селе Бессоновке, где жила моя старшая сестра, мне именно и приходилось многое узнавать самому. Рылся в книгах, одолел почти всю сельскую библиотеку.

А потом поступил в Пензенский инженерно-строительный институт. Получилось это у меня легко, словно само собой. Прочулся первый курс и решил идти служить в армию. И хотя все меня отговаривали, все же сделал так, как решил: забрал документы из института. Была в этом поступке тайная, что ли, причина: я был недоволен своей физической неподготовленностью, хотел в армии закалиться, окрепнуть. Признаться, сейчас мой поступок кажется мне мальчишеским — возмужать можно было и другим путем, не обязательно было для этого бросать учебу, к которой так стремился. Но знания жизни, конечно, у меня прибавилось.

¹ См. «Юность» №№ 3, 4, 6 за 1978 год.

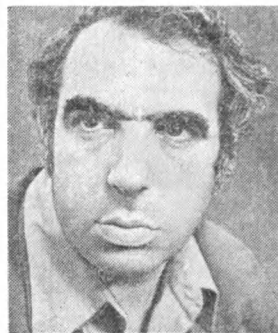
Вернувшись из армии, я сразу же восстановился в своем институте. Сейчас заканчиваю четвертый курс. Самое большое мое увлечение — лекции и семинары по технологии строительных работ...

А позади несколько месяцев работы на летней строительной практике. Мы — отряд будущих сельских строителей — работали в моем родном районном центре Лунино. Наш ССО «Луч» успел сделать порядочно. построили прачечную, починили котельную, отремонтировали больницу, школу, здание райкома и райисполкома. Командиром доверили быть мне. Вот здесь, на практике, снова припомнились яркие артековские дни, та, еще детская, школа общения, организаторской работы. Я старался следовать главному: видеть в человеке, будь то боец отряда или мастер ремонтно-строительного управления, в первую очередь его человеческую индивидуальность. Старался найти ключ к каждому, вести себя, сообразуясь с возможностями и понятиями о жизни этого конкретного человека. Наш отряд, в котором были в основном студенты моей институтской группы, уехал из Лунино дружным. Многие мешало нам работать — не хватало материалов, задания были не всегда продуманны, да и заработать мы могли бы больше. И все же, оглянувшись при отъезде на новую крышу больницы, я испытал доброе чувство: увидел то, что сделано своими руками.

И сейчас не сомневаюсь, что дело выбрал верно. Строитель — вечно необходимая, благородная профессия. На селе для нас огромное поле работы. Здесь нужны не только профессионалы, но заинтересованные патриоты своей области, своего района. Им предстоит много потрудиться, преобразая село. Люди должны жить в уютных домах со всеми удобствами, в поселках, созданных с такой же долей продуманной заботы, как это сделали строители в Артеке. Конечно, Артек — исключение, но ведь исключения зачастую прокладывают дорогу правилам! Обстановка заботы предрасполагает человека и к труду, и к дружбе, и ко всему тому хорошему, что было в артековском образе жизни, где нам уже реально виделись первые всходы коммунизма.

Через год окончу институт и поеду в сельскую строительную организацию. Раньше у меня была ясная цель — стать строителем, и я к ней шел своим путем. А теперь, когда я без пяти минут инженер-строитель, вроде и мечты особой нет. Зато появился устоявшийся взгляд на жизнь. Хочу строить хорошо, надолго. И чтобы проекты были с интересной выдумкой. Чувствую себя подготовленным к тому, чтобы такие проекты осуществлять, чтобы за это бороться. Конечно, я говорю ответственные слова. Но скоро сама жизнь рассудит, насколько я готов от слов перейти к делу. Кончается пора деклараций, начинается самостоятельная работа. И я этому рад.

Вот и рассказал о том, что меня волнует, о том, как я жил эти годы. Но ведь письмо есть письмо. Нужно обязательно встретиться!



ЕВГЕНИЙ РЕЙН

☆☆☆

Об известном заводе я сценарий писал.
Как в тяжелом кроссворде, меж двух сосен плутал.

А ведь был инженером, только очень давно,
опыт тот ежедневный воскресить не дано.
Я в Черкизово ездил, я старался как мог,
я курил безвозмездно сигареты «Дымок»
из больших портсигаров слесарей, мастеров,
иногда мальчуганов, иногда стариков.
Я ведь тоже с завода, из такой проходной,
только вышел на годы, словно на выходной.
Как же мог я машину на машинку сменить?
До сих пор чертовщину эту мне не понять.
Дух тавота и смазки, ты вкусней шашлыка!
Уж не дал ли промашки! Дал, и наверняка!
Но когда я бываю в позабытых цехах,
Что-то я понимаю и в делах и в словах.

☆☆☆

Был мох олений по колено
На полуострове Камчатка,
Где бесконечна и наклонна,
Распльвчата и кочковата
Лежала тундра. Пятый месяц
Ее зубрили аккуртно топографы и кони—вместе
Ходили, рисовали карту.
Был мох олений по колено,
Олени ели мох олений. Они любили голубику,
Но ели все, что находили.
Мы сели, сняли олимпийки,
Мы тоже ягод захотели. Пренебрегая пустяками,
Обедать стали с пастухами.
Мы мясо, мясо уплетали так, что трещало
за ушами,

И потому не услышали вдали пропеллерного гама.
Над мисками и над костями
Биплан сигналил плоскостями.
Он свет зажег на лицах твердых
И выбросил квадратный сверток
Там были новые газеты,
На рог и мех большая смета,
Нам адресованные письма,
В картон спасительный одеты.
И вот, расталкивая миски,
Мы кинулись повить пакеты.
О вы, кто составляет шутки,
Открытки пишет и романы,
Вы знаете ли, сколько суток
Их мчат сюда аэропланы!



прельским днем 1953 года пришел к белорусским юношам и девушкам новый друг — журнал «Маладосць» («Молодость»), орган ЦК ЛКСМБ и Союза писателей Белоруссии. И вот уже за его спиной двадцать пять лет — совсем немало для жизни журнала.

Нам есть что вспомнить, есть на что с гордостью и удовлетворением оглянуться. Многие поэты и прозаики, когда-то несмело переступившие порог редакции с первыми рукописями, стали лауреатами государственных премий республики и страны, завоевали любовь и признание не только «дома», а и далеко за рубежами нашей Родины. И если сложить все их романы, повести, поэмы, рассказы, очерки, увидевшие свет в «Маладосці», получится большая и авторитетная библиотека.

У нас есть уже свои традиции. Одна из них, постоянная и святая, — внимание к документам времени, к немеркнущей памяти народной. На наших страницах рождалась уникальная, горькая и мужественная книга А. Адамовича, Я. Брыля и В. Колесника «Я из огненной деревни», содержащая свидетельства уцелевших жителей испепеленных хатыней. У нас печатались трепетные и светлые письма с фронта лейтенанта Леонида Горецкого «На двадцать второй весне...», леденящие кровь «Главы из Блокадной книги» Алеся Адамовича и Даниила Гранина. Для нас написал своеобразный дневник полета на корабле «Союз-18» и орбитальной станции «Салют-4» летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Петр Климук...

Традиционны для «Маладосці» и дружеские связи с молодежными журналами братских советских республик. С сегодняшним днем молодой прозы и поэзии Ленинграда, Украины, Литвы, Армении нам помогли познакомиться «Аврора», «Дніпро», «Яунимо грядос», «Гарун», побывавшие за последние годы у нас в гостях. А с «Яунимо грядос» (Вильнюс), «Лиесма» (Рига), «Ноорус» (Таллин) мы уже три года подряд проводим совместный конкурс публицистов. Материалы-победители печатают все четыре журнала. В нынешнем году — году 60-летия ВЛКСМ, 60-летия Белорусской Советской Республики и Компартии Белоруссии — штабом конкурса стал наш Минск, редакция «Маладосці».

Совсем недавно столица Советской Белоруссии — Минск был удостоен почетного звания «Город-герой», высших наград Родины — ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Выступая на торжественном заседании, посвященном этому событию, Леонид Ильич Брежнев говорил: «...В 1979—1980 годах всем нам предстоит работать очень напряженно. Чтобы выполнить задания пятилетки в целом, надо в оставшиеся два года значительно повысить темпы роста производства, производительность труда, улучшить многие другие показатели». Пропаганда передового опыта — одна из важнейших задач публицистики «Маладосці».

Но писать историю современности, портреты современников только силами литераторов, конечно, было бы непосильно. И на рубежи пятилетки, на великие стройки с командировками «Маладосці» едут также и журналисты. Это они «провели» наших читателей цехами Новополоцкого химкомбината и штреками солигорских калийных шахт, залами Лукомльской ГРЭС и полями пинского колхоза «Оснежицкий»... Кстати, у нас есть свой объект на мелиорации Полесья — совхоз «Возрождение» Ганцевичского района. С его тружениками мы заключили договор о творческом содружестве и ведем своеобразную летопись зарождения и становления этого мощного современного хозяйства... Дороги наших авторов не ограничиваются только пределами республики.

Многие очерки и репортажи связаны и с маршрутами комсомольской славы — БАМом, КамаАЗом, Самоглором...

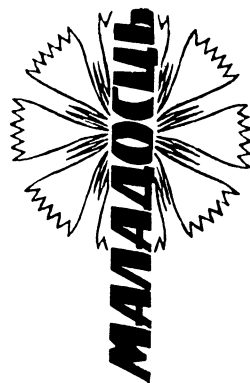
Много места в журнале отводим статьям по вопросам нравственного воспитания, очеркам о любимых молодежью артистах, художниках, музыкантах.

Ежегодно в журнале дебютируют 20—25 литераторов и 5—7 художников. В их молодости и талантливости — залог духовно-го здоровья и новых взлетов нашей «Маладосці».

Геннадий БУРАВКИН,
главный редактор журнала
«Маладосць», лауреат
премии Ленинского комсомола Белоруссии

НИКОЛАЙ НЕВЕРКО,

токарь Минского
тракторного завода,
лауреат премии
Ленинского комсомола



МОНОЛОГ РОВЕСНИКА ЗАВОДА

Отец, помню, любил шутить: «Ты, сынок, уже своим днем рождения ко многому обязан. Кем-нибудь быть тебе не к лицу. Так что, смотри, мотай на ус!..» Шутки — не шутки, а родиться 1 Мая действительно кое-что значит. Как говорят, тут уж хочешь не хочешь, а должен ты, обязан быть по крайней мере не последним... Дружок мой также однажды поддел: мол, появился ты на свет под музыку. Что же, под музыку, так под музыку. Под музыку и жить старался, хотя, откровенно говоря, не всегда та музыка праздничной была.

А что касается места рождения, так опять же — поискать нужно другое такое место, как деревня Косье в Осиповичском районе. В Косье жил я до четырнадцати лет. Места там действительно живописные. Одна Березина чего стоит! На берегу и разлеглась вольно, немножко беспорядочно деревня моего детства.

Потом два года жил в Тальке Пуховичского района — там бегал в седьмой и восьмой классы. Талька тоже не обижена судьбой — красиво там. Недаром же вблизи Тальки, на высоком берегу Свислочи, не одно довоенное лето провел наш народный песнярь Якуб Колас, а он знал родную Беларусь и, конечно же, выбрал для работы и отдыха не худший ее уголок.

Да только в памяти навсегда осталось родное Косье, спокойное течение Березины и медновольные боры на ее берегах. И жаль, что нечасто приходится бывать там.

Помню первый приезд туда после долгой разлуки. Сердце замирало от сладких воспоминаний детства. А еще больше разволновался, когда кто-то из деревенских женщин неожиданно узнал меня: «А не Виктора ли Неверко ты сын, хлопец?» Это же надо! Отец мой был чернее цыгана, а я, как говорят, весь в мать — белобрысый, а поди же, признали! И хорошо на душе было от этого, а больше всего от того, что помнят люди отца (он умер относительно молодым, в 1964 году) — бывшего партизана, а в послевоенные годы ветфельдшера, исправно лечившего колхозных коровок-кормилиц...

Окончил я семь классов, и стал передо мной извечный вопрос: «Что делать? Кем быть?» Мать — у нее был красивый голос, она любила играть на гитаре и петь — захотела было сделать из меня музыканта, даже обещала купить баян: вещь по тем временам дорогую, на покупку которой решался раскошелиться не каждый. Но я смотрел не в ту сторону. Куда более было мне по душе то, что говорил дядя Николай — старший брат матери. Он работал в Минске на веломотозаводе и часто приезжал к нам в Тальку. Приезжал веселый, говорливый, аккуратно, даже празднично принаряженный, а

вот руки его все равно пахли металлом. Для меня, деревенского подростка, запах тот был удивительным и таинственным. А дядя еще больше подогревал мое любопытство, говоря: «Металл, племянничек, берет человека в плен навсегда. Пощупали, почувствовали руки металла, сталь там или чугун — след их не отмоешь. Хоть крапинки, да останутся. И запах тоже...» Вот дядя и посоветовал матери: «Пусти ты мальчика в металлическую обработку. Пусть станювится, как я, слесарем, или еще лучше, токарем. Дело это, можешь мне поверить, — надежное...»

Не знаю, как мать, а я дяде Николаю поверил сразу. И вскоре оказался в базовом техническом училище Минского тракторного завода. Правда, в группу слесарей меня не взяли. Несмотря на мои пятнадцать лет, было во мне слишком мало роста и веса — всего где-то около сорока килограммов. Приняли в группу токарей. И вскорости руки мои начали пахнуть так же, как у дяди Николая. «Господи, неделя, кажется, не прошла, а он уже заправским металлистом стал!» — сказала мать, когда в первый раз приехал я из училища домой. Все не верила она, что металл и взаправду имеет власть над человеком...

В школе у меня было прозвище Архимед. За то, что задачки быстро решал. Все Архимед да Архимед! Однако же хорошо, что имя то осталось там, в деревне. Ибо, скажу откровенно, не очень-то я был достоин такого почетного имени: чаще четверки в тетрадах паслись, чем пятерки. И это при доброй душе деревенских учителей...

А в ПТУ учителя были строгие. И самый строгий среди них — Григорий Гаврилович Лосев. Дисциплину держал военную, хотя тогда я и не знал ее еще, военной дисциплины. Учил он нас в основном по принципу: «Делай, как я!» А работать он умел, опыт имел богатейший. Поставит нас вокруг станка так, чтобы каждому было видно, что сам делает, и прикажет: «Смотри и ворон не лови, соображай что к чему!» Мы, рты пораскрыв, следим за каждым его движением, а он, поверите ли, не только свою работу делает, но и каждого из нас видит. Чуть кто начнет тех самых ворон ловить, как Григорий Гаврилович тут же, не подымая головы, заметит: «Тебе, голубь мой, будет более полезно сюда, на мои руки, лишнюю минуту поглядеть».

Позже, когда уже у каждого был свой станок, наш учитель по-прежнему глаз с нас не спускал. Ни разу не было такого, чтобы он, дав задание, пять раз его не проверил, не посмотрел, как мы вытачиваем болт какой-нибудь или втулку. Накричит иногда, поругает, но не унизит, не обидит. К каждому умел подход найти. И мы его любили и уважали все, как один.

В училище я и сейчас часто бываю. Прихожу туда, чтобы помочь будущим токарям, и всегда с большой радостью и благодарностью встречаюсь с Григорием Гавриловичем. Правильнее сказать — встречаюсь, потому что не так давно ушел мой учитель на заслуженный отдых.

А после училища, на заводе, в том же кузнечном корпусе, где работаю и сейчас, встретил я Георгия Константиновича Сакевича — необычайно скромного, сердечного человека и настоящего мастера токарного дела. И первые мои самостоятельные дни, недели и месяцы у токарного станка прошли под его участливым наблюдением. Помогал он мне не только советом. У него станок мощный, для обработки огромных деталей. Так пока его станок режет ту деталь, Георгий Константинович подойдет ко мне, по-

может заготовку поставить, кулачки зажать — сил у меня в ту пору еще иногда не хватало.

Мы и сейчас работаем рядом, и я каждое утро рад видеть хорошее, открытое лицо Сакевича, с теплым чувством пожимаю на прощание вечером его дружескую руку.

На хороших людей мне везло. Никогда не забуду Григория Федоровича Винникова, бывшего мастера из нашего кузнечного корпуса. Помню, поставил он меня за новый станок, а я возьми да тот станок сломай. Не нарочно, конечно, слишком близко подвел суппорт к патрону, за суппорт зацепился кулачок, вот и полетела шестеренка. Не знал, куда глаза деть: оправдал, называется, доверие! Хоть плачь. И не спрячешься никуда, не убежишь... А Григорий Федорович только и сказал: «Бывает, брат, и не такое. И у меня когда-то случалось... Нарежем новую шестеренку...» Разве в другой раз подведешь такого человека?..

В этом году, если считать годы учебы в училище и годы службы в армии (служил я в авиации техником, с токарным станком и там не расставался), будет у меня семнадцать лет трудового стажа. За эти годы какие только детали не прошли через мои руки! Скажу без хвастовства, сейчас я, пожалуй, и с закрытыми глазами смогу выточить деталь любой конфигурации. А все равно, будто было то вчера, вижу перед глазами простенькую детальку, что-то вроде конуса, можно сказать, не детальку, а никому не нужную болваночку (она и правда была никому не нужной), которую выточил впервые сам под приглядом Григория Гавриловича Лосева. Раз дрожащей рукой подвел резец, потом второй, третий, отвел суппорт, снял блестящий конус, взял в руки, — а сердце чуть из груди не выскакивает: сам, сам, сам...

Где она, та первая выточенная мною бесполезная деталька? Наверное, в тот же самый день вместе с другими ученическими работами полетела она в железный ящик для стружки. А жалы! Надо было бы сохранить ее.

Окончил я училище на отлично, получил свой первый рабочий разряд. Работал и учился. До армии успел окончить среднюю школу. После армейской службы опять вернулся на завод, сдал экзамен на четвертый разряд. Кажется, кое-что уже знал и умел. И вот где-то той порою начали проводиться конкурсы профессионального мастерства: заводские, районные, городские, областные. Потянуло и меня принять участие. Работу свою любил, чувствовал, что понемножку приходит и опыт. Вот и решился. Это же, наверное, и нужно, чтобы у человека однажды родилось желание испробовать себя, помериться силами с другими.

Заводской конкурс проходил в мастерских моего родного училища. Деталь была не очень сложная по конфигурации и допускам, какая-то ось с резьбой на обоих концах. Сделал ее быстро, параметры все выдержал и все же оконфузился: в спешке вместо правой и левой резьбы нарезал одну левую. А судьи были строги...

Одним словом, в число победителей попасть не удалось. Но зато понял и запомнил навсегда: быстрота и сноровка в работе — это наживное, а главное — любое дело надо исполнять так, чтобы не было стыдно за свою работу перед другими и перед самим собой.

Помню и районный конкурс токарей. Проходил он в мастерских филиала НИИТавтопрома. Занял я первое место. А главным соперником оказался Ва-

дерка Канаш — мой однокашник по училищу. Он и в училище был среди лучших. Говорю ему после конкурса: «Так и знал, что с тобой поспорим!» А он смеется: «Так и я не сомневался, что в финале с тобой столкнусь...» Было приятно за наше училище, которое по праву считается одним из лучших в республике.

А в Гродно на республиканском конкурсе в 1971 году так же лицом к лицу столкнулся с известным токарем из Бреста Леонтием Дятлом. Жюри присудило победу мне. Победить Дятла — от этого, честное слово, можно было немножко и зазнаться. Кстати, с Леонтием Дятлом мы встречались на конкурсах не раз и оставляли друг друга позади попеременно...

В том же году попал я и на Всесоюзный конкурс, проходивший в Челябинске. Занял там общее — по очкам — шестое место, но зато был первым по теоретической подготовке, за что получил специальный приз — радиоприемник...

Говорю обо всем этом совсем не для того, чтобы похвастать победами и призами. Приятно, конечно, получить приз, однако не это самое главное. Конкурсы интересны и полезны в первую очередь тем, что дают возможность собственными глазами увидеть, как работают другие, позаимствовать от них то, до чего сам не додумался. Значит, они способствуют профессиональному росту участников. А еще ко многому обязывают.

Во время встреч с учащимися нашего училища ребята часто спрашивают меня: «Какими качествами нужно обладать, чтобы стать хорошим токарем?» Что на это можно ответить? Ну, скажем, необходима определенная сумма знаний, в первую очередь, конечно, технических, чтобы читать чертежи. Без знаний человек сегодня вряд ли сможет разумно использовать свои силы — физические и моральные, где бы он ни работал. Нужно иметь и неплохое здоровье, потому что нагрузка во время работы немалая. Нужно еще любить свое токарное дело, увлекаться самим процессом вытачивания той или иной детали. Со временем к этому прибавится опыт, который, в свою очередь, снизит физические нагрузки и увеличит увлеченность работой.

Но будущий токарь, мне кажется, должен иметь и еще другие качества. Я убежден, что никогда не получится из человека хорошего токаря, если этот человек по натуре своей медлительный, если движения и реакция у него замедленные, если он лишен способности видеть в черной металлической заготовке будущую деталь. Я встречал немало таких людей. Они простаивали за станком годы, наживали, казалось бы, опыт, однако к творчеству в работе так и не поднялись: каждая новая деталь ставила их в тупик, выбивала их колен. А что же это за опыт, если он не дает уверенности?

Человек без этой внутренней уверенности боится своего станка и эксплуатирует его, так сказать, вполсилы: он и сам недорабатывает и машину заставляя «недорабатывать».

И еще. Будущий токарь должен быть смелым, дерзким человеком, не бояться сложных задач. От простого к сложному — таков путь познания, и только он приносит настоящее удовлетворение. Лично я никогда не терялся, встречаясь со сложными заданиями, никогда от него не отказывался. И сейчас иду на работу с уверенностью, что осилю любую токарную задачу.

У нас, токарей-универсалов, токарей-ремонтников,

своя специфика работы. С утра делаешь что-то одно, через час — что-то другое, а там смотришь, и еще что-нибудь. Случаются и разные ЧП, когда уж не приходится считаться со временем и с личными интересами. Сколько было случаев, когда нас, токарей, неожиданно вызывали в цех после смены, а то и ночью.

Помню: разбудил меня визг тормозов под окном — живу я на первом этаже. Невольно подумал: не ко мне ли? Так и есть: через минуту раздался звонок в прихожей. Оказалось, сломался в вальцах червячный вал, необходимо срочно выточить и нарезать червячный профиль. Пришлось повозиться, однако через два-три часа вал был готов, вальцы начали оиять работать.

Помню и другой случай. Точил вал. Работа не новая, сделал быстро и, знаю, точно. А механик приходит и говорит: «Подшипник прослаблен». Не может быть! Диаметр вала — 180 миллиметров, не мог я на таком диаметре допустить ошибки. А механик стоит на своем: «Нужно было сделать плюс четыре сотки, а ты, наверное, дал две». Что за черт, думаю? Побежал к машине, измерил раз, второй — все правильно, точно соответствует чертежу. В чем же причина? А потом вдруг и промелькнуло: а может, подшипник «виноват»? Измерили его. Так и есть: заводской брак! Механик стушевался: «Прости, брат, не мог и мысли такой допустить...»

Мне кажется, что человек всегда знает, хотя бы чувствует, как он сделал свою работу.

Говорят: не было бы будней, так и праздник не в радость. Наверное, оно так. Человеку нужен праздник. Хотя бы для того, чтобы в хорошем настроении оглянуться назад, увидеть сделанное и несделанное и чтобы, будто оттолкнувшись от достигнутого рубежа, с большей уверенностью идти вперед. Но у каждого человека должен быть еще и свой, личный праздник.

У меня за годы работы было немало таких праздничных дней. Получить самый высокий профессиональный разряд — разве это не праздник? А стать победителем республиканского конкурса? Получить Почетную грамоту Президиума Верховного Совета республики, орден «Знак Почета»?

Но, пожалуй, самые радостные, самые праздничные дни связаны у меня с комсомолом. Поэтому с особенным душевным волнением принимал я знак ЦК ВЛКСМ «Молодой гвардеец пятилетки» и другие комсомольские награды.

А вообще люблю я обычные, будничные дни. Даже больше скажу: не очень принимаю я это разделение дней на праздничные и будничные. Мол, праздник есть праздник, а будни однообразны, невыразительны, серы. Мне кажется, человек, который любит свою работу, так думать не может. Будний день готовит, кует, приближает праздник. Потому — слава и почет им, трудовым будням!..



Что такое счастье? Ответить на этот вопрос какой-то законченной формулировкой трудно. Да и зачем? Знаю твердо: я счастлив!

Счастлив, что живу в стране, где положение человека определяет, как записано в нашей новой Конституции, его труд.

Счастлив, что щедро вознагражден, окружен доверием и уважением людей, что живу с уверенностью в завтрашнем дне.

Счастлив даже и от стечения обстоятельств, весьма символического: родился в тот год, когда под

Минском началось строительство тракторного, и получилось так, что я, ровесник завода, рос вместе с ним.

Счастлив, что имею хорошую семью, что она живет обеспеченно в хорошей благоустроенной квартире. И, конечно же, счастлив оттого, что есть у меня любимая работа.

Монолог записал
Микола ГИЛЬ
Перевод с белорусского,

БОРИС ГЕРСТЕН



«ХОРОШКИ»

...Подводились итоги большой работы, с трибуны звучали имена тех, кто особенно отличился, вручались награды и премии. А потом был концерт. Люди смотрели его весело, с легким сердцем: он был для них просто маленьким подарком.

После концерта долго не расходились. Было о чем поговорить в этот вечер. Танцоры спешили к автобусу, но их останавливали, встречали улыбками, аплодисментами. А когда появился Федор Балабайко, к нему подошел седой уже человек с веселыми, молодыми глазами:

— Ну, молодчина, парень! Просто молодчина! Это у меня на свадьбе сваты так плясали. Спасибо, молодость напомнил!.. Держи, всех угостишь! — и он поддал Феде кулек конфет...

В автобусе все сидели молча. До Минска было добрых пара часов езды, за окнами в кронах деревьев отражался свет автобусных фар.

Балабайко развернул кулек.

— Слушай, Федор, — сказал Аркадий Малейчук, — тебе пора звание народного присваивать. Ведь не бы-

вает концерта, чтобы не подходили, не поздравляли, не благодарили.

— И конфетами, видишь, угощают. Сладкая жизнь, ничего не скажешь! — послышался голос Толи Каштолапова.

Федя сидел молча, глядел в окно... Он устал сегодня, и если бы кто-нибудь увидел сейчас его лицо, убедился бы, наверное, что «сладкая жизнь» дается совсем нелегко. Да и до народного ему, конечно же, еще далеко. А то, что зрители его любят и после каждого концерта подходят...

— Чего тут удивляться? — подает голос Таня Колотий. — Мы с Балабайко — последние из могикан.

— Последние? — в разговор вступает Валя Калачева. — Я думаю, что вы, если можно так сказать, первые из могикан...

Таня Колотий и Федя Балабайко пришли в «Хорошки» первыми. Пришли, когда еще не было... самих «Хорошек». Был интересный хореографический ансамбль «Веснянка» Дворца культуры Могилевского автозавода имени Кирова. Но там, в Могилеве, будущие руководители «Хорошек» молодые хореографы Николай Дудченко и Валентина Гаевая сумели создать атмосферу настоящего творчества, зажечь сердца танцоров-любителей (а среди них были слесари и машинистки, техники и конструкторы) настоящей любовью к народному танцу.

Уже тогда, десять лет назад, в «Веснянке» молодые хореографы начали искать свой собственный стиль. Они ставили танцы, может быть, и не слишком оригинальные. Сколько раз коллективы художественной самодеятельности исполняли «Солдатскую пляску» или «Белорусский свадебный!» В исполнении «Веснянки» эти танцы отличались от подобных в других ансамблях. Дудченко и Гаевая развертывали перед зрителем своеобразную хореографическую картину со своими главными героями, с действием, которое имело свою завязку, кульминацию, развязку. И участвовать в таких маленьких спектаклях было очень приятно и интересно.

Федор Балабайко ходил на репетиции, когда еще учился в ПГТУ. Получил специальность слесаря по контрольно-измерительным приборам и поехал работать в Светлогорск. Попробовал побыть без «Веснянки», без танцев — не главное же это в жизни. Оказалось — главное. По два раза в неделю ездил на репетиции за 200 километров, пока не удалось перевестись работать в Могилев.

Если сегодня спросить у Федора, что заставило его ездить тогда на репетиции, он ответит: нравилось работать. Руководители «Веснянки» научили танцоров-любителей работе над танцем, над образом, над каждым движением и каждым жестом. «Работать» в «Веснянке» значило еще и «думать». А «думать» означало

ездить по Могилевщине, смотреть и записывать народные танцы, подсматривать характеры. «Веснянка» быстро стала известной в области, потом пришли звания лауреатов областного и республиканского конкурсов художественной самодеятельности. И всегда, на каждом концерте, на каждом смотре, ансамбль приятно удивлял зрителей и жюри новыми танцами или просто новой постановкой старого танца.

Все это и влекло к «Веснянке» Федора Балабайко, Таню Колотий, Василия Куприяненко, Володю Капорику, Люду Давыденко, Надю Козлову, их друзей. И поэтому, когда Дудченко и Гаевую пригласили работать в Минск и они решили создать здесь фольклорный танцевальный ансамбль, почти половина участников «Веснянки» подала заявления на участие в творческом конкурсе. Прошли его Федор Балабайко и Таня Колотий.

Конкуренция у «веснянковцев» была очень сильная. В конкурсе участвовали многие выпускники Минского хореографического училища, танцоры Государственного хора БССР. Так что в «Хорошках» собрались представители самых разных хореографических школ. Виктор Бескоровайный работал, например, в театре оперетты, а потом был танцором в одном из армейских ансамблей. Ира Парфенова и Кристина Новак — в Государственном хоре БССР. Анатолий Санько, Валентина Калачева пришли в «Хорошки» сразу же после окончания хореографического училища.

Что же стало с теми «веснянковцами», которые не прошли конкурс? Они не распрощались с танцем. Володя Капорику окончил училище хореографии, работает теперь руководителем детской студии, Аня Милюкова также после училища работает в той же студии педагогом. Володя Кармызов руководит танцевальным коллективом Могилевского городского Дворца культуры; учится в Москве, в Институте культуры, Коля Козенко; в Ленинграде — Люда Туминская. И в тех коллективах, где работают или будут работать и выступать бывшие «веснянковцы», они, наверное, всегда будут помнить о своем первом коллективе, потому что «Веснянка» дала им главное — умение работать и умение искать.

Чудак-человек этот Каштолапов! Приходит время очередного отпуска — берет магнитофон, карту Белоруссии и пошел-поехал по деревням. Первый визит — в местный клуб, записывает там целый реестр фамилий и адресов, а потом ходит по хатам. Встречают его примерно одинаково всюду: и на Могилевщине, и на Витебщине, и на Минщине. Сначала удивленно выслушивают, потом смеются, машут руками, отрицательно качают головами. А потом... начинают петь.

Сотни метров магнитофонной ленты привозит Анатолий «на базу», в филармонию. Их слушает весь ансамбль — танцоры, музыканты, руководители: вдруг найдется интересная фраза, ритм, мелодия. Изредка используется целая лента — запись танца или песни.

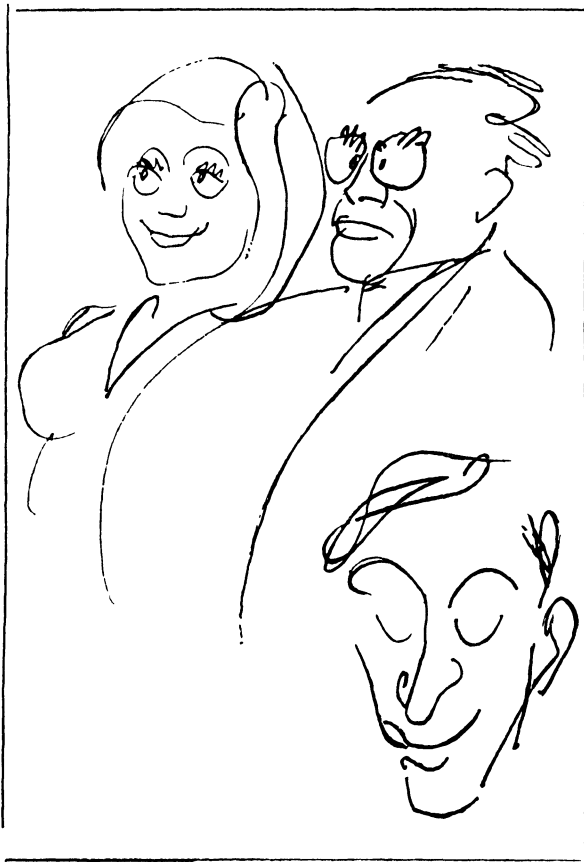
Конечно, ищет и находит не только Толя Каштолапов. Идею «Веселухи» — танца, который всегда идет на «бис», — принес в «Хорошки» один из музыкантов инструментальной группы ансамбля. Родилась она у него неожиданно: играл на одной сельской свадьбе, увидел несколько движений танца, который танцевали дед и бабка молодой. Но двух-трех движений, конечно же, было недостаточно, чтобы сделать из этого танца концертный номер. Не хватало главного — характера танца, его основы. Валентина Гаева перечитала все, что написано о белорусском народном танце, познакомилась с работами знатоков музыкального фольклора — Р. Шырмы, И. Жиновича, Ю. Чурко, заходила в Институт искусствоведения, этнографии и фольклора АН БССР, посещала музеи и выставки не только в Минске, но и в Вильнюсе, Смоленске. И вдруг...

Гравюра была выполнена в старой манере. В книге, изданной еще в прошлом веке, она сразу и не бросалась в глаза. Но что-то заставило Валентину Гаевую вернуться к ней еще раз. На рисунке танцевала молодая пара. Удивительный поворот головы, игривый взмах рукой... Так через год после случайной находки музыканта на свадьбе был найден характер «Веселухи». Постановка танца была уже, как говорится, делом техники.



На фото: одна из афиш ансамбля «Хорошки»





Херлуф Бидstrup
среди участников ансамбля.
Рисунок Херлуфа БИДСТРУПА.

Но год поисков — это еще не много. Четыре года, например, ставили «Гусарики». Увидели танец впервые на концерте художественной самодеятельности в Могилеве. На сцене выступали сельские танцоры-любители. Дудченко с Гаевой внимательно следили за каждым их движением. Смотрели на танцоров, а оказалось, что надо смотреть на музыкантов. В самодеятельном оркестре на скрипке играла старушка. Она играла, пританцовывала, успевала что-то сказать музыкантам, принималась дирижировать смычком. Этот характер послужил «толчком» для создания танца. Кстати, деревня, откуда приехали самодеятельные артисты в Могилев, называлась Хорошки. Потом это слово — очень уж хорошее! — стало именем фольклорно-хореографического ансамбля.

...Нет, удивительный все-таки человек этот Каштолапов! Все ему не сидится: если не репетирует танец — берет магнитофон, отставит магнитофон — учится играть на народных инструментах: на дудке флейте, гудиле. Кстати, не один он, Анатолий Гаврик, например, отлично владеет гармонью. Ну, а о музыкантах и говорить нечего! Каждый на двух-трех инструментах играет. Взялись однажды «Хорошки» поставить русский танец. Решили сделать его с балалайками, чтобы зарубежные зрители сразу узнали характер танца. Через месяц все — весь ансамбль умел играть на балалайках. Так что, если разобраться, не такие уже они и чудaki — Толя Каштолапов и его

друзья, если учатся играть на многих инструментах. Просто без этого не было бы «Хорошек». Как не было бы их без поисков. Как не было бы без труда. Такого, что хоть рубашки после каждой репетиции выкручивай.

Гастроли в Дании были первой зарубежной поездкой «Хорошек».

Все было впервые: и прогулки по незнакомому городу и чувство тоски по Минску, по родным. Да и волнение перед первым концертом было особенным, непохожим на то, которое испытываешь даже перед самым ответственным концертом дома. Кто знает, как будут реагировать на наши танцы эти флегматичные датчане?

Вот на сцене с бубном Федор Балабайко — эх, полька влево! А навстречу ему Толя Каштолапов с дудкой — нет, полька вправо!.. И закружилась, закружилась «Крутуха». Кстати, потом, во время других, менее официальных концертов, так иногда случилось: танцевали белорусские девчата с датскими рыбаками и моряками, а хлопцы — с текстильщицами и студентками. А однажды на встрече с коммунистами Дании встал в хоровод знаменитый художник-карикатурист Херлуф Бидstrup. Потом сел за стол, достал карандаш и бумагу и начал рисовать. И были на этих рисунках улыбки — кого не рассмешит образ веселого, немного суматошного человека из танца «Митусь». Словом, на рисунках были «Хорошки» с их озорным молодым характером...

Датчане аплодировали, смеялись, бросали на сцену цветы.

А потом аплодировали «Хорошкам» Сирия и Иордания, десятки городов нашей страны.

Бежит, спешит к Минску автобус. Усталые сидят Валентина Гаева (сегодня она уже заслуженная артистка БССР), Федя Балабайко (он также удостоен этого почетного звания), Оля Шичанина, Гена Тельков, Толя Санько, Кристина Новак... Кончается еще один гастрольный маршрут «Хорошек». Пусть был он обычным, не таким, как поездка в Данию. Но в эту минуту там, откуда они едут, расходятся по домам люди. Расходятся радостные. Эту радость подарили им «Хорошки»...

Перевод с белорусского.



ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВ

Рассвет

Каких не знали мы с тобою
Рассветов над своей землей!

Рассвет, трубой зовущий к бою,
Рассвет побудки трудовой,
Рассвет тревожный и прощальный,
Надежды трепетный рассвет,
Рассвет на койке госпитальной,
Когда уже рассвета нет,
Рассвет в росе земли окопной,
Рассвет бессонного поста,
Рассвет победный или скорбный...
Судьба рассвета не проста.

И я,
живя в рассветной власти,
В делах, где каждый час велик,—
И жизнь,
и смерть,
и плач,
и счастье
С рассветом связывать привык.

☆☆☆

Где-то битву ведут
За металл и за хлеб,
Где-то рельсы кладут
И монтируют ЛЭП...
Где-то песни поют
У степного огня...
Почему ж в том краю
Нету нынче меня!
Может быть, я отстал,
Может быть, не дошел
Или теплый привал
Раньше срока нашел!

Не поверю судьбе,
Если скажет она,
Что, мол, поздно тебе,
Посиди у окна.
Не могу я сидеть.
И, врагам на беду,
Не хочу я стареть,
Счет годам не веду.
Кто сказал, что отстал!
Кто сказал — не дошел!
Кто сказал, что привал
Раньше срока нашел!
Будет ночь или день,

Будет снег или град —
Мне собраться не лень.
Я ведь сердцем солдат.
Я сквозь дым и свинец
Прохожу невредим...
Должен старый боец
Быть всегда молодым!
Чтоб никто не сказал,
Что отстал, не дошел,
Что, мол, теплый привал
Раньше срока нашел!..

☆☆☆

Прощай, олень!
Беги в свои стада.
Загон открыт.
Свобода так свобода!
Умчись туда,
где горная гряда
врезается в начало
небосвода.

Там,
опьянев от светлой высоты.
вновь обрети
призвание оленье.
И, ощутив
забытые черты,
вдруг задержишься
на гордое мгновенье...
Чтоб кто-то смог,
как тайну красоты,
хранить твоё
изображенье.

Гудки

Уже забылось в самом деле
В век электронных скоростей,
Что каждый день,
Шесть раз в неделю
Гудки фабричные гудели,
На труд скликавшие людей.

Мы отличали свой спросонья
По высоте тугих басов —
Он был один
В рассветном звоне
Среди похожих голосов.

По тем гудкам не уставали
Встречать рассветы тысяч дней.
По тем гудкам
Часы сверяли
Тревожной юности моей...

А нынче
Улиц престарелых
Размыты милые черты.
Летят
Неоновые стрелы —
Проспектов строгие ряды...
Все справедливо!
Отчего же,
Нет-нет, да сердце защемит!
То память давнюю тревожит
Похожий звук,
Знакомый вид...

Так мне останутся близки
Давно замолкшие
Гудки!



НИКОЛАЙ
ПОЗДНЯКОВ

В ТОТ ДЕНЬ ПРИ ЮЖНОМ ВЕТРЕ

Правая рука в гипсе по самое плечо, а на кисти и предплечье левой — гипс и аппарат профессора Илизарова. Зачем врачи поставили после операции этот стальной барабан, мне пока непонятно. Валерию Брумелю он нужен был, чтобы восстановить длину голени. А здесь вроде бы все опять на месте. С барабаном этим никуда не пойдешь, не поедешь. Даже рубашку надеть — тяжелая задача. Ни есть, ни пить, ни читать, ни писать самому пока тоже нельзя. Но диктовать можно: жена, заявив поначалу, что больше ни словом, ни делом не будет участвовать в моих занятиях, связанных с летающими «штуками», взялась все же за карандаш.

За свою репортерскую жизнь я отдиктовал многие тысячи строк, в которых рассказывал о других людях. Теперь же пытаюсь наконец рассказать о себе. Это непривычно, хотя и соблазнительно. Словом, вот какая история.

Много лет назад, в конце войны, я, семнадцатилетний курсант летного училища, наконец приступил к летной учебе. Каждый из нас рвался в бой, но война завершилась... и дело кончилось тем, что наша группа сибиряков наконец оказалась в техническом авиационном училище. Мы были в отчаянии. Мы готовы были по-прежнему недоедать, мерзнуть, вставать в три часа в день полетов, ходить босиком, чтобы хватало сапог летающим звеньям, но только бы летать! Мы писали рапорты, мы умоляли, мы просили вернуть нас в небо, но военная дисциплина

и военная целесообразность были непреодолимы. Так мне и не удалось стать летчиком и хотя бы в последние дни войны схватиться в небе с фашистами.

А дальше? После многих прихотливых поворотов судьба наконец привела меня в журналистику и в качестве корреспондента ТАСС понесла по разным, как правило, тропическим странам и островам.

Над огромным южноазиатским городом — полуостровным зной. Здесь, у тропика Рака, люди даже зимой изнывают от жары. Поэтому рабочий день длится лишь до двух часов. А затем наступают мертвые часы.

Но мы с сынишкой все же отваживаемся выбраться на несколько минут на плоскую раскаленную крышу нашего дома: нам не терпится испытать новый змей, сделанный на этот раз из полиэтилена. Полиэтилен легкий, прозрачен, красив, и нам не хочется привязывать к змею хвост. Чтобы улучшить устойчивость, я делаю змей куполообразным. Но над крышей вьется лишь жаркое марево, а ветра практически нет...

В мае с Индийского океана начинают дуть долгожданные муссоны. Вот тогда наступает раздолье для воздушных змеев. Жители азиатских стран любят и умеют делать их. Легкий бамбук и прочная рисовая бумага — отличный материал для строительства. Известно, что тибетские монахи еще тысячу лет назад поднимались на коробчатых змеях в небо.

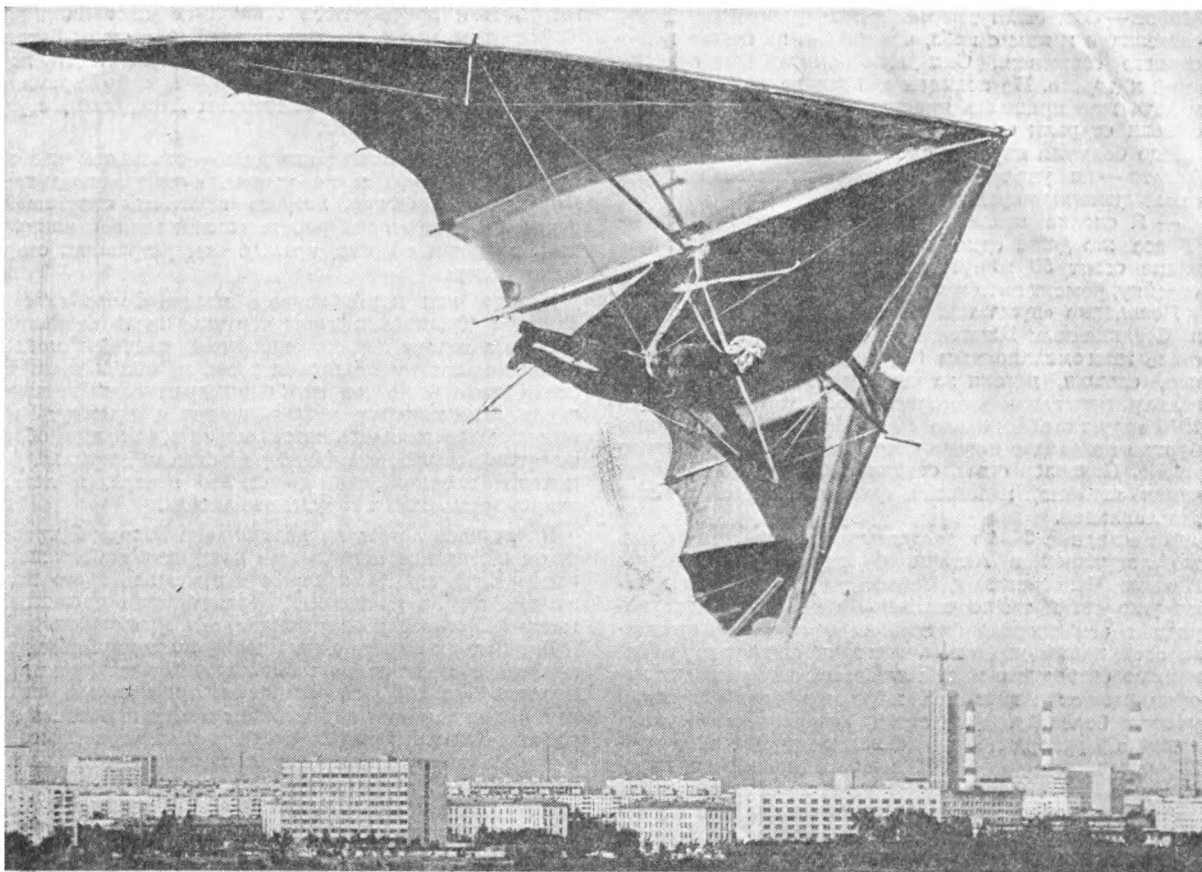
В нашем доме конструирование змеев поставлено на широкую ногу. Вначале к делу примкнул простодушный уборщик Мобул, потом в полеты вытянулся и садовник Мали — если змей повисал на высоченных кокосовых пальмах, ему волей-неволей приходилось лазить по деревьям. Но мало-помалу он разошелся и, вспомнив детство, стал делать таких оригинальных летающих драконов и птиц, что я, конструктор-самоучка, был посрамлен этой народной азиатской умелостью.

С жителями соседних домов у меня разворачивается теперь соревнование: чей змей будет красивее, оригинальнее по форме, больше, а самое главное — выше и устойчивее летать. Полиэтилен оказался непрочным, и мы заменили его на плотную капроновую ткань. Наш почти метровый капроновый змей летал превосходно, но я не сразу подобрал нить, которую бы он не мог порвать, — первое время в поисках упавшего змея принимала участие вся округа.

В разгар муссонов конструкцию змея пришлось снова менять. Его не держала и прочная капроновая нить. Сильный ветер делал змей еще и неустойчивым. И тут меня осенила мысль: сделать поперечную планку гибкой. При сильном порыве ветра планка прогибается, сужает крылья, и оба купола змея становятся глубокими и устойчивыми — воздушный катамаран, да и только! Теперь мы выбирались на крышу при самом яростном урагане. Наш белый змей парил между тучами! Но за ураганным ветром с неба обрушивался водопад дождя, и мы, спешно свернув полеты, убегали вниз.

Все свободное время я занимался теперь змеями — во мне пробудился несостоявшийся пилот. Я уже прикидывал: а какой нужен парус, чтобы змей поднял человека? Тут же, на крыше, я начертил схему змея площадью 25 м², который, как я предполагал, может поднять до 70 килограммов.

Но однажды, просматривая английские журналы, я увидел такой змей в полете и под ним человека! Это потрясло меня и в то же время горько разочаровало: я уже думал, что летающий капроновый человеко-змей — это мое изобретение. Но еще более изумило то, что этот аппарат совсем и не был зме-



ем — он был без шнура. Как оказалось, так летать даже безопаснее. Изобрел этот аппарат американец итальянского происхождения Фрэнсис Рогалло, ученый-астронавт.

Фрэнсис Рогалло решил объединить дельтовидное крыло современного сверхзвукового самолета с парашютом. Он мечтал о том, чтобы такой аппарат смог нести человека. После многолетних экспериментов одна из моделей сработала. Тогда он с женой и друзьями построил большой аппарат из старых штор — и эта диковинная птица полетела. Парусный планер Рогалло был разборным, и его можно было легко носить за плечами. И тут военное ведомство США, заинтересовавшись этим изобретением, выделило щедрые ассигнования — была создана секретная лаборатория...

Но принцип действия крыльев Рогалло и простые условия их постройки все же стали известны планеристам-любителям. Друзья Рогалло, австралийцы Билл Мойес и Билл Беннет, построили у себя на родине такие дельтапланы и стали подлетывать с водных лыж. В 1963 году Билл Мойес — владелец небольшой авто- и электромастерской в Сиднее — перебрался с дельтапланом на песчаные дюны на берегу моря и совсем отказался от буксировки. В том же году, когда он летел над склонами гор, обращенными к морю, ветер неожиданно продержал его в воздухе более получаса. Поначалу Билл пришел в ужас, а затем в восторг.

Пионер дельтапланизма сполна заплатил за увлечение новым видом спорта, за совершенствование своих аппаратов. Трижды он терпел аварию,

ломал ребра, руки... И все же тот, кто начал летать на дельтаплане, говорит Мойес, никогда уже не бросит этот спорт.

А Билл Беннет приехал в 1969 году в США, его публичные полеты потрясли американцев и снискали ему славу «крылатого австралийца». Толпы нью-йоркцев с замиранием сердца смотрели, как он летал вокруг статуи Свободы.

Затем Беннет едет на запад США и организует полет над знаменитым мостом Золотых Ворот в Лос-Анджелесе и над Долиной Смерти в Калифорнии. Он снимается в фильме о Джеймсе Бонде. Авторы фильма, исчерпав все другие виды транспорта, на которых совершал подвиги их герой, решили подвесить его к дельтаплану. Сенсация сделала свое дело. Беннет получил солидный куш и был избран президентом Федерации дельтапланизма в Калифорнии.

Билл Мойес тоже поехал в Штаты, но с некоторым опозданием. Он решил совершить полет в Гранд-Каньоне, но подготовка, видимо, проходила не на столь сенсационном уровне, как у Беннета. Местные власти заявили: Гранд-Каньон — парк, а не цирк! Но чиновники имели неосторожность выразить сомнение в том, что Билл сможет полететь с обрывистых и высоких стен каньона. И Билл полетел, чтобы их убедить.

— Я плавно приземлился на дно каньона возле одной из колоний хиппи, живших там, — рассказывает

На снимке: Под вечер в Тушино.

Фото С. СЕМОВА

Мойес.— Они были так потрясены, увидев человека, слетевшего к ним с неба, что вышли из своего полусонного состояния. Они даже помогли мне отнести змей к дороге. Но полиция все же перехватила нас, и ночь мне пришлось просидеть в тюрьме. А затем с меня содрали еще 500 долларов штрафа.

Еще большая неудача ожидала Мойеса в Северной Дакоте — он упал с 90-метровой высоты и получил около дюжины переломов.

— Я сполна заплатил за опыт,— говорит Билл.— И все же даже одна минута в воздухе на дельтаплане стоит 59 минут, которые потратишь на постройку, ремонт змей и прочее.

Появление «крылатых австралийцев» вызвало бум в Соединенных Штатах. Производство дельтапланов стало многомиллионным бизнесом. Массовое увлечение, спешка, погоня за сенсацией, трюкачество поначалу привели к многочисленным катастрофам — в 1975 году погибло около 50 человек. Но постепенно бурное половодье нового спорта вошло в безопасную колею. Появился опыт, специальные школы для обучения пилотов, налажено фабричное производство дельтапланов.

В последние 3—4 года дельтапланизм стал столь же популярен в Англии, Франции, ФРГ, Италии, Польше, Чехословакии. Сейчас по всему свету летают уже сотни тысяч человек. В 1976 году Международная авиационная федерация официально признала этот новый вид спорта, создав специальную комиссию свободного парения. Состоялись уже два неофициальных первенства мира, в которых приняли участие более двадцати стран. Установлены ошеломляющие рекорды: продолжительности полета — 28 часов, высоты — 6500 метров, дальности парения — 165 километров.

Аппарат все время совершенствуется. Уже появились бипланы, дельтапланы с хвостовым оперением, полужестким парусом... А польский инженер Ежи Колецкий подвесил на спину небольшой мотор с пропеллером и стал путешествовать по воздуху, взлетая прямо с ровного места и без ветра — как Карлсон.

Оказалось, что пока я делал робкие предположения на крыше далекого тропического города, тысячи капроновых птиц уже летали по белому свету, в том числе и в нашей стране.

Возвратившись в Москву, я стал искать знакомства с дельтапланистами. Мой мир сразу расширился, когда я наконец попал в их семью — да, именно так, ибо всех, кого объединил Всесоюзный Оргкомитет дельтапланистического спорта, я теперь смело называл своими крылатыми братьями. Среди них — в Москве, Киеве, Ленинграде, Риге, Томске — уже были признанные асы.

В Тушино и Крылатском, где облюбовали себе горы московские дельтапланисты, я познакомился с Михаилом Гохбергом. В 1971 году известный водолазник, кандидат физико-математических наук Михаил Гохберг — ныне он доктор наук, заместитель директора Института физики Земли — поехал в научную командировку во Францию. И один его водолазный коллега, который уже успел увлечься дельтапланизмом, предложил ему полетать близ Парижа под парусом. Миша с первого раза полетел легко и уверенно, а затем рискнул отправиться в Альпы. Там его бесстрашные полеты снимало французское телевидение. Словом, в Москву Гохберг возвратился героем. Я познакомился и с его ближайшими друзьями и последователями: с недавним летчиком Славом (есть, оказывается, такое имя — Слав) Топтыгиным, возглавившим наш Всесоюзный Оргко-

митет, и с пресс-атташе Академии наук Евгением Табакеевым, и с авиаинженерами Владимиром Бугровым и Андреем Кареткиным... Я учился летать под парусом весной прошлого года — в одно время с летчиком-космонавтом Валентином Лебедевым, с ребятами из Бауманского...

У меня сразу пошло это дело — оказалось, что за прошедшие годы я не утерял «чувство воздуха». Пришлось, конечно, всерьез заняться спортивной формой — много дней ребята гоняли меня с аппаратом на ровном месте, прежде чем разрешили стартовать с горы.

Помню, как после первого полета вдоль склона длинной Тушинской горы все тело ныло от напряжения, а голова под мотоциклетной каской взмокла. Я приземлился у подножия горы, и, чтобы взлететь снова, надо было тащить 20-килограммовый аппарат вверх. Мне хотелось лечь на землю и отдохнуть, но еще больше хотелось вновь ощутить, как лицо обдает тугой ветер, а за спиной похлопывают крылья. До полного изнеможения, до самого вечера, я летал, тащил дельтаплан в гору, снова летал...

Я научился летать на дельтаплане Володи Бугрова, и он же взялся помочь мне построить собственный аппарат. Вечер за вечером я приезжал в его подземный гараж, пропахший отработанным машинным маслом. Мы обычно трудились до поздней ночи.

Вот Володя сидит за машинкой, шьет карманы для паруса, а я пилую ножовкой дюралевого трубы для каркаса. Он говорит, что часам к трем новый аппарат будет готов и мы сможем немного поспать до работы. Он так говорил вчера и позавчера и месяц назад. Я знаю, что и сегодня к трем часам мы не управимся — Володя все делает основательно: долго колдует над миллиметровой бумагой, затем в сотый раз распарывает парус, кроит его, склеивает края ткани и вновь садится за машинку. А нитка рвется, и вставить ее в иголку в полутемном гараже не просто. Сам он дужилистый, а мне зверски хочется спать, к тому же еще целый час добираться до дому.

Володя вновь заваривает чай в стеклянной банке, и мы продолжаем выбирать себе крылья. Володя упрямо стоит на том, что его быстрое ястребиное крыло типа «Циррус» лучше, чем голубиное крыло Андрея Кареткина (Андрей именует его «Уорлд Кап» — «Мировой Кубок», а мы перекрестили в «Оула Хэт» — «Старая Шляпа»). Я на стороне Андрея. Нам не нужны скоростные лайнеры, нам нужно свободное парение, спокойное небо, высота и долгий полет. А на дельтаплане большая скорость связана с быстрой потерей высоты.

Володя согласен, что для парения в равнинной России нужен большой парус. Но и здесь при сильном ветре большой парус опасен: не справишься с ним — перевернет на старте. И он не нужен при мощном восходящем потоке в горах. Там нужен скоростной и хорошо управляемый аппарат.

— В горах мы можем быть лишь один месяц из двенадцати,— говорю я.— А остальные одиннадцать?!

Но Володя думает лишь о мощных восходящих потоках и высоких полетах. Он думает о горе Клементьева в Планерском — да, мы обосновались уже на этой славной крымской горе, в колыбели отечественного планизма, и горды тем, что ветераны планизма признают нас своими наследниками.

Прошлым летом отличился ленинградский физик Виктор Овсянников, впервые совершив полет на дельтаплане с Эльбруса. Вот его рассказ об этом полете:

«Первый раз я поднялся с дельтапланом на вершину Эльбруса в июне, но тогда погода не позволила совершить полет. Дул сильный, порывистый ветер, при котором не то что лететь, собрать дельтаплан было невозможно.

Второго августа я уже вновь был в «Приюте одиннадцати» и сделал первый выход наверх с полным грузом. Мой груз: дельтаплан, лыжи, продукты, ледоруб, аптечка — всего около 20 килограммов. В этот день я с большим трудом занес весь груз на «Скалы Пастухова» — 4800 метров, — а сам спустился ночевать в «Приют одиннадцати».

На следующий день разделяю груз на две части. Наиболее тяжелый — пакет с трубками и лыжами — упаковываю в полиэтиленовый чехол и тащу за собой на веревке по снегу. Теперь за плечами только восемь килограммов. Но тут мною овладевает горная болезнь. Как только начинаю тащить груз, сразу появляется тошнота. В таком состоянии лететь нельзя. Оставляю все на небольшой площадке на скалах и спускаюсь снова в «Приют».

Четвертого августа будильник поднимает меня в два часа ночи. Иду медленно, экономя силы. Наконечник вершины — 5621 метр. На сборку дельтаплана обычно уходит 30 минут, а здесь она заняла у меня почти полтора часа. В полдень даю зеленую ракету — для наблюдателей с «Приюта одиннадцати».

Начинаю разбег. Скольжение отличное: парафиновая смазка на лыжи наплавлена заранее. Вот скорость, кажется, достаточная — легкое движение ручкой управления, и я отрываюсь от снега. Сразу же перевожу тело в горизонтальное положение. Набираю скорость 40—50 километров и делаю первый разворот в направлении к седловине между вершинами.

Подо мной уже 300—400 метров, кончились скалы, потянулись бескрайние снежные поля и ледники Эльбруса — зрелище фантастическое.

Дельтаплан летит настолько стабильно, что можно управлять одной рукой. На высоте 500—700 метров попадаю в восходящий поток воздуха. Мелькает мысль, что можно использовать этот восходящий поток, сделать круг, набрать максимальную высоту и идти на посадку в Баксайское ущелье — куда-нибудь в Терскол или в Азау. Но отбрасываю этот соблазн. Впервые человек спускается с Эльбруса по воздуху, и я не имею права рисковать: в ущелье мест для посадки мало. Мой «основной аэродром» — большое снежное поле ниже «Приюта одиннадцати» на высоте 4100 метров.

Беру курс мимо «Скал Пастухова» прямо на «Приют». Уже хорошо различаю людей, которые поднялись на крышу гостиницы. Остается пять, три метра... Отжимаю ручку полностью вперед. Дельтаплан почти замирает в воздухе на высоте около метра и плавно опускается на снег. Я был в воздухе около двадцати минут и пролетел приблизительно двенадцать километров».

В конце прошедшего февраля я впервые испытал в Тушино и Крылатском тот самый дельтаплан, который начал строить с помощью Володи Бугрова в его подземном гараже. В марте, как мне казалось, окончательно отладил аппарат. И первого апреля, загрузив его в машину, отправился в Тушино.

То был день больших полетов. Не часто в Москве дуют хорошие южные ветры, а в Тушино можно летать лишь при южных ветрах. Еще реже такие ветры попадают на субботу или воскресенье. Так что этот яркий, весенний день был для нас действительно праздничным. На Тушинскую гору приехала почти вся Москва, летающая под парусами.

С утра полеты шли великолепно. После полудня многие ребята начали сворачиваться. Но как раз в это время ветер немного усилился и создал хорошие условия для долгих полетов вдоль горы.

Я лечу раз, другой — аппарат берет прямо со старта вверх, легко поворачивает и летит над горой вдоль всего склона. Прямо по маршруту полета, на верхней части склона, стоит высокое дерево, которое доставляет нам много неприятностей. Если ветер стихает и аппарат слабоват, то идти выше дерева рискованно — можешь пролететь, а можешь и нет. Видел я, как некоторые пилоты цепляли крылом за его ветви, а потом кувыркались вниз по склону.

Мне до этого не удавалось летать над деревом, но, проверив подъемную силу своего нового аппарата, решаю попробовать. Подхожу к склону, слегка поднимаю нос паруса и вновь переживаю восхитительное чувство взлета. Чтобы не потерять высоты, тут же закладываю правый вираж. Смотрю на правую консоль — земля от нее в двух-трех метрах справа и внизу. Тело напряжено, занято контролем: неоступию слежу за крылом и склоном — им нельзя сближаться ни на метр; «прислушиваюсь» к скорости — ее тоже терять нельзя; руками, в которых зажата трапеция, контролирую «горизонт».

Краем глаза вижу забавную картинку: на уровне моей головы всего в пяти-шести метрах маленькая девчужка в ярко-красных брючках увязла в большой апрельской луже, и папа с мамой вытаскивают ее оттуда. А дальше стоят в линейку разноцветные крылатые птицы моих собратьев. Сами пилоты внимательно наблюдают за моим полетом.

Нет, теперь дерево на склоне не может быть мне помехой — я лечу уверенно, достаточно высоко и знаю, что оно останется внизу. Проходя между деревом и горой, я лишь плотнее прижимаюсь к склону. Затем иду дальше: к концу горы, где наверху находится автобусная остановка. Здесь гора выше и круче, я закладываю левый вираж и одновременно даю ручку от себя — поднимаю нос паруса; теперь ветер дует на оба крыла, и можно позволить себе подняться повыше. Но и от горы я тоже отошел далеко — так можно и потерять поток. Спешно поворачиваю влево, ловлю поток, пролетаю обратно всю гору, набираю высоту, разворачиваюсь. Можно летать еще, летать, пока не надоеет, пока не устанешь. Но на первый раз хватит — решаю быть благоразумным. Высота полета позволяет садиться на горе, но это высший пилотаж, и я к нему еще не готов. Да и мой аппарат тоже: как он себя поведет, когда я покажу хвост ветру, хватит ли умения и сил сделать резкий разворот у самой земли на продуваемой ветром вершине? Не такие пилоты, как я, кувыркались при посадке на горе. Так было и с нашим асом Андреем Кареткиным на прошлых полетах. Я пошел на посадку вниз и как раз тем путем, каким перед этим шли Слав Топтыгин и Боря Белявский — в ворота между двумя деревьями у подножия горы. Но чтобы пройти между их кронами, мне нужно было резко потерять уже около пятидесяти метров высоты.

Я вошел в крутое пикирование и, видимо, на какое-то мгновение, упоенный полетом, усыпленный послушностью своего аппарата, забыл про осторожность, забыл законы паруса. Дельтаплан не жесткокрылый самолет и не планер. Это я давно знал теоретически. Но через секунду это знание вошло в мою плоть и кровь. После крутого пикирования прошелтаки ворота между верхушками деревьев. И тут почувствовал, как зловеще зашуршала ткань паруса, а аппарат резко пошел вниз. Я быстро отдал ручку от себя и держу ее впереди на полностью вытянутых руках, ожидая выхода из пике. Но выхода не последовало...

Все то время, пока я лежал в Центральном институте травматологии, братья-пилоты часто вваливались в палату, еще горячие от полетов, приносили сладости и букетики весенних цветов, собранные в Тушино или Крылатском. И сразу же у моей кровати начинались споры: до хрипоты обсуждались правила Всесоюзных соревнований, допустимый способ заделки тросов, конструкции подвески...

Миша Гохберг рассказывал о поездке в Австралию и встрече с Биллом Мойесом. Билл устроил небольшую дружескую проверку Мише, забросив его над морем около Сиднея на 150-метровую высоту на незнакомом змее. Миша не сплоховал, чем заслужил расположение Билла, и тот щедро поделился с ним опытом, который накопил за десять лет.

А летают австралийские пионеры здорово, да и

условия у них идеальные — от Мельбурна и Сиднея вдоль океана тянется высокая гряда холмов. На мощном океанском бризе можно летать сколько душа пожелает. Они делают так: дома завтракают, затем улетают вдоль побережья и возвращаются лишь к обеду.

Но для таких долгих полетов нужна идеальная «мягкая» подвеска для пилота, иначе онемеют руки и ноги. Из-за жесткой подвески Слав Топтыгин, налетавший тысячи часов на различных скоростных реактивных самолетах («Парус», — говорит Топтыгин, — это на десять порядков выше, чем полет на самолете, пусть самом что ни на есть современном. Это чистый полет!»,) попал однажды в довольно курьезную ситуацию.

На сборах в Крыму в мае прошлого года Топтыгин

Четырнадцатого июля я спешил в Росарио на матч сборных команд Аргентины и Польши. Готовясь к телерепортажу, четко представил, каков будет мой комментарий в случае победы поляков. Команда фактически выступала в том же составе, что и четыре года назад, когда стала третьей в мире. Польские футболисты хотя и постарели на четыре года, но сохранили верность тому современному стилю игры, который принес им славу. У аргентинцев же столь совершенная организация игры не просматривалась. На поле «Ривер-плейта» в Буэнос-Айресе их начисто переиграли итальянцы, а затем лишь чудом аргентинцы вырвали победу у французов. В этом давлении футбольном споре Европы и Южной Америки поляки, как мне казалось, должны были и на сей раз сказать свое слово. Но победила со счетом 2:0 сборная Аргентины.

Хозяева чемпионата играли с огромным эмоциональным подъемом. Как болели за свою команду трибуны, телезрители видели. Но разве страсти ограничивались стадионом?

Когда закончились групповые турниры и стало известно, что сборная Аргентины будет играть в Росарио — этот город находится в километрах в трехстах пятидесяти от Буэнос-Айреса, — как раз начались туманы и самолеты летать перестали. Первым матчем аргентинцев в Росарио был матч с поляками. И в день игры длинная кавалькада автомашин потянулась из Буэнос-Айреса в Росарио. Сопровождаемый эскортом мотоциклистов спешил на матч и президент республики Хорхе Видела. Он, кстати, присутствовал на каждом матче сборной Аргентины, приходил в раздевалку к своим футболистам и до и после игры.

На подъезде к Росарио уже началась вакханалия. Толпа, стояв-

ВЛАДИМИР МАСЛАЧЕНКО

ИГРАЙ МЫ В АРГЕНТИНЕ...

шая вдоль дороги, склоняла над каждой машиной национальные флаги, требуя болеть за Аргентину. Мы ехали под этими флагами в сплошном крике... Я походил немного по улицам города, и впечатление было такое, что во всех домах одновременно завели одну и ту же пластинку. Из каждого окна — песня про команду Аргентины, которую все поддерживают и которую надеются видеть чемпионом. Слова песни, написанной специально к чемпионату, знал и стар и млад. Ее мелодию я запомнил, кажется, на всю жизнь.

Надо сказать, что, когда поляки вышли на поле, зрители встретили их приветливо, но когда вышли аргентинцы, началось что-то непостижимое и стадный утонул в серпантине. Специальная команда тщетно пыталась очистить поле от обрывков бумаги. Ноги польского вратаря путались в этих лентях, и он без конца обрывал их. Потом зрители были, правда, официально предупреждены, что нельзя ничего бросать на поле, и это в какой-то мере помогло.

Ясно, что в такой обстановке при прочих равных условиях аргентинская команда имела преимущество.

На чемпионате мира почти все команды были очень хорошо физически подготовлены, и это позволяло вести борьбу, не снижая ее накала, от первой до последней минуты. Так боролись и поляки, даже проигрывая 0:2. Они, кстати, создали так много острых моментов у ворот аргентинцев, что были вправе уйти с поля победителями. По-моему, им просто фатально не везло, как и французам до этого. Во всяком случае, я убежден, что с точки зрения организации игры польская сборная выглядит перспективнее, чем сборная Аргентины...

Уже после Мексиканского чемпионата мира наметилась тенденция отказа от техники ради техники, которая теперь окончательно восторжествовала. Предельная рациональность. Все просто. Все для того, чтобы овладеть мячом, сразу начать атаку. И надо уметь обращаться с мячом на большой скорости. Играющий медленно обречен. Пас в ноги — это уже дремучее вчера. На этом чемпионате, заметьте, часто достигали цели удары по воротам издали. Если игрок владеет ударом, ему все равно — бить с пяти метров или с шестнадцати. Мяч летит с той же скоростью. Тут надо преодолеть только психологический барьер. Не бояться промахнуться и услышать свист трибуны. Так вот, обе команды — и сборная Аргентины и сборная Польши — демонстрировали вполне современное понимание техники.

Некоторые мои коллеги ошибаются, полагая, что тактику команды определяет количество нападающих. В современном футболе атакуют и игроки средней линии и защитники. Все зависит от умения создать численный перевес в ата-

решил пойти на установление рекорда в честь Дня Победы. Ветер с утра был сильный, но затем стал слабеть, и Слав уже с трудом ходил на бреющем полете у самого склона горы Клементьева. Пролетав все же рекордное время — 2 часа 34 минуты, — он понял, что приземлиться на ноги уже не сможет: ноги онемели. Тогда он решил найти у подножия горы дерево попышнее и плюхнуться на него как попало. Он нашел такое дерево и совершил идеально точную посадку. Но это была какая-то южная «порода», вся утыканная колючками. К тому же Слав вынужден был просидеть здесь с полчаса, чтобы отошли ноги... (Когда этот материал готовился к печати, из Планерского пришло известие, что Андрей Кареткин установил новый рекорд страны — 4 часа 13 минут.)

— Я тебя люблю, — говорил мне Топтыгин в больной палате, — но я тебя «зарезу» на соревнованиях, если будешь впредь нарушать законы паруса...

Здесь жена, которая до сих пор безропотно записывала мой рассказ, отложила в сторону карандаш и решительно заявила, что ни на какие соревнования я больше не поеду. Работа прервалась на целую неделю. И все-таки, кажется, я убедил ее, что если к дельтаплану пристегнуть парашют — а так уже делают, — то полет под парусом совершенно безопасен. А тут врачи вытащили из моей правой кисти одну металлическую спицу, и этот последний абзац я написал собственноручно.

ке на любом участке поля. От умения играть широко и, постоянно перемещаясь, растягивать оборону соперника. Фланговые атаки стали нормой. Именно передачи с флангов поляков Лято и Шармаха создавали крайне острые моменты в центре штрафной площадки аргентинцев.

Я очень хотел победы польской команды — как лишнего доказательства, что тон в организации игры сегодня задают европейцы. Но поляки, которые, казалось, вот-вот были должны забить гол, не смогли реализовать даже пенальти. А в матче столь высокого напряжения первый гол решает многое. И, забив первый гол, аргентинцы забили и второй. В своем репортаже я так и не смог, кажется, перестроиться и убедительно объяснить победу аргентинцев.

Да, огромный эмоциональный подъем владел аргентинскими игроками. Конечно, игроками, умеющими играть в футбол. Но в их рядах были лишь два мастера экстра-класса, а остальные игроки нормальные, но не более того. Эти же двое! Я имею в виду, естественно, Кемпеса и капитана команды защитника Пасареллу.

Кемпес по праву был назван лучшим игроком чемпионата. Но вспомним, что сразу после прошлого чемпионата мира он был куплен испанским клубом «Севилья» и прошел за эти годы хорошую европейскую школу. Когда в отсутствие травмированного Люке тренер аргентинцев Менотти послал его вперед, Кемпеса не стало. Но как только Кемпес начинал играть так, как привык уже играть в Европе, — маневрируя по фронту атаки, отходя назад — он становился для защитников игроком страшным, учитывая его массу, скорость, технику — прежде всего технику владения мячом левой ногой, и особенно его удар. В удар

он вкладывает всю свою мощь и бьет очень точно. Но при всем том я бы не стал сравнивать двадцатичетырехлетнего Кемпеса с такими выдающимися игроками, как Пеле и Круифф. Кемпес пока что — лишь яркий образец современного интернационального игрока высокого класса, который найдет себе место в любой команде мира.

Пасарелла — тоже игрок европейского склада, хотя он из аргентинского клуба. Игрока, выполняющего такой объем работы с постоянным подключением в атаку — он приходил на все угловые и на розыгрыш штрафных — и возвращением в оборону, не было ни в сборной Перу, ни в сборной Бразилии.

Что же касается Люке, кумира аргентинских болельщиков, то я не рассмотрел в нем выдающегося форварда. Может быть, его популярность так возросла еще потому, что, хотя у него только что погиб в автомобильной катастрофе брат, Люке нашел в себе силы играть с полной самоотдачей.

Хотя аргентинский вратарь Филол признан лучшим на чемпионате, мне лично больше понравился бразилец Леао. Филол отыграл надежно весь чемпионат (он был на высоте и в матче с Польшей, а вот польский вратарь Кукла свою команду не выручил...), но был занят только защитой своих ворот. А современный футбол требует уже вратаря, умеющего не просто защищать ворота — это само собой разумеется, — а прерывать атаку соперника, чтобы тут же начинать свою. Такой вратарь должен обладать быстрым стартом. Многие знаменитые вратари 50—60-х годов — англичанин Бенкс, к примеру, — думаю, чувствовали бы себя неуютно на Аргентинском чемпионате. Больше того, я считаю уже несовременным вратарем и Майера из сборной ФРГ. Отличный вратарь, но сегодня с его-то массой...

И вообще я назвал бы этот чемпионат чемпионатом вратарей. Из всех голкиперов лишь двое-трое сыграли неудачно, а остальные были на высоте. Ворота сборной Туниса, например, безукоризненно защищал второй голкипер команды Наили. Игрок быстрый, атлетичный, хладнокровный, мгновенно «читавший» все, что происходит в штрафной. Можете представить, как играет тогда основной вратарь Туниса Атуга, сразу же получивший травму. Великолепен был и перуанец Кирога. А за шесть мячей, пропущенных в матче с аргентинцами, его винить нельзя. Кирога был в порядке, но оборона перуанцев действовала настолько плохо, что рядом с Кирогой можно было поставить еще одного вратаря и аргентинцы все равно забили бы ну не шесть, так пять мячей...

В финальном матче сборная Аргентины не выглядела эффективней, чем в матче с Польшей. Да, голландцы проиграли, но если бы на последней минуте основного времени Ренсенбринк забил гол, что едва не произошло, то успех европейской команды был бы сочтен всеми совершенно закономерным.

В отличие от Феола и Шёна, заглянувших в свое время вперед, аргентинский тренер Менотти четко решал лишь сугубо утилитарные задачи. Когда Менотти говорили, что в центре обороны у него зияют дыры, он отвечал, что не намерен ничего переделывать, что недостатки обороны будут компенсированы давлением Кемпеса, Люке и других нападающих. Тактика чемпионов мира была бесхитростна — минувя среднюю линию поля, доставлять мяч все время вперед. Как вы думаете, есть будущее у такой команды?

Голландцы же, хотя и не сделали шаг вперед после предыдущего мирового чемпионата, но в отдельных матчах были той командой, которая так запомнилась нам в

1974 году. Словом, сборная Голландии даже без Круиффа была командой. А представьте сборную Аргентины без Кемпеса, который индивидуально решил исход иных матчей...

На чемпионате в Аргентине ни в одной команде не было «хозяина» — не было дирижеров, подопытных Круиффу или Беккенбауэру.

Было лишь много подражателей, особенно игроков, пытавшихся исполнять роль Беккенбауэра. В сборной Голландии таким был ее капитан Крол. Но в финале, заняв почесу-то довольно странную позицию — и не в обороне и не в атаке, — он напрочь выбыл из игры. Плохо смотрелся в финале и Ренсенбринк. И тем не менее в основное время голландцы выглядели убедительнее, а в дополнительное время матч, по-моему, должен был завершиться вничью. Итальянский арбитр Серджио Гонелла был вправду оштрафован Кемпеса за опасную игру, когда он забил второй гол в ворота голландцев. Судите сами: защитник сборной Голландии отбивал мяч, а Кемпес пошел на него с прямой ногой. Это накладка, как говорят футболисты. Это запрещенный прием. Увидев все шесть шипов Кемпеса, защитник, естественно, испугался, мяч ударился о подошву бутсы аргентинца и рикошетом влетел в ворота. Судья такой квалификации, как Гонелла, обязан был обнаружить нарушение правил и назначить свободный удар от ворот сборной Голландии. А не будь второго гола, не было бы, очевидно, и третьего. Обе команды изрядно устали и играли фактически до гола.

Но при всех моих симпатиях к голландцам я считаю, что лучшие черты современного футбола на Аргентинском чемпионате продемонстрировали команды Франции и Италии.

Спортивное счастье, как известно, не последнее дело. Так вот, французам просто не повезло. А может быть, Мишель Идальго, тренер французов, не лучшим образом использовал качества своего самого яркого нападающего Мишеля Платини. Он загнал Платини глубоко в среднюю линию, где тот хотя и старался изо всех сил, но не мог реализовать свои возможности. Так, во всяком случае, мне представляется, обстояло дело в матче французов с аргентинцами.

Французов отличала совершенная техника, умение играть широко, размашисто, на скорости. Игроков по-настоящему быстрых у них было больше, чем в любой другой команде. Вспомните старые, добрые времена — так вот

каждый из французов мог бы спокойно играть чистым крайним нападающим. Может быть, французам не хватило настоящей собранности?

Этого же качества явно не хватило и итальянцам, игравшим примерно в том же ключе. Тренер сборной Италии Энцо Беарзот составил команду главным образом из игроков туринских клубов — «Ювентуса» и «Турина», сторонящихся пресловутого «катеначчо» и играющих в резко атакующий футбол. В команде были и классные исполнители: и Росси, и Бетегга, и Бенетти, который являлся как бы диспетчером, и отличные крайние защитники, хорошо подключавшиеся в атаку. Но беда была в том, что в отличие от сборной Аргентины, которая с каждым матчем усиливалась, сборная Италии с каждым матчем все более уставала. И та команда, которая в своей группе начисто переиграла аргентинцев, к концу чемпионата вдруг стала искать спасения в «катеначчо»... Но игра итальянцев в начале чемпионата — это тот футбол, отталкиваясь от которого, можно идти вперед.

О команде ФРГ говорить нечего. Она провалилась в подготовке и к концу чемпионата была почти неуправляема.

Бразильцы, хотя и демонстрировали незаурядную технику, когда у них был мяч, но лишь доказали, что пас в ноги — это вчерашний день. Это была команда, игравшая стоя, ибо пас в ноги — это игра стоя. Самым современным игроком в команде был вратарь Леао. Я бы выделил еще и правого защитника Нелиньо, который считал своей зонной весь правый фланг поля — вплоть до того, что шел на подачи угловых, подавая коварные резаные мячи. Согласитесь, что крайний защитник в таком амплуа — это что-то новое в футболе. Это надо запомнить.

Нашей сборной путь в Аргентину, как вы помните, преградила сборная Венгрии. Но на чемпионате это была совсем не та команда, которая обыграла нас. Она выглядела слабее на целый порядок. Команда еще более провалилась в подготовке, чем сборная ФРГ. И, пожалуй, это была единственная на чемпионате команда, у которой не было надежных вратарей.

Я не сомневаюсь, что, если бы наша сборная играла в Аргентине, она бы выглядела неизмеримо лучше венгров. Скажу больше, мы могли бы попасть в четверку...

С семидесятого примерно по семьдесят шестой год у нас был застой в футболе. Но теперь наш футбол сдвинулся с мертвой точ-

ки, и я уверен, что даже самые скептически настроенные болельщики скоро убедятся в этом.

После ряда товарищеских матчей — с командами Франции, Голландии, ФРГ, Аргентины, — которые сборная провела в преддверии чемпионата мира, специалисты сказали в ее адрес много хороших слов. Сейчас в Аргентине Билл Райт говорил мне, что на чемпионате мира явно не хватает сборной СССР. А Милан Миялич, известный югославский тренер, работавший в последнее время с мадридским «Реалом», сказал мне, что чемпионат мира был бы на голову выше, если бы в нем участвовали сборные Англии, Бельгии, СССР...

К этому я добавлю вот что. Кемпес сегодня признан лучшим. Но ведь наш Блохин, ни в чем не уступая аргентинцу, в то же время игрок более широкого диапазона. Далее. Пока футболисты всего мира тщетно примеряли пиджак Беккенбауэра, у нас сложился игрок, выполняющий те же функции, но игрок со своим лицом. Я говорю о Конькове. А наличие двух таких мастеров в команде уже позволяет называть ее потенциально сильной. А разве нет у нас игроков, которых можно поставить рядом с Блохиным и Коньковым? Скажу лишь, что Дегтярев или, допустим, Гонтарь не менее современные вратари, чем Леао. Чего недостает сегодня нашим лучшим игрокам, так это самоотдачи — умения все девяносто минут играть изо всех сил и даже в том случае, если матч уже явно проигран. Это было нормой (исключая матч Аргентина — Перу) на прошедшем чемпионате мира.

Я уже вижу, как в 1982 году в Испании буду, волнуясь, готовиться к репортажу о матче с участием сборной СССР...

Когда Бобби Чарльтона, который тоже присутствовал на Аргентинском чемпионате, спросили, что изменилось в мировом футболе с его времен, он сказал, что изменилась окружающая среда. Как вы понимаете, он имел в виду болельщиков. Хотелось бы надеяться, что на предстоящем чемпионате мира в Испании проблема сей «окружающей среды» отойдет на второй план — уступит место тем новым проблемам, которые неминуемо породит сама игра в футбол.



АРК.
АРКАНОВ



АЛЕША — ДРУГ ДЕТСТВА



Выспаться мне в это воскресенье не дали. Телефон взбесился. Я срывал трубку и, не соображая, с кем говорю, соглашался на все. Лишь бы от меня отстали и дали поспать. Меня можно было брать голыми руками. Я простил в то утро двадцать три рубля долга. Назначил, не помню кому, не помню где, свидание. Взял кого-то на поруки. Купил сенбернара. Продал славянский шкаф. В довершение всего признал себя виновным в угоне из трамвайного депо двенадцатого номера трамвая. Но это мне уже приснилось. Боясь худшего, я схватил подушку, вбежал в комнату сына и хлопнулся на диван. Здесь не было телефона. Вернее, был, но игрушечный.

— Спать будешь? — спросил мой трехлетний парень, натягивая колготки.

— Ага.

— Не выспался, что ли?

— Ага.

— А я выспался.

— Ну, и что тебе снилось? — спросил я автоматически.

— Сначала дом, а потом крыша.

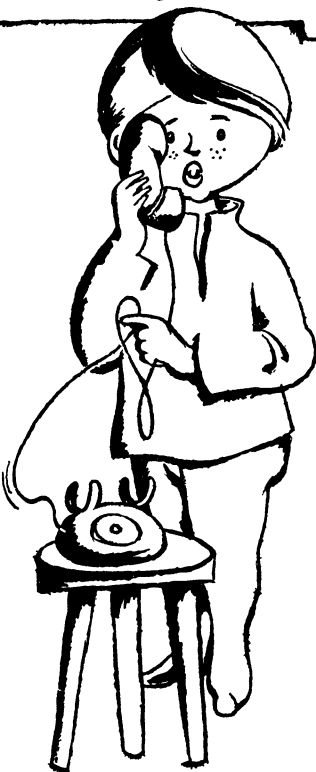


Рисунок
И. ОФФЕНГЕНДЕНА

— Очень интересный сон, — пробормотал я и отключился.

Очнулся я от какого-то назойливого «дзззз». Я открыл глаза и увидел, что это дзыкает мой парень. Он дзыкал сосредоточенно, с короткими паузами.

— Ты чего дзыкаешь? — спросил я ошалело.

— Я не дзыкаю, — ответил он. — Это телефон звонит.

Он снял трубку игрушечного телефона:

— Кто говорит? Алеша? Здравствуй, Алеша! Как ты спал? Я — хорошо. Мне сперва приснился дом, а потом крыша... Папа дома. Он спит... Загулял, наверное...

— Переставь болтать ерунду! — рявкнул я.

— Проснулся, — продолжал он. — Сейчас дам... Пап! Тебя Алеша к телефону.

— Какой еще Алеша? — спросил я, не открывая глаз.

— Мой дружок.

— Пусть позвонит позже. Я сплю.

— Он опять спит, Алеша. Позвони позже...

Я провалился.

Потом снова услышал дзыканье. Я сел и тупо уставился на моего парня.

— Опять дзыкаешь?

— «Позже» уже наступило. Это, наверно, Алеша звонит, — сказал он и снял трубку. — Алеша?.. Проснулся. Даю... Пап! Тебя Алеша к телефону.

Я понял, что мне не отделаться, и приложил к уху игрушечную трубку.

— Алеша! — сказал я довольно мрачно. — Тебе чего надо? Ничего не надо? Ну, будь здоров, Алеша...

— Спроси, что ему снилось, — сказал мой парень.

— Что тебе снилось, Алеша?.. Сначала дом, а потом крыша? Ну, молодец... Прощай, Алеша.

Я снова рухнул.

— Пусть не врет, что ему сначала снился дом, а потом крыша, — произнес мой парень. — Это мне снилось...

...Я открыл глаза от прикосновения детской ручки. Он держал передо мною игрушечную трубку.

— Алеша пошутил, — сказал он. — Ему приснилась кротость.

— Что-о? — промычал я.

— Кротость. Поле и много-много кротов... Не веришь — спроси у него.

— Алеша, — обреченно произнес я в трубку. — Тебе снились кроты? Очень рад за тебя... Алло! Алло!..

Я положил трубку.

— Что? — спросил мой парень.
— Алешина мама позвала его
завтракать и просила больше не
звонить, — сказал я, зевая и опять
укладываясь.

— Алешина мама не могла по-
звать его завтракать. Она вчера
уехала в Ленинград.

— Значит, бабушка.

— Алешина мама уехала в Ле-
нинград к бабушке.

— Ну, тогда это была просто
какая-то женщина, — произнес я,
полагая, что наконец-то тема за-
крыта.

Мой мальчишка нахмурился.

— Это плохо, — сказал он ти-
хо, а потом добавил: — Ты дол-
жен позвонить в Ленинград. Позвал
Алешиной маме и сказать, что в ее
доме какая-то женщина.

Я взял игрушечную трубку и
позвонил в Ленинград. Позвал
Алешину маму, сообщил ей, что,
пока ее нет, у нее в доме какая-

то женщина, потом долго слушал,
что мне говорила в ответ Алеши-
на мама.

— Ну что? — нетерпеливо спро-
сил мой парень, когда я положил
трубку.

— Она знает, — сказал я. — Жен-
щина — сестра Алешиного папы.

— Врешь ты все, — неожиданно
обозлился мой парень. — Все па-
пы заодно. Против мам. Я сейчас
сам позвоню.

— Это правильно, — вздохнул я
облегченно и закрыл глаза, но
подумал, что, может быть, с точ-
ки зрения мужской солидарности
это не совсем правильно.

Мой парень растормошил меня
довольно скоро:

— Я дозвонился. Алешина ма-
ма прилетела из Ленинграда. Але-
шин папа испугался и спрятался
в шкаф, но Алешина мама его
нашла, и он сказал, что больше
не будет...

...Честно говоря, уже спустя
много лет я продолжал сомне-
ваться. Мне иногда казалось, что
придуманный Алеша действительно
существует. Мальчишка мой
время от времени сообщал все
новые подробности из Алешиной
жизни, требуя от меня сочувст-
вия, поддержки, совета...

И вот недавно, будучи уже
двадцатитрехлетним дылда, мой
парень сказал мне:

— Пап! Помнишь моего старо-
го дружка Алешу?

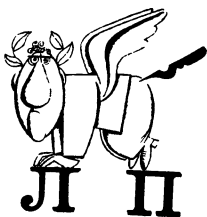
— Помню, — ответил я. — Что с
ним?

— Ничего. Он женился... Ты
не подкинешь мне рублей пять-
десять... для свадебного по-
дарка?

И он с напускным безразличи-
ем посмотрел куда-то в окно...

Теперь я боюсь только одного:
как бы нам с женой не пришлось
внучить Алешиного сына.

ЛИТЕРАТУРНЫЕ



ПАРОДИИ

МИХАИЛ
КАРАМУШКО

*Чем
я думаю*

Я пером по бумаге вожу
И так явственно слышу
спиной...

Василий КАЗАНЦЕВ

Я пером по бумаге вожу
И так явственно слышу
спиной:

— С кем угодно пари
я держу,
Что он парень немного
чудной.

Ну и пусть говорят,
Что чудной,
Я на это сквозь пальцы
гляжу.



Рисунок Е. ЩИПЕТЦОВОЙ.

Да, я слышу,
Я слышу спиной!
А вот думаю чем,
Не скажу.

ВИКТОР
ЖИГУНОВ

*Пропавшая
голова*

И мотало нас и гнуло,
Только все же повезло,
Ветром голову не сдуло
И в кусты не унесло.

Александр КУНИЦЫН.

Шел я лесом. На поляну
вдруг попал — из тьмы
на свет.

На себя случайно глянул,
вижу: туловища нет!
Ах ты, ох! Застряло разве
в чаще?... Я — скорей назад.
Стоп!.. А это чьи завязали
ноги там?... Мои стоят!
Почесать хотел затылок.
Руки где ж?... Тю-тю! Увы.
Голова ль моя, семь дырок...
Ух ты! Нет и головы!
Видно, это к непогоде.
Или шутка?! Все. Хи-хи.
Ну, куда такой я годен?
Только так... писать стихи.
Все нашел я. Неумело
вновь свинтил. Ухлопал
день.

Но волнуясь: вдруг да село
что-то где-то набекрень?



С. КУЛИКОВ.

**На месте
тайги.**



Т. ЯКУТИНА.

Елена.

**По залам выставки
произведений
молодых художников
Москвы. 1978.**



Цена 50 коп.

Индекс
71120

